

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Болдырев (Курск)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Кристина Кармалита
начальник отдела общественно-политической жизни

Дмитрий Рябов
редактор отдела общественно-политической жизни

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Ю. С. Лаврова
Верстка: О. Н. Вялкова

11/2019

Содержание

ПРОЗА

- Андрей КОРОЛЕВ. Белый воробей. Автогеография.** Роман. 3
Юрий ВИСЬКИН. Автиан. Рассказ. 61

Клуб «Амальтея»

- Денис ГЕРБЕР. Петля Герострата.** Рассказ. 104
Юлия ФЕДОРИЩЕВА. Черри. Рассказ. 117

ПОЭЗИЯ

- Ганна ШЕВЧЕНКО. «Ходит кругом звезда на цепи...»** Стихи. 56
Наталья КУЗНИЦЫНА. «На крайней даче — тишина...» Стихи. .. 101
Александра ШАЛАШОВА. Самое долгое путешествие. Стихи. 115
Владимир БЕРЯЗЕВ. Станция Ближний Свет. Стихи. 123

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Николай САМОХИН. У каждого облака есть золотой край.**
Рассказы. 127
Сергей БАНИН. Почитаем Самохина.
О некоторых особенностях прозы писателя. 136
Михаил ЩУКИН. В районе равнодушного сердца.
Вспоминая Николая Самохина. 159
Геннадий ПРАШКЕВИЧ. Наше время.
Три автографа Николая Самохина. 170

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Павел КУРАВСКИЙ. Дом преткновения.** 181

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Евгений ПРОКОПОВ. Александр Копылов —
художник, педагог, подвижник.** 189

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Андрей КОРОЛЕВ

БЕЛЫЙ ВОРОБЕЙ

Автогеография

Р о м а н*

*Посвящается моим детям,
потому что без них все могло
быть бессмысленно*

0. Самовольная отключка

Мой отец все больше становится похож на маленького зверька. Суетливого, пугливого, но незлобивого и трогательного, например на морскую свинку. Или, может, на живущую в доме мышку, или прикормленную возле дачи белку — потешную и чуть капризную, потому что жизнь проста, потребностей немного и уже можно позволить себе быть естественным и бестолковым.

Он ссутулился, стал намного ниже ростом и заметно похудел, хотя постоянно что-нибудь ест — а в гостях так вообще с пугающим аппетитом. И подобно тому, как постепенно ссыхается его тело, все меньше, все уже становится и его мир: он почти целиком заиклен на себе, во всяком случае, говорит обычно только о себе или к себе сводит все разговоры. Даже когда волнуется за меня или сестру, точнее, переживает. Ему непременно нужно из-за чего-нибудь переживать. И при этом он, конечно, переживает из-за того, что переживает. Ведь ему это вредно, а он очень мнителен и трепетно относится к своему здоровью.

Он хороший, добрый человек, и я люблю его. Ужас, однако, в том, что я наверняка похож на него, хотя всегда, с самого детства, был гораздо более сдержан, даже черств, и характер у меня сильнее. В последнее время я уже сам ловлю себя на том, что охотно заговариваю с попутчиками в общественном транспорте. И маленький складной ножик, который ношу в кармане сумки, я почему-то стал называть так же, как он, — «складешок». И если доживу до его восьмидесяти восьми лет, стану точно таким же.

Но я не доживу, это точно. И закалка не та, что у этого фантастически много испытавшего поколения, и, главное, нет желания жить просто потому, что хочется. Что надо. Что это счастье само по себе — жить.

* Журнальный вариант.



Никакое это не счастье само по себе. «С чего ты взял, что жизнь непременно должна быть счастливой?» — эта фраза мне буквально при-
снилась недавно. Я проснулся пораженный: а ведь действительно, с чего
вдруг именно моя жизнь обязательно должна быть счастливой?

Объем счастья в этом мире явно ограничен — и вовсе не факт, что
добывается оно каким-то логически объяснимым способом. Ясно, что
иногда оно передается по наследству. Чаще же его можно только случайно
выиграть, как в лотерею. А может, его положено воровать, как понравив-
шиеся комнатные цветы, в том числе и у близких людей? И тогда, кстати,
очень многое становится понятным.

Как ни странно, эта горькая мысль успокоила меня. Я бывший спор-
тсмен, и мне близка идея достойного поражения — честного, когда ты
сделал все, что мог. Но вот не судьба.

Начинающий отпускать бороду первую неделю просто небрит.

Это я не к тому, что нет пророка в своем отечестве и мессию среди
обывателей узнают (точнее, опознают) только задним числом; даже если
обычный нормальный человек вдруг захочет начать жить по-новому, на
него в любом случае будут смотреть как на полоумного. Кто-то из жа-
лости (потому что вряд ли получится, а потуги хлюпиков действительно
жалки), но больше из зависти пополам со злорадством.

Невозможность измениться, улучшиться, хотя бы выскользнуть из
колеи или хотя бы перестать опускаться вниз, в болото — вот главная тра-
гедия любого взрослого человека. Если не брать скорую смерть близких,
то это, пожалуй, вообще самое грустное на свете. Ну и еще отход, отде-
ление (что опять же связано с взрослением) любимых детей, особенно
дочек.

Проблема в том, что потенциально я — лучший. По самым разным
параметрам: задатки физические и интеллектуальные, добрый нрав, чест-
ное отношение к себе и великодушно-справедливое — к другим. Плюс
спортивное воспитание — умение, если не потребность, брать ответствен-
ность на себя и мобилизоваться в форс-мажорных ситуациях. В общем,
почти идеал. Но, как доказала практика, нежизнеспособный в данных
конкретных условиях.

Я слишком хорош для этого гнусного мира, увы. Злая ирония судь-
бы заключается в том, что я сам считаю себя виноватым в этой своей
непонятости, непризнанности, недооцененности. И опуститься нельзя до
общей низости, и подняться невозможно себя не уронив. Благородство
хреново!

И вот я сижу один на даче. Чувствую, как растет щетина.

От всех не то гордо удалился, не то трусливо спрятался. Короче, на-
казываю гнусный мир своим отсутствием.

Но до этого, конечно, постарался окончательно все испортить. На
работе обидел заместительницу, отчитал, в общем-то, по делу, но слиш-
ком язвительно. Дома легко нашел повод поссориться с женой. А когда
через несколько минут по закону жанра банального жизненного фарса



позвонила единственная женщина, которая меня еще любит, тут же оттолкнул ее в пароксизме горького прозрения (и самолюбования): «Что я, фашист — дурить тебе голову и не нести никакой ответственности, лишая перспективы?»

Бывают в жизни такие редкостные дни, когда говно лезет изо всех щелей, и всё вокруг говно, и сам ты такой же — разжиженной консистенции, вонючий и мерзкий. Зато ясность полная, никаких иллюзий.

Как же вышло, что я, весь такой искрящийся талантами и радостью в юности, сейчас превратился в скучающего, скучного и даже самим собой не любимого персонажа, с пассивной и отнюдь не спасительной самоиронией наблюдающего за ускользанием, угасанием собственной жизни, как будто чужой? Когда я спохвачусь наконец и включу свою азартную силу воли, спортивную злость на самого себя за бездарно проводимые даже не дни уже, а месяцы и годы? Какой гром должен грянуть, чтобы я перекрестился, поплевал на руки и сделал хоть что-нибудь стоящее, ценное, о чем потом можно было бы вспомнить с честным удовольствием, за что можно было бы себя уважать?

Я уж не говорю о большом личном вкладе в победу добра над злом — тут я, безусловно, всегда готов быть в первых рядах (разумеется, без больших жертв). Какой-нибудь однозначно красивый поступок — благородный и осмысленный — впервые за много лет!

Построить, например, реабилитационный центр для жертв клещевого энцефалита (такое ощущение, что этих бедолаг у нас с каждым днем все больше).

Или хотя бы ночлежку для спившихся спортсменов и музыкантов (таких и среди моих бывших друзей полно).

Или хотя бы починить дверь шкафа в комнате дочери, как обещал уже месяц назад.

Или в кои веки навестить родителей вне обычного графика (через выходные).

Или набить самодовольную морду начальнику.

Или, может, сходить, наконец, в магазин в деревне, похмелиться и перестать гнать пургу?

Так думал пожилой повеса,
Сидя на даче третий день —
Среди диковинного леса
Еще один замшелый пенёк.

М-да. В моем клиническом случае такое темное и вялое утреннее словоблудие не более чем жалкая попытка сохранить лицо — расплывшееся, помятое, но якобы еще симпатичное, с этакой милой лукавинкой, легкой разгильдяинкой, обаятельной непутевинкой.

Кокетство и жалость к себе — вот наша главная палочка-выручалочка, а вовсе не совесть. И самое смешное, что даже заговаривать зубы



я пытаюсь исключительно самому себе: никого больше рядом нет, никто уже не верит. Или никто уже и не нужен?

...Я спустился в деревню окружной дорогой — не напрямиком через бор по крутой тропинке с окаменело-отшлифованными корнями, а мимо новых жлобских коттеджей и потом по разбитой бетонке вдоль сосновых посадок, глядя на город, открывающийся на другом берегу Томи. Этот вид всегда меня умиротворяет, умиляет, воодушевляет, в общем, заставляет расчувствоваться. Тем более что я редко хожу здесь трезвый.

Казалось бы, обычные новостройки, убогие, дешевые, типовые для любого советско-российского областного центра, однако у меня при виде их сразу теплеет в душе. Это сродни жалости, только возвышенной, суровой, честной. Я люблю свой город, даже его корявое название — Кемерово — кажется мне теплым и оригинальным, а наш старый центр с высокой набережной и цельным архитектурным ансамблем образцового сталинского стиля я вообще искренне считаю не только уютным, но и красивым.

Хотя, конечно, больше всего я люблю своих земляков. Банально, но правда: сибирский характер, широта души и все такое.

Вечером ко мне все-таки соизволили приехать друзья. Понятно, спасти меня от хандры. То есть мужественно выпить по честному и благородному поводу.

Бил лихо загнал машину почти в самые малиновые кусты, как можно ближе к дому: пакетов с закуской и выпивкой явно было много. Я сидел на крыльце, курил и наблюдал, как они, довольные, выходят. Ванька был, естественно, с банкой пива в руке.

— Я не понял, красноармеец! — гаркнул он на меня. — А где рота почетного караула? Встречать почетных гостей. Где девушки с цветами? И большими титьками! Где негры-носильщики?

— У нас тут дедовщина, — сказал я вяло. — Сам таскай, пиджак.

Ванька после политеха всего год служил лейтенантом, и это отличный повод для разных солдафонских шуточек.

Хотя, конечно, я был рад их видеть.

Почему даже у иностранных звезд футбола, когда они по-английски или испански ругаются с досады на себя, наезжают на соперника или судью, по артикуляции губ всегда читается «ё-пэ-рэ-сэ-тэ»?

Мы смотрим телевизор на веранде. До этого еще параллельно играли в кости, выпивая за каждый ямб, но когда Ванька вверх по ходу на шестерках вместо «12» написал «200», я решил мягко все это свернуть. Ванька, кстати, почти сразу заснул прямо в кресле.

Играют бельгийцы и парагвайцы, групповой турнир. На телеканале анонсировали матч помпезно: «Лед и пламень!», а на самом деле, честно говоря, все довольно скучно. Слишком осторожно держат мяч и слишком жестко втыкаются друг в дружку при потере. Упираются, стараются, а игра неинтересная, не столько напряженная, сколько скованная. И все-таки чемпионат мира, раз в четыре года бывает — надо смотреть.

А может, я просто ревную? Сам-то до такого уровня не добрался — вызывался только за молодежную сборную РСФСР, да и то лишь на сборы и товарищеские матчи.

А еще я боюсь за своих единственно любимых бразильцев. Как-то они выступят в этот раз? Пока в группе выиграла оба матча, но это ничего не значит: в плей-офф при упорном сопротивлении вполне могут и сдуться, с них станется, они у меня такие ранимые.

Бил в восемьсот двадцать пятый раз излагает свою теорию насчет изменения системы розыгрыша: мундиаль слишком раздут и политкорректен, зачем нужна какая-нибудь несчастная Ямайка, слишком много проходных игр и пр.

— Ну, Ямайка, положим, вполне себе счастлива, — зачем-то вставляю я.

— А, — заливается Бил, — да! И Колумбия, наверное, тоже. Только при чем здесь футбол?

Когда он заряжен на речь, сбить его с красной нити конспекта практически невозможно. Однако нужны ведь и живые примеры. Они следуют длинной и убедительной вереницей.

Я киваю: он прав. Но как изменить главное — вернуться к старой и доброй романтике? Вот хотя бы сократить число команд до шестнадцати — как конкретно это сделать? Это же глобальный политический кризис, страшное оскорбление для маленьких, но гордых бесталанных народов, повод для третьей мировой войны!

Нет, технически это все просчитывается, говорит Бил.

Ну, это другой разговор (точнее, тот же, но в другой раз).

Я проявляю слабость духа (силу воли) и иду спать.

Только сначала выхожу отлить на улицу, даже не закуриваю. Шуршу в траву в темноте, поднимаю глаза на небо и проглядывающие сквозь верхушки сосен звезды.

Жизнь удивительна и прекрасна. И беспристрастна. А мы все песчинки и пр.

У пьянства есть по крайней мере один плюс: оно позволяет мужикам побыть сентиментальными. Звезды подмигивают мне, как живые, но не как равному, не насмешливо и не надменно, а отстраненно. Вот уж действительно — отстраненно. Вот и они меня бросили. Пьяная растроганность у меня проходит. Я все-таки лезу в карман за сигаретой.

И вдруг одна звезда медленно начинает двигаться вниз.

Когда же я потерял это ощущение возвышенности красоты жизни? Не реальности, а именно возвышенности красоты? Когда я начал опускаться?

Это я понял — когда растратил, променял на всякую пустую и низменную дрянь свою цельность. Свое искреннее прекраснотушие.

А на что я все это богатство променял? И как изменить главное — вернуться к старой и доброй романтике? Неужели я уже ничего не смогу изменить?

Я правда хочу все изменить. Правда-правда хочу.

В этот момент звезда окончательно скрывается за пучками хвои, но без ускорения, совсем медленно, словно нехотя.

«Спутник», — разочарованно решаю я. И ошибаюсь.

1. Хроника пикирующего бомбардира

Я ошибаюсь позиционно, оставив без присмотра, а потом запоздало выдернувшись на подключившегося к атаке переднего защитника; тот просто пробросил меня и легко обошел слева — хорошо, что отпустив мяч слишком далеко. Кто-то из наших успел на подстраховку, но выбить в борьбе смог лишь абы как — не вперед, а вверх корявой свечкой. Я, развернувшись, сбился с хода, запнулся, выпрыгнул не с той толчковый, получил в воздухе удар в затылок — и вот, оглушенный, уже отдыхаю-валяюсь на травке.

Даже странно: когда я начал падать, еще успел подумать, что все нормально — больно, но не смертельно, я контролирую полет. Однако перед самой землей голову, словно магнитом, с силой притянуло к поверхности, левая рука не выдержала веса тела и подломилась, и я впечатался в известку на центральной линии прямо виском. Получилось страшновато и с каким-то запоздалым обиженным недоумением. К тому же несколько секунд куда-то пропали: вот я еще в воздухе, вот втыкаюсь в поле головой, а вот уже возле моего лица сразу несколько разномастных бутс, и наш доктор Леонидыч, балбес, прямо в ноздрю сует мне ватку с нашатырем.

Леонидыч не любит футбол, презирает футболистов, но больше всего он ненавидит моменты, когда на глазах тысяч зрителей приходится выбегать на поле к пострадавшим. Еще хорошо, что вместе с ним еще смешней семенит массажист Григорич. В общем, если Леонидыч все-таки выбрался на поле, значит, со мной действительно что-то серьезное. Интересно что?

Я сажусь, вытираю лицо рукавом. Потом ладонью осторожно приглаживаю волосы. Крови вроде нет.

— Ну и как? Живой? — спрашивает судья, выглядывая из-за плеча Григорича.

Тон будто бы отеческий, а у самого золотой зуб, крашенные волосы и взгляд маслянисто-продажный.

— Да нормально все, — бурчу я.

— Тогда подъем.

— Товарищ судья, а карточку? Локтем же явно засадил!

— Я тебе щас дам карточку — за симуляцию! — сразу возбуждается судья.

В том-то и дело, что слишком сразу и слишком возбуждается.

— Молод еще мне указывать! Я все видел! Подъем!

Он демонстративно отворачивается и смотрит на часы, засекая время.

— Ну ты ваще! — ворчу я вполголоса, мотаю головой и сплевываю.

Он дергается, но ничего не говорит, только опять приподнимает руку с часами, хотя взгляд на них не фокусирует — просто понтуется, козел: дескать, затягиваете время.

Правда поваляться, что ли, еще? Счет пока 0:0, может, и успеем отскочить. Впрочем, судья не даст. Еще больше потом добавит.

Он смотрит на бровку и оживляется, злорадно свистит и нетерпеливо машет рукой — одновременно и замену разрешает, и меня выпроваживает с поля. Значит, там уже готов запасной — Ромка, конечно.

Я иду, на всякий случай держась за висок. Хотя голова все-таки чужунная, если честно. Ромка пританцовывает на бровке, три раза подпрыгивает, подтягивая колени к груди, шумно вдыхает-выдыхает. Ну, этот-то землю будет грызть, чтобы закрепиться в основе. Не то что я — в первой же игре сломался.

Я нахожу взглядом Старшого. Тот сидит на лавке, нахохлившись и спрятав руки в карманы куртки. Вид, как всегда, недовольный, а сейчас вообще словно потерянный.

Второй тренер Лукьяныч замер рядом в привычно трагичной позе с разведенными руками. Жест, когда играем на выезде, по сути, бессмысленный: это дома можно так подзадорить публику (а значит, и поддушить соперника), дескать, ребята, это что же деется? А здесь только свиста с трибун и дождешься. Но Лукьяныч уже сто лет в футболе, все его привычки еще из прибалтленно-простодушных послевоенных времен, и, если учесть, что от него давно ничего не зависит, такая реакция, возможно, самое правильное и честное, что сейчас можно предпринять.

Ромка выскакивает на поле чуть ли не с рычанием, резко хлопнув меня, промахнувшись, по запястью. До скамейки дохожу уже на полусдутых — устал все-таки сильно.

Старшой приподнимается, пожимает мне руку, но усмехается ехидно:

— Ну ты и рухнул — аж земля содрогнулась. Хроника пикирующего бомбардировщика!

Хорошо, что словосочетание «пикирующий бомбардировщик» трудно выговаривать, иначе полгода минимум пришлось бы откликаться на такую смачную кличку, пока другой молодой не сотворит что-нибудь еще смешнее.

— Это я специально — чтобы запугать соперника, — говорю я, уронив себя на лавку.

Но, во-первых, слишком тихо говорю, потому что горло пересохло, а, во-вторых, Старшой уже не слушает — смотрит на поле, причем как-то пришибленно.

Потому что нам забивают: Ромка полетел как дурак на нападающего, тот убрал его на ложном замахе и спокойно катнул мяч в дальний угол. Вот это я успел заменить! Вот это мастерство!

— Дружок, а почему ты не сказал, что у тебя был сотряс?



Он шагнул к нам сбоку в холле гостиницы. Время было еще не слишком позднее, и формально мы ничего не нарушили, но он буквально час назад просил поменьше болтаться, а мы вроде как не послушались.

Если полнеющий грузин с зачесанной кверху седой гривой обращается к тебе «дружок», причем на одной руке у него блестящие дорогие часы, а в другой — дымящаяся дорогая сигарета, будь уверен: настроен он если и вальяжно, то все равно недружелюбно и в конце концов обязательно скажет какую-нибудь гадость. Не поленился ведь, специально поджидал внизу! Хотя, может, он здесь кастеляншу заграничную хотел поднять, а мы так не вовремя...

Это был наш первый вечер в первом городе Венгрии. Добрались и разместились уже перед ужином, даже тренировку не проводили, только маленькое собрание. Насчет морального облика и все такое. Все поржали, понятно, а затем рассосались по номерам — играть в ази или храп. Только мы с Мишкой — нападающим из Свердловска — решили прогуляться до Балатона и заодно прошерстить ближайшие лавки.

До озера так и не дошли, побоявшись заблудиться в сумерках среди незнакомых заборов и проходов, на один большой магазин наткнулись, но они здесь, оказывается, работают только до пяти, а в двух мелких сельпо ничего интересного, кроме продуктов и фирменных сигарет, не было. Мишка с расстройства купил домой квадратную литровую бутылку кока-колы, а я не стал — таскаться с ней потом еще две недели. Думал взять сестре настоящий «Ронхилл» с суперфильтром (120 миллиметров), однако тоже удержался — еще сто раз успею. Да и вообще в первый же день начинать тратить форинты — по-деревенски как-то.

А надо солидно. Как другие парни, которые давно уже в сборной. Они и во Францию в прошлом году на турнир ездили.

Или как Нугзар. А он-то, кстати, курит фирменный «Кент» — вон белая пачка из кармана торчит. Значит, сам успел в город выбраться. И костюм новый «Адидас» напялил, и кроссовки «Пони» тоже с нуля. Нет, он точно поджидал здесь кого-то, а мы ему всю малину испортили! Не просто без спроса в город слиняли, но еще в холле у закрытых киосков зачем-то тормознулись.

— ...Дружок, а почему ты не сказал, что у тебя был сотряс?

Нугзар смотрит лживо-удивленно-оскорбленно — как все пожилые важные хачики, когда хотят повыпендриваться. Он когда-то играл в сборной СССР, сейчас тренирует молодежную сборную РСФСР, в общем, имеет право и давно научился держаться с молодыми свысока.

— Да какой сотряс? Меня даже не тошнило. Все давно прошло. Я же не нагружался, отдыхал, так что все нормально.

— Да? А твой тренер сказал, что не нормально. А если ты умрешь прямо на поле, что я твоей маме-папе объяснять буду? Что у тебя все нормально? И самое главное, почему ты меня обманул?

Он затягивается сигаретой, выпускает дым вбок, но смотрит при этом прямо в глаза.



— Я не обманывал. Я правда в порядке!

— Да? А я-то думал, после сотряса не бывает в порядке. Сколько играл, сколько было сотрясов — никогда не было в порядке. Нет уж, мил человек, я твоим здоровьем рисковать не буду!

Нугзар смотрит на меня одновременно и уничтожающе, и изучающе, и сочувствующе, и я понимаю, что больше в основе сборной играть не буду.

Так оно и случилось. На турнире в Венгрии я ни разу не вышел даже на замену, а вместо тренировок один наматывал круги вокруг поля или просто жонглировал мячом.

А потом еще опоздал на отбой в последний вечер в Будапеште. Сам я был чуть датый, выпив белого вина в какой-то чистенькой харчевне, и Нугзар явно хорошо посидел с другими тренерами: глаза горят, говорит громко и уже не сдерживается, как обычно. Ну и поговорили по душам.

Я сказал, что он эту свою трицу из Орджоникидзе везде пропикивает, а он сказал, что пока он тренер (пока — он!), мое дело — хорошо готовиться (хорошо!), учиться играть, тренироваться и быть готовым когда-нибудь (может быть!) помочь команде.

Он закурил белый «Кент», к которому уже успел привыкнуть здесь, за границей, и я тоже закурил белый «Кент», и это было ошибкой, потому что курил я еще не так красиво, как он, и вообще это были его сигареты, которые мы потихоньку тырили из пачек на лоджии, и, зная это, трудно было излучать полную независимость.

Хотя поговорили мы действительно нормально. Во всяком случае, поняли друг друга правильно.

— Без обид? — весело спросил Нугзар, хлопнув меня по плечу.

Точнее было бы спросить: «Ты съел? Проглотил обиду? Сможешь смириться с этим?» И я бы ответил: «Смогу».

Самое главное, что я и впрямь не обиделся. Я понял, четко и на много лет вперед, что я люблю не этот его тягостный футбол, а совсем другой — искренний и бескорыстный, прямодушный и бесшабашный, с азартной хитростью и честным умением, именно тот, который и предсказал мне Нугзар на будущее: беспонтовый дыр-дыр во дворе.

2. Придворные здрасти

Во дворе пустынно. Только скорбно застывшая фигура какающего на клумбу карликового пуделя пусть и слегка декадентски, но все же оживляет пейзаж.

У игрушечного черного песика разноцветно мигающий ошейник и ультрамодная тинейджерская стрижка; беда, однако, в том, что на самом деле он давно уже не юный живчик, судя по седине на ушах и неестественной диетической поджарости, как у плейдэда Андроида Кончаловского.



Его хозяйка, утонченная дама из соседнего подъезда, неодобрительно здоровающаяся со мной по вечерам, должно быть, спряталась где-то поблизости в начинающих желтеть кустах, не в силах вынести предстоящего позора. Ничего, я подожду.

Скрюченный карла поводит в мою сторону малиновым от напряжения глазом. Я ему мешаю. Извини, брат. Я тебя понимаю: лучше жить с вечным запором и на коротком поводке, зато сытно. Мне хочется его погладить, хотя сейчас пудельку это явно не понравится. Ладно, пойду.

Вообще-то я люблю собак, только не такие генно-модифицированные недоразумения. Разводить уродцев в качестве предметов роскоши нечеловеческого общения — это уже перебор. Мы так старательно насиловали природу и так увлеченно перенимали извращенный вкус — стоит ли удивляться, что кормимся теперь суррогатами и поклоняемся королям эстрады типа Филиппа Киркорова? (Он мне как раз вот такого несчастного комнатного песика с бантиком в кудряшках и напоминает.)

Я сворачиваю за угол и нос к носу сталкиваюсь с хозяйкой пуделя. Преимущество на моей стороне: я стопроцентно трезв, брит и не испражняюсь на клумбу, так что никакого права общаться со мной через утонченную губу у нее нет. Более того, это я имею полное право рассмотреть ее придиричиво при естественном освещении — и, разумеется, тут же забываю все обиды и начинаю ее жалеть.

Мне почти всегда всех жалко, и это вовсе не повышенная сердобольность, а просто справедливость и житейский опыт: я точно знаю, что все мы слабы и достойны сочувствия, хотя и в разной степени. А уж она-то бесспорно: желтый плащ надет прямо на ночную сорочку, шея дряблая, и глаза под очками блестят если и от злости, то бессильной, точнее даже, от безразличного страха перед жизнью. Никакая она не старая дева, как я полагал ошибочно, а скорее брошенная жена бывшего большого начальника (не удивлюсь, если она и сама увела его из семьи, будучи молоденькой подчиненной), вот и ненавидит весь мир или, по крайней мере, несерьезных мужиков вроде меня — довольно жгуче, но с безвредным шипением и слабым запахом ушной серы.

— Доброе утро, — киваю я с широкой, но ни в коем случае не змеиной и не панибратской улыбкой (назовем ее примирительной).

— Доброе, — нехотя отзывается она, держа поводок за оба конца, как удавку.

Да, боюсь, что страстная любовь между нами вспыхнет еще не скоро, и до тех пор поворачиваться к ней спиной все же не стоит. В это время к нам подбирается пуделек. Мне и впрямь пора валить из их заповедника в свой грубый и пошлый мир.

— Ах ты кабысдошкин! — тянусь я пальцами к его точеной и блестящей, как у насекомого, мордочке.

Он отскакивает с пружинистым тьявканьем, жмется поближе к ногам хозяйки и отважно скалит декоративные зубки.

— Первый день отпуска — счастье, — зачем-то интимно признаюсь я, проходя мимо бывшей отпадной референтки большущего начальника.

— Поздравляю, — произносит она вяло, но все-таки, кажется, с нормальной человеческой завистью.

Вполне нормальный, наш человек.

Я хорошо представляю, что думает обо мне эта дама.

Квартиру здесь я купил десять лет назад — засыпал кучу денег, даже влез в ипотеку, однако своим Абрамовичем в этом Челси* так и не стал. Наш дом — самый узнаваемый в старом центре города, как говорит моя сестра, «центрее не бывает»: из окон на пятом этаже я вижу уголки трех лучших площадей и три триколора на крышах самых главных зданий — областной администрации, областного совета нардепов и мэрии. Но больше всего мне нравится вид главпочтамта с восьмиугольной башней, тремя квадратными часами и шпилем и уходящей от него в перспективу улицей 50 лет Октября, особенно по вечерам, когда она загорается разноцветными огнями.

Этот дом номенклатура заселила еще в начале войны, потом пленные немцы пристроили к нему перпендикулярно второе крыло, а на первом этаже открыли помпезную, как зал консерватории, аптеку — и он надолго, пока в городе не начали клепать «элитное» (читай — дорогое, но безликое) жилье, стал главным воплощением кузбасской мечты о земном придворном рае.

У Била есть отшлифованный за много застолий рассказ, как однажды он загремел в околоток, попытавшись с приятелем проникнуть в подъезд этого дома, где тогда жил первый секретарь обкома партии по фамилии Горшков. Тут все обычно начинают ржать, называя Била диссидентом и бесстрашным борцом с прогнившим режимом, хотя на самом деле они с дружкой просто хотели отлить с комфортом или даже с этаким гусарским шиком, а очумелому от безделья менту в подъезде пригрезилось, что с помощью этих зажавшихся студентиков можно выслужиться, и он вызвал ПМГ**. Но поскольку дело было летом в будний день, персек сторал на работе в обкоме или на отдыхе в Пицунде, на покушение это никак не тянуло, и обоих протрезвевших с перепугу балбесов довольно скоро выпустили, даже не побив.

Сейчас, наверное, здесь живет не так много шишек, скорее их внуки, а также целая диаспора молодых армян (в одном моем подъезде две семьи, с русскими женами и бойкими большеглазыми детьми). В общем, особой касты особых жителей уже не существует, но местечковый снобизм все равно еще не выветрился. Только вот ко мне он никак не пристанет, как я ни стараюсь. Шучу, конечно. Уж чего нет — того нет. Траваните меня паленкой, друзья, если хотя бы попытаюсь скурвиться.

Насчет отпуска — это я придумал только что, но идея мне сразу понравилась.

* Челси — аристократический район Лондона.

** ПМГ — подвижная милицейская группа.



Это уже прогресс. До этого я хотел пойти на работу, расплесть со всеми окончательно и начать новую жизнь. Однако то ли оказалось слабо, то ли угнетенная мудрость наконец-то очнулась: не надо сжигать мосты, они и сами скоро обрушатся...

Я работаю ответственным секретарем в областной газете. Когда мои бывшие друзья-футболисты спрашивают при встрече: «То есть ты в руководстве, сам уже не пишешь?» — я для простоты всегда отвечаю одинаково: «Вот в армии есть командир, а есть начальник штаба. Я — начальник штаба». — «А-а», — понимающе кивают бывшие друзья, хотя даже я сам не вполне ясно представляю, чем занимается военный начальник штаба. К тому же в армии я точно был бы именно командиром, причем плохим, а в военное время и недолго: заигрывал бы с солдатами, питаюсь с ними из одного котла, и погиб бы в первом же бою, глупо встав над окопом во весь рост и пылко позвав за собой в безнадежную атаку.

Здесь же, в редакции, я на своем месте — работу знаю и делаю ее хорошо даже с похмелья. При этом коллеги, уверен, ценят меня далеко не всегда. Потому что есть у меня такая то ли положительная, то ли отрицательная черта: я сознательно взваливаю на себя (а выходит, и на других) побольше хлопот, люблю увеличивать число полос и особый кайф испытываю от авралов во время верстки самых напряженных номеров — предновогоднего, например, или ко Дню шахтера. Сам себе эту странность я объясняю спортивностью характера: для меня, дескать, особенно важен азарт и радость преодоления. Почему же тогда о главной цели любого спорта — достижении достижений — я в своем запущенном случае скромно умалчиваю? Где, грубо говоря, результат моих титанических усилий? И вот тут-то мне, честно признаться, крыть нечем. Как сказали бы те же бывшие друзья-футболисты: «Ни славы, ни денег...»

Неудивительно, что эта высасывающая все силы неблагоприятная работа меня уже достала. И не меньше — сопутствующие ей обстоятельства. Я ведь ответсек не какой-нибудь там обычной областной газеты, а главной. Но не в том смысле, что априори самой лучшей, а в том, что самой приближенной к власти. Впрочем, если говорить об уровне солидности (планке брезгливости) и качестве имеющихся перьев, то тут мы и впрямь, пожалуй, посильней других. Другое дело — возможность этот потенциал реализовать. И вот эта самая подневольность (зачастую, кстати, и не диктуемая сверху, у многих уже внутренняя), а также неумолимая поточность, обязательность ежедневного выхода и напрягают больше всего. А что особенно злит — так это уже вьевшееся в наши стены комчванство вкупе с унылостью и вялостью. Изначально завышенная самооценка, постоянно связанная с унижением, есть состояние реального разъезда мозгов. Поэтому истерики в нашем преимущественно женском коллективе рождаются часто и будто из ничего. Самое мерзкое, что я и сам начал впутываться в свары, втягиваться в конфликты и срываться на слабых — нашел себе ровню...

В общем, устал. Надо отдохнуть хоть немного, проветрить мозги. Тогда, может, и изменю что-то в своей жизни — найду, например, другую работу. В какой-нибудь пресс-службе солидной угольной компании.

Ага, держи карман шире. На такие теплые местечки сейчас берут не матерых журналист, а мастеровитых офис-менеджриц или, по крайней мере, фэйс-подконтрольных племянниц-соратниц-наложниц топ-боссов (и кстати, правильно делают: от них хотя бы понятно, чего ждать). Да и в мои-то годы замирать с утра в кабинете, улавливая нюансы настроения начальства, как-то неприлично.

Собственно, я знаю, что никуда из газеты не денусь. Даже если и сбегу ненадолго, все равно вернусь назад как миленький, как было уже не раз. И дело не только в том, что другого ничего не умею и в других местах бывает еще тоскливей. На самом деле я отношусь к этому как к спорту: меня выбрали, купили именно в эту команду, и, пусть играет она сейчас отвратительно, я, как профи, обязан отдаваться по полной — иначе стыдно и вообще смысл пропадает.

При этом я ясно сознаю, что и мое спасительное чувство самоуважения — как бы это помягче выразиться? — имеет под собой шаткое основание. Как ехидно, но тактично объясняет мне регулярно Бил, моя нынешняя работа — это то же самое, что и служба охранника в концлагере (не доктора Менгеле, не начальника — боже упаси! — именно рядового вертухая на вышке): дело вроде и не совсем вурдалачье и какое-то время не слишком портит карму, но если оставаться тут достаточно долго — потом обязательно аукнется.

В этом смысле и усердие-горение мое (тем более при напрочь отсутствующем карьеризме-рвачестве, что было бы оправданно) тоже, признаю, выглядит странновато. Но по-другому я просто не могу. Да и не хочу. Да и бог со всем этим. Да и хрен на это все.

3. Стильные духом

«Все, что ни делается, все не делается!» — именно так лапидарно и емко было написано поначалу. Это потом я малодушно-практично добавил расшифровку в скобках: «Главный девиз реформ в России». Именно желание быть понятым, да еще и правильно понятым, и портит чаще всего самые замечательные прозрения.

А еще все портит кокетство. Например, эта хлесткая фраза была самой первой и потому, к сожалению, вышла крупноватой — после в других местах приходилось ужиматься, а она неоправданно много притягивала к себе внимания, находясь к тому же в самом центре ватмана.

Эту фразу мы написали (я написал) первой на листе № 2 — специально для всеобщего обозрения. Первый лист, приклеенный к стене около моего стола, призван был служить сугубо прикладным целям: можно было, не вставая с кресла, зафиксировать пришедший на ум, но пока не пригодившийся вариант заголовка, удачное определение, вычитанную вкусную цитату, забавную опечатку.

Разумеется, очень скоро этот лист засорился всякой посторонней ерундой: выпренными экспромтами некрасивых местных поэтесс, зашедших в гости якобы случайно, ворованными остротами приезжающих из районов собкоров (должны же были и они как-то соответствовать), плоскими резолюциями из цикла «я и мировая журналистика», мелкими внутриредакционными подколками и просто глупостями на уровне «здесь был я».

Тогда-то мы с Димкой и решили завести лист № 2, причем искренне не только для самих себя; другое дело, что повесил я его так, что, кроме как через меня, до него было не добраться, а значит, отбор стал гораздо строже. А значит, только наши с Димкой записи и начали на нем появляться.

И тут возникла другая проблема, не то чтобы очень серьезная, даже как раз наоборот. Просто я в то время еще не понимал, до чего можно доиграться. Маленький такой спичечный коробок Пандоры...

Как-то незаметно мы с Димкой начали соперничать. Родилось даже жесткое правило очередности: ты не мог оставить несколько записей подряд или даже одну, пока не отметился другой. А тот не мог себе позволить придумать что-то неталантливое. Пауза порой тянулась неделями, а прочим самозванным остроумцам я отказывал по самым формальным поводам, но при этом с чистой совестью: «Главное — качество!» Должен же главный судья соревнований хоть что-то поиметь за свои труды!

Вот именно что соревнований. Так что вскоре вполне естественно возникла нужда сравнивать результаты. Арбитр в данном случае был коллективный, с двумя уровнями проверки. Иногда я пытался жульничать и признавал победу за Димкой. Однако и он, гусь, тоже пыжился переплюнуть меня в благородстве — чья школа-то?

Сейчас понимаю, что в этом и была главная опасность. Нельзя безнаказанно дружить молодому мужику-красавчику и самоуглубленному парню-очкарику с разницей в возрасте почти в десять лет. Я получал дополнительную инъекцию покровительственного инфантилизма, а он оказался безнадежно отравлен моими мировоззренческими штампами вроде форсированного мачизма: «Обоснуй, что ты пацан!» Хотя мне этот рыцарский девиз и по сию пору кажется самым правильным и честно-путеводным по жизни, но Димка-то наверняка имел другой потенциал и другую генную программу, а тут появился такой убийственный пример для подражания, как неотразимый и доброжелательный я...

Впрочем, я, пожалуй, слишком преувеличиваю свою наставническую роль. Димка при всем своем «ботанизме» (тогда, правда, этого понятия еще не было в ходу, правильнее было бы сравнить его со Знайкой из новосовской эпопеи) был на удивление самостоятельным человеком. Конечно, по малолетству он был неискушенным, но достаточно умным, чтобы точно оценивать ситуацию хотя бы задним числом; конечно, по типу характера он был ведомым, зато велся лишь в том направлении, которое ему стано-

вилось по-настоящему близко. И наверное, ему еще повезло, что в роли дядьки Черномора (ангела-хранителя, змея-искусителя) выступил я.

Тогда это была уникальная ситуация: восемнадцатилетнего самородка прямо с первого курса филфака взяли в штат областной молодежной газеты! И это было не просто мудрое, а прямо-таки провидческое кадровое решение (разве что не надо было позволять ему напрочь бросать вуз) нашего незабвенного редактора Жени Богданова.

Так действительно бывает, пускай и редко. Приходит «бессвязный» мальчишка из ниоткуда, а будто все уже знает в профессии. Ну, почти все, многое. И не только в профессии, но и в жизни. Даже, к сожалению, слишком многое — что дело это проигрышное, хотя побороться все-таки стоит, особенно ради крепко-ироничной мужской дружбы и возвышенно-хрупкой женской любви. И это при том, что нервно-паралитический яд Хемингуэя с Ремарком я влил ему в уши уже позднее. Правда, еще до этого у Димки было много других судьбообразующих книг и еще больше свободолюбивой музыкальной лирики, буквально понимаемой по-английски.

То, что Димка — настоящая находка для редакции, стало очевидно очень скоро. Потому что никакое добротное образование и богатый опыт без особого рода таланта не принесут успеха в такой газетной поденщине, как придумывание заголовков. Для тех, кто понимает, это высший пилотаж журналистики. По крайней мере, в бойкое время в амбициозной конторе. Это сейчас для меня — то есть для того, кто понимает еще больше, — такие профессиональные изыски есть самое настоящее метание бисера...

А Димка сразу начал выдавать перлы. И по-человечески оказался мне близок, так что подружились мы без каких-либо дополнительных обрядов инициации, просто пару вечеров неформально пообщавшись после работы. Я вообще быстро влюбляюсь в талантливых людей, а здесь талант был несомненный, да еще и самого лучшего свойства — без самолюбования, направленный вовне, согревающий других людей. Этот полноватый и обманчиво робкий на вид парнишка от природы был наделен остроумием добрым, чистым и веселым (не то что большинство нынешних желчно-или зубоскально-остроумных комиков-полугомиков); даже рождая непристойности, он шутил легко, тонко и тактично — а это редкий дар.

Был ли в играх нашего турнира по настенному творчеству еще и элемент нещуточного вызова, борьбы с не до конца изжитым совковым ханжеством — не могу сказать, не помню, но вряд ли. Мы тогда всерьез считали, что есть ремесло и есть искусство, есть написанное «ради денег», а есть — «на века». Прошло всего-то два-три десятка лет, а как все изменилось, точнее иначе воспринимается. Тепло, но с легкой конфузливой иронией. Неудивительно, что и лист № 2 я не сохранил, а уж тем более лист № 3, где прописались (возбуждающе прикрытые газеткой!) самые отборные и махровые наши словесно-бессовестные художества (только не путать со словоблудием!).



Примечательно, что сейчас у меня в ноутбуке в файле под названием «Финтифлюшки» наши каламбуры собраны вперемешку, без указания авторства и победности ходов; иногда чувствуется, как один по ассоциации отталкивается от другого, как они следуют параллельно в русле общей темы или просто цепляются созвучиями. А что самое любопытное: «сексуально озабоченных» среди них оказалось не так уж и много; сейчас перечитываю и умиляюсь, насколько все свежо и целомудренно, мне нынешнему даже завидно. Итак...

- * Высший маразм.
- * Не лезь в Бутырку!
- * Старый Мазай разворчался в серале.
- * Пидарасовая дискриминация.
- * Косяк команды.
- * Лейбл-гвардия.
- * Исполнительная и законодательная сласть.
- * Шершавым языком Эзопа.
- * Почил в позу.
- * Лучше синица в руке, чем дирижабль в небе.
- * С высоты птичьего помета.
- * Мудак мудака видит издалека.
- * Ассортир.
- * Портвейн жены художника.
- * Мать вашу городов русских.
- * Материальные и оральные стимулы.
- * Первый парий на деревне.
- * Дом морд.
- * Чуть помедленнее, пони!
- * Зуд мудрости.

А вот это горькое озарение я, припоминаю, занес в общий реестр уже значительно позже, как покаянный тлеющий привет светлому прошлому: «В жизни всегда есть койко-место для подвига!»

Ее усадили на мое место в крутящееся кресло, и, когда я вошел, она была ко мне спиной, я видел только макушку, крашенную в цвет весело пламенеющего на солнце сеттера («А ну-ка, песню нам пропой, веселый сеттер!»), а к этому оттенку я всегда питал слабость. Хотя в целом картина мне не понравилась. Даже не картина, а лубок: «Обалдевшие ходоки “Кузнецкого края”^{*} распушают хвосты перед какой-то залетной фифой!»

Этот вид щенячьей обалделости коллег недвусмысленно свидетельствовал: работа в конторе давно парализована, наши дамы наверняка бегут по углам, а здесь и сейчас непременно должен быть выявлен альфа-самец. То есть избежать шоу-конкурса «Мистер редакция» никому не удастся, особенно бывшим спортсменам.

^{*} «Кузнецкий край» — название газеты.

Потом я услышал ее голос — чуть в нос и чуть писклявый, восторженно-мальчишеский, как у какого-нибудь шкодливого, но все равно хорошего пионера из советского мультлика:

— Ну и когда придет ваш главный цензор? Чтобы мы сообщили ему...

— ...пренеприятнейшее известие! — тут же вставил Жора Жилин по прозвищу Костылин или, реже, Жу-Жу — самый безнадежный наш донжуан (не потому, что отпетый, а просто отчаявшийся — перезрелый и неразборчивый).

— Нет, — сказала она. — Наоборот: преприятнейшее.

— На сегодня работа окончена!

Это более опытный Миха Болдырев подал хорошо интонированное бархатистое предложение. И попал примерно в шестерку, набрав еще и пару баллов за дерзость. Для такого принципиального молчуна совсем не плохо.

— Айда по бабам? — добавил вполголоса фотокор Марк Гуревич, видимо, не слишком веря в успех, хотя сейчас вполне могло и проканать, настолько все были возбужденно-раздуроченные.

На этом фоне Димке сам бог велел поставить победную точку, тем более что место он занял самое выгодное — стоя спиной к окну прямо возле гостыи и даже положив руку на подлокотник ее кресла. То есть моего кресла. Но он непростительно замешкался.

— Неужто меня наконец-то уволили? — сказал я, быстро подходя.

В такой ситуации важно подойти именно быстро.

Она обернулась и глянула на меня слегка испуганно, а я на нее слегка надменно, чтобы скрыть невольное разочарование: я думал, она окажется красивей. И вообще мне было не очень приятно, что она тут как хозяйка, а я так повелся на ее голос.

— Это и есть наш главный плантатор — масса* Юджин Горкунофф, — как-то слишком игриво представил меня Димка. Потом сам понял это и сказал как-то слишком искренне и тепло: — То есть Евгений Александрович Горкунов, можно просто Евгений, самый лучший замредактора на свете и мой самый лучший друг.

Вид у него был счастливый и беззащитный.

«Они уже раза три переспали, — сразу определил я (позже выяснилось, что только один). — И с каждым новым разом мы теряем его все больше. И очень скоро она веревки будет из него вить».

— А вы, — все-таки включился я, — надо полагать, местный писарь с... кухней... приехавшей к нам...

— На практику? На побывку? В декретный отпуск? — спросил у нее Димка, бережно склоняясь над креслом.

Ему очень нравилось блистать перед ней остроумием и при этом всякий раз хоть немножко к ней приближаться. Она помотала головой

* Масса — обращение негра-раба к хозяину.



и улыбнулась мне снизу, блеснув зелеными глазами, и я понял, почему мужики так западают на нее — как раненые в госпитале на добрую медсестричку.

— По уходу за больным ребенком, — сразу подтвердила она мою догадку, продолжая смущенно улыбаться мне и взяв Димку за руку.

Тот на мгновение аж зажмурился и чуть не растекся прямой лужицей прямо у нее под ногами — кстати, длинными и загорелыми, в открытых сандалиях, с вишневым лаком на ногтях, а одну из тонких лодыжек (ноги были скрещены, и я не разобрал — какую) облежала золотая цепочка. Неужто лесби?! Да нет, быть такого не может, Господь не допустит!

— Вот-вот! — как всегда впопад, влез Жу-Жу, закашлявшись заискивающим смешком, как шакал Табаки. — Дмитрию Олеговичу у нас явно требуется медицинская помощь. Может, скорую вызвать?

— Эй, командос, а вы-то что расслабились? — опомнившись, оглядел я трех других несчастных, по-прежнему пасущихся поблизости. — Не хотите поработать для разнообразия? Семьи ждут вас дома хоть и с жалкими грошами, зато с чистой совестью!

— М-да! И то, — изрек Болдырев. — Что ж. Было оч-чень...

— А так хорошо все начиналось! — вслед за ним со скорбным достоинством отступил Марк. — Может, как-нибудь продолжим без грозного начальства?

Костылин тоже хотел сказать что-то, но я показал ему кулак и потом пальцем — на дверь. Он, прыснув, панибратски осадил меня движением ладони и еще зачем-то прижал палец к губам: дескать, тсс!

— Ну а теперь можем и нормально познакомиться, — повернулся я к Димкиной погребели. — Этот оболтус намекал, что меня ждет сюрприз, однако я не думал, что такой приятный.

— Ах ты, старый лис, греховодник, ну-ка не смей обволакивать мою девушку! — взвился Димка. — Своим голоском елейным и глазищами своими глазливыми! Нишкни! Изыди! Сарынь на кичку!

— Вот видите, с какими людьми приходится работать? — пожаловался я девушке, которая теперь стояла и смотрела на меня уже не испуганно, а весело-лукаво, но в то же время словно извиняясь.

Она, между прочим, оказалась довольно высокой (вровень с Димкой) и очень стройной даже в таком бесформенном сарафане с синими цветами, и открытые плечи у нее были прямые, а на них веснушки.

— Так как же вас, Цирцея, зовут в миру?

— Да хватит вам, я просто обычная Марина. Это вы такие талантливые, яркие, мне даже перед вами неудобно.

«Не надо ставить женщину в неудобное положение. Надо ставить в удобное», — сразу вспомнил я запись на нашем листе № 3, сделанную именно Димкой.

— Молчи! — грозно сказал он мне.

— Расслабься ты! — успокоил я его. — Никто твою девушку не обидит. Главное, сам ее не спугни.

— Ого! — сказала она. — Ничего, что я еще здесь? А вы, Женя, кажется, его ко мне ревнуете...

— «Ты, Женя», — поправил я.

— У тебя, Женя, и у тебя, Митя, такие интересные отношения!

Она и тут была чертовски права.

Я не виноват, что через неделю случился путч и Димка на спаренных крыльях романтики улетел в Москву — спасать нашу прекрасную страну и делать свою прекрасную карьеру на радость своей прекрасной музе.

Я честно пытался его удержать, еще какое-то время ушло на поиск денег и билетов, в итоге он успел только к шапочному разбору памятников, славы и эйфорично-глупых назначений, но все равно сделал от туда три замечательных — живых и приподнятых — репортажа. Потом он очень мудро остался еще на недельку собрать горбушкой самую вкусную подливку с остывающей сковородки истории, а потом очень странно остался еще дней на десять догуливать отпуск у родственников где-то под Кинешмой...

Оказалось, Маринка все ему рассказала, когда он смог-таки позвонить к ней домой (вот удивительно: она и зашла-то к себе только на минутку забрать какие-то вещи). Я сопоставил даты: уже после этого он разговаривал со мной спокойно, разве что слишком ровно и отчетливо выговаривая слова, но я решил, что это волжская самогонка так зомбирующе на него подействовала.

— Ну зачем, Чижик? — скривился я. — Это я должен был все ему растолковать.

— Растолковать?! — От возмущения она даже толкнула меня и подскочила. — Не извиниться? А растолковать? Поучить уму-разуму? Поделиться опытом?

Я сел, а она стояла рядом, глядя на меня сверху сощурившись, и маленькие темные соски сморщились от негодования, рот забавно уменьшился, и взгляд остекленел косо-подозрительно, словно я обещал не пить кровь младенцев и не чавкать во время еды и вдруг вероломно нарушил клятву.

А я, подлец, сидел и млеял от такого ее задиристого выражения лица, от такого равнодушного положения тела, сидел, подлец, и млеял, даже понимая, что жестоко обидел друга, даже некстати вспомнив, что дома меня испуганно ждут жена и маленький сын.

Я сидел и млеял, обескураженно, но точно чувствуя, что именно сейчас мне на голову свалилось настоящее счастье. И нужно любыми способами попытаться его удержать.

— Ну, объяснить, объяснить, конечно, — сказал я как можно более убедительно. — Ну, не дуйся, иди сюда.

— И как бы ты, интересно, все ему объяснил? — не сдавалась она, смешно и смело отклоняясь назад.

— Я бы все свалил на тебя, разумеется! — сказал я и поймал-таки ее за тонкие запястья.



Затем прижал их к ее бедрам, сделал захват поглубже и притянул к себе. И поспешил зарыться носом в ее теплый животик, пока она не могла сопротивляться.

— Он же знает тебя, знает меня. Знает, что я все равно не смог бы устоять, — честно объяснял я. — Хорошо хоть, без какой-нибудь дурацкой дуэли обошлось...

Она, наверное, целую минуту молчала сокрушенно и размышляла, отвернувшись.

— Я же знаю, что тебе тоже плохо, — наконец сказала она. — Зачем ты сейчас так бравируешь?

И высвободила руки.

Но потом все-таки положила обе ладони мне на макушку. А я, подлец, просто счастливо замер, спрятавшись в этом своем темном уютном убежище от всего на свете — и от того, что уже было, и от того, что будет потом.

4. Правила хорошего тона

«Потом и попой, потом и попой», — любила приговаривать классная руководительница моего сына, объясняя, как нужно добиваться твердых знаний по математике. Подразумевалось, что мы должны восхититься ее грубоватой откровенностью, неожиданной точностью и остроумием. Мне же почему-то становилось невесело.

Я нечасто бывал на родительских собраниях, и все же бывал. Даже помню окна кабинета — вон те четыре крайних на третьем этаже. Однажды перед Новым годом я украшал их снежинками, вырезанными из салфеток. Но вообще-то отцом был неважнецким.

Сын учился легко, однако не блестяще. «Он может лучше!» — убеждала меня учительница, а я не очень понимал зачем. Меня больше заботило, что у них недружный класс и мой сын, следовательно, растет в какой-то иссушающей зубрильной изоляции, лишаясь целого пласта человеческих отношений на всю последующую жизнь. Тут уже учительница меня не понимала. За радость юности и раскрепощенность спрашивать с нее было бессмысленно. Она отвечала только за пот и попу.

Лишь классе в десятом, к счастью, все изменилось. У сына наконец-то появились настоящие друзья — замечательные, умненькие мальчишки, может, чуть более саркастичные, чем мне бы хотелось, но здесь ничего не поделаешь: такое поколение. Причем сын в этой четверке, к моему удивлению, играл роль Атоса — непрекаемого авторитета, чуть надменного и афористичного. А когда он практически без подготовки занял четвертое место на городской олимпиаде по математике, классная руководительница и вовсе прикусила язык. А я был ужасно горд, хотя и понимал, что моей заслуги в этом нет никакой.

Помню, лет пятнадцать назад, когда дочь была совсем маленькой, она бурно обрадовалась какому-то футурологическому предсказанию, которое должно осуществиться через век или два (кажется, речь шла о

туристических межпланетных перелетах). «Думаешь, ты до этого доживешь?» — насмешливо спросил у нее родной брат, тогда уже незастенчивый юноша. А я похолодел, поняв вдруг, какие мысли бродят у него в голове. Бедный мой маленький старичок!

Я очень хороший человек для огромного количества людей, только почему-то не для собственного сына. И это, наверное, действительно моя вина, что у него так часто бывает отрешенный и грустный взгляд. Папаша ему достался, прямо скажем, не подарок. Хотя я не теряю надежды, что когда-нибудь мы все-таки станем ближе. Когда он поймет, что надо быть чуть снисходительней, и я, возможно, тоже это пойму.

Времени уже часов десять, а я иду в прямо противоположную от работы сторону — по тенистой и всегда несколько сонной улице Арочной, особенно сейчас, в звукоизоляции палой листвы. Первая школа самодевольно перегораживает ее, ясно давая понять, что даже самое многообещающее направление может завести в тупик.

Никогда не забуду, как мою дочку классе в восьмом заставляли в день выборов раз шесть выскакивать в слякоть на школьный двор — радостно встречать губернатора. А он все откладывал и откладывал свой триумфальный визит на избранный избирательный участок, а сникшие девчонки в куртках поверх цыганских платьев все заводили и заводили жалкий зажигательный танец перед редкими сознательными пенсами, а директриса все психовала и психовала, теребя свой причесон, по высоте уже почти заврайоновский...

Нет уж, к этому образцово-показушному храму науки я подходить не стану. Хватит с меня и на работе каждодневной приближенности к жиреющему официозу. А сейчас я в отпуске: куда хочу, туда и ворочу.

Я сворачиваю налево в проезд, соединяющий улицу Островского (до сих пор почему-то Николая, а не Александра, хотя именно здесь неподалеку, за кулисой топоиноного сквера, очень органично перевоплотился в Дом актера особнячок бывшего обкома комсомола) и проспект Советский. Только теперь понимаю, что не знаю названия этого проезда — вот странно-то, а еще коренной кемеровчанин! А может, у него и названия никакого нет — всю значимость прилегающих территорий присвоила себе по праву первой красавицы цветущая параллельно Весенняя. Хотя этот-то проулок точно заслужил какое-нибудь бодрое румяное имя: на него выходит фасадом главная городская баня.

Когда я служил в армии (а служил я, как спортсмен, по благу дома, то есть в роте обеспечения учебного процесса местного военного училища связи), нас, как правило свободных днем футболистов, раз в неделю снаряжали отвозить сюда в прачечную грязное белье всех курсантов и солдат. Мы делали вид, что это ужасно неприятная работа, хотя на самом деле халява была волшебная: свернуть и закидать в кунг 66-го «газона» несколько десятков пусть противно-влажных, но не слишком тяжелых узлов, потом разгрузить их в бане — вот и вся боевая операция. И можно не париться (а можно и попариться, и даже в отдельном номере, если дежур-



ная будет не вредная), что командир или старшина станут искать тебя до обеда. Ближе к дембелю мы вообще начали ездить сюда не в военной, а в спортивной форме и после разгрузки спокойно шли гулять по городу — как раз по этому проезду, затем на Советском направо и напрямиком в кафе «Жаворонок», где всего за рубль подавали вкусные комплексные обеды, вызывающие изжогу, и до 1 июня 1985 года даже спиртное.

Дней за десять до этой трагической даты мы исхитрились обменять на сэкономленные талоны (пусть по грабительскому курсу, зато навынос) ужасающее количество бутылок болгарского вина. Дальнейшее память, к счастью, сохранила гуманно-туманно. Помню только, что Еся не просто не мог идти — он не мог даже висеть на нас, а точнее не хотел, с каким-то самоуничижительным упоением упрямо стекая на землю, и, когда я предложил привязать его руки-ноги к палке и нести на плечах, как пещерные люди добычу, эта идея обсуждалась вполне серьезно.

Следующий стоп-кадр — как мы отсиживались во дворе дома рядом с КПП № 2, но в конце концов предпочли воспользоваться менее нахальной обходной тропинкой и все-таки смогли перевалить через невысокий в углу забор почти бездыханное тело. И тут кто-то жестоко пошутил: «Еся, шифруйся — ротный!» — и этот несчастный, распластаный в траве, попытался зарыться еще глубже, подгребая к голове руками.

Можно долго и справедливо ругать армию, но есть минимум две вещи, за которые ее следовало бы уважать. Во-первых, там заставляют на ночь мыть ноги холодной водой, и на свете нет ничего лучше для крепкого и здорового сна. А во-вторых, четко маршировать в слаженном строю под звуки «Прощания славянки»: мало в жизни найдется других моментов, равных этому по душевному подъему.

Кстати, о маршах и относительности счастья. Самое удивительное, что наш легендарный переход через Советский не зафиксировал никто из знакомых, хотя это место в городе, пожалуй, самое оживленное. Достаточно на несколько минут остановиться у входа в первый универсам — и наверняка получишь возможность пообщаться с парой-тройкой приятелей или приятельниц. Мы с Ванькой однажды этим воспользовались, когда второй день отмечали какое-то важное событие, уже спустили все деньги и хитро прибрали сюда просто стрельнуть закурить. А в итоге собрали новую компашку и продолжили праздник.

Именно ощущение праздника (точнее, наверное, предощущение) почему-то всегда вызывает во мне это место, в общем-то, не слишком выразительное, транзитно-суетное, многолюдное по необходимости. Но, видимо, мне, как пацану с рабочей окраины, эта первая остановка на пути «в город», в Центральный район неизбежно должна была внушать такую приподнятость.

Здесь, на пересечении Советского и улицы Кирова, я сходил с автобуса, приезжая на стадион «Химик», а позже в школу, а позже в университет. Отсюда было ближе всего до Центрального универмага, центрального книжного магазина, лучшего букинистического магазина и горсада.

Дальше 51-й автобус сворачивал направо, один квартал проезжал по Кирова и затем по улице Дзержинского следовал до конечной площади Волкова. А всякие амбициозные пареньки из отдаленного Кировского района шли по правой стороне Советского, сдержанно-жадно стреляя глазами по сторонам, скромно-пытливо разглядывая свое отражение в витринах и чутко-целеустремленно осваивая центральную часть родного, но пока не покоренного города.

Где-то на этом отрезке между первым универсамом и Театральной площадью я однажды осенью впервые увидел свою будущую жену.

А потом (дальше по курсу) ходил с ней в коктейль-бар «Льдинка». А потом (еще на дом дальше) заходил к ее родственнице-портнихе, которая шила ей очень стильное сиреневое свадебное платье с сильно заниженной талией.

А здание главпочтамта, которое я с раннего детства, еще со времен поездок с мамой к ее сестре тете Поле всегда узнавал особо и горячо называл Москвой, вообще, думаю, стало главным ориентиром в моей жизни. Недаром я в зрелом возрасте и квартиру купил с видом на эту башню.

И еще я понял, что переехал сюда, а не в настоящую Москву потому, что здесь приближенность к мечте ощущается гораздо реальней. Не осуществление мечты, а именно приближенность к ней, оставшейся высокой и чистой. Я люблю тонкие, а не толстые щемящие чувства.

В безоблачном небе след от самолета странно вильнул — как на карандашной линии, прочерченной по линейке, но со случайно обведенным кончиком выступающего пальца. Видно, пилот уронил бутерброд и, наклонившись за ним, двинул локтем какой-то рычаг, так что после, чертыхаясь, с красным от прихлынувшей крови лицом вынужден был лихорадочно выправлять курс под ржание бортинженера.

А может, это просто резкий порыв ветра там, на высоте, так необычно выгнул струю конденсата?

Давненько я никуда не летал. И наверное, не скоро еще полечу. По работе нет никакой нужды, а по личным делам — никакого желания.

Далась мне эта Москва. Не хочу туда. Вот в Питер, возможно, придется летать регулярно — когда дочка поступит учиться и нужно будет ее проведывать. Хотя надеюсь, это будет не скоро. Во всяком случае, мысленно я малодушно отодвигаю этот момент.

А сейчас я решил съездить навестить родителей. Пусть пока в конторе понервничают и горько пожалеют, что не ценили такого незаменимого парня. На звонки отвечать принципиально не буду, а заеду где-нибудь после обеда — написать заявление, чтобы получить отпускные.

Я жду автобуса на остановке «Кирова» в сторону Кировского, курю и смотрю на стенд с изображением строящегося на этом пустыре бизнес-центра. Когда-то здесь стоял деревянный цирк, в котором выступали уже и медведи на мотоциклах, но еще и борцы с нелепыми псевдонимами, пердящие во время схваток будто нарочито громко.



Не сразу понимаю, что в кармашке сумки уже второй куплет исполняет телефон: звонит Ванька, а поет Кэндис Найт. Я как человека просил его поставить мне нормальную мелодию группы Rainbow, а он решил выпендриться. Говорит: «Скажи спасибо, что не закачал какого-нибудь Марка Тишмана. Это-то хоть классика, ты же хотел крутого Блэкмора?» И потом еще обижается, что я не слышу эту сладенькую мандолятину на улице или в транспорте.

— Да! — говорю я в трубку, пожалуй, несправедливо раздраженно.

— Подъем! — кричит Ванька.

Это наша старая привычка — даже если звонишь вечером, все равно надо гаркнуть: «Подъем!» А другой должен ответить в том смысле, что давно уже встал и успел навкальваться как бобик.

— А я в отпуске, мне можно и дрыхнуть, — говорю я.

— А-а... — Ванька разочарован. — Значит, на работе тебя не будет?

— Не-а, — мстительно усмехаюсь я, потому что звонит он явно не для того, чтобы меня проведать, а за какой-то надобностью.

— Ну а вечером-то сегодня придешь, не забыл?

— Приду обязательно, — обещаю я, начиная уже раскаиваться в своей вредности.

— Ну ладно, — говорит Ванька и отключается.

Стыдно, конечно. А раздражен я потому, что в последнее время Ванька стал звонить мне гораздо реже, и в основном по делу («А вы еще не писали, что мы едем на фестиваль?») или чтобы спросить о правильном употреблении слова. Судя по Ванькиным рассказам, творческие споры у них там в театре (на театре!) вспыхивают по самым разным поводам, и я не только безоговорочно в это верю, но и знаю, почему это происходит: моего друга хлебом не корми — дай выдвинуть какую-нибудь завиральную лингвистическую или историческую версию (прямо в духе юмориста-ученого Задорнова). И потом упираться-спорить, доказывая свою правоту. А в конце концов, когда загонят в угол, перевести предмет на странную аналогию с неубедительными музыкальными терминами и при этом еще обидеть оппонента — походя, зато хлестко.

Я тоже, если честно, звоню ему теперь не так часто, причем сдерживаю себя сознательно. В этом есть и доля обиды, но главное — элементарная чуткость (она же трусость, оно же чистоплюйство). Я боюсь, что, чаще общаясь с Ванькой, буду чаще провоцировать его на выпивку, а ему это уже заметно вредно. Вот если бы еще он не мог без меня добраться до рюмки, точнее до фляжки, которая у него постоянно с собой и пустеет к середине рабочего дня...

Я совсем не скучаю по нашим прежним необязательным загулам, но мне очень не хватает наших откровенных вечеров с растроганными привираниями, наших привычных игр, ритуалов и подначек. Другое дело, что общаться без водки мы, похоже, разучились совсем.

5. Рубаха-поло-парень и девушка тяжелого поведения

— Со всем соглашусь, — вдохновенно сказала Мина, — только не с твоей завистливой заниженной оценкой его небесной красоты.

Всю обратную дорогу в метро, а потом пешком до нашей улицы Беломорской я ее подкалывал, и она с удовольствием принимала такие извращенные комплименты. Сейчас мы поужинали и просто сидим отмокаем. День был долгим, нервным, но новым по содержанию, и нам обоим пока не хочется расходиться спать.

— Вот я и говорю, что он какой-то нереально идеальный, — говорю я. — Наверняка он втайне смотрит клипы Ирины Аллегровой. Бреет подмышки. Или любит, чтобы его хлестали по заднице парадным офицерским ремнем.

— О! — восклицает Мина. — Разве это недостаток? — Затем она мечтательно поднимает взгляд вверх-вбок и, накручивая на палец черный локон, спрашивает не то «робко», не то «невинно»: — А какой он — парадный офицерский?

Я объясняю.

— А нельзя просто подтяжками или детской скакалкой?

— Ни в коем случае, — решительно мотаю я головой. — Только желтым парадным.

— Вот черт! — вlepяет она кулаком в ладонь.

— Ну извини.

— Ладно, — говорит Мина. — Пусть живет.

У Мины есть три игривых и действительно беспронгрышных образа, в которые она переодевается в зависимости от настроения. А настроение у нее зависит от наличия (отсутствия) трех факторов: денег при себе, друзей вокруг и алкоголя внутри. Учитывая острохарактерную Минину фактуру (восточная жгучесть, сто двадцать кэгэ, низкий голос), все три ее фирменные ипостаси внешне схожи, но четко различаются лексически: маман в борделе, прожженная звезда кафешантана и студентка-кавээнщица. Порой ее героини слегка диффундируют, обмениваясь репликами, но это при новых интересных людях или слишком большой принятой дозе. Сейчас незнакомцев рядом нет, доза оптимальна, а новое приключение будоражит даже больше привычных трехсот пяти миллилитров.

Мы с ней долго экспериментировали, подбирая самый подходящий вариант для таких вот ночных посиделок после тягостного трудового дня, в Ставрополе даже переходили на поллитровку местного коньяка (пластиковую, зато прямо с завода, неразбодяженного), а в Архангельске на виски ноль шестьдесят шесть, однако только здесь, в Москве, нашли идеальную меру: ноль целых шестьдесят одна сотая литра, «Салют, Златоглавая!» (платиновая). Впрочем, сегодня все наши спокойные традиции побоку и, боюсь, без второго залпа (то есть вскрытия второго фунфырика «Салюта») дело не обойдется. Я с удивлением отмечаю, что Мина, казалось бы начисто лишенная способности к кокетству, похохатывает слишком звонко. Я даже почувствовал укол — нет, не ревности, конеч-

но, а скорее разочарования от такой вероломной женской слабости. Хотя, должен признать, соперник мой поистине великолепен, таких стройных гомункулусов наверняка выращивают в каких-то особых кремлевских пробирках. В дефицитных импортных настоях на восемнадцатилетнем «Чивасе Ригале». С добавлением женьшеня и элеутерококка.

— Нет, признайся, что ты сознательно занижаешь масштаб его красоты, признайся! — хочет еще поиграть Мина, расширяя густо накрашенные глаза.

— Разве я не сказал, что она неземна? — слабо отбиваюсь я.

— Сказал. Но без должного восхищения!

— Она марсиански фантастична, — пробую я.

— Нет, не так. Его красота неземна, божественна, непререкаема и вообще... офигенна.

Поразительно — и подозрительно! — что Мина смущенно прибегла к эвфемизму. Хотя вслед за этим рефлекторно плотоядно облинулась, а ее пальцы с вампирским маникюром по привычке зазмеились в районе воображаемого паха будущей жертвы.

— И наказуема, — дразню ее я.

— О да! — говорит Мина самым низким из своих чарующих тембров. — И он за это еще ответит!

— Даже страшно представить, — говорю я, а довольная Мина заливается жеманным смехом.

В это время ничего не подозревающий о нависшей угрозе банкир Голубев наверняка уже крепко и, судя по его атлетичной фигуре, здорово спал, а судя по многим другим признакам — в обнимку с молодой, перспективной и рыжеволосой красоткой. Ну, насчет соблазнительно-пламенного цвета ее волос я, возможно, слегка приукрасил, зато по поводу всего, что касается Голубева, ничуть. Вкус у него явно был, а еще — непередаваемо, восхитительно, возмутительно неограниченные возможности.

В этом он заставил нас убедиться лично, пригласив в свой офис. Мы уже третий месяц торчали в Москве, почти ничем серьезным не занимались, но он, как солидный работодатель, платил исправно — и унизительно мало, как мы с разочарованием поняли сегодня.

Нас со всей возможной и ненужной серьезностью проверили при входе в банк, а потом со смешной беспечностью оставили одних в роскошном кабинете Голубева. Может быть, в это время нас рассматривали сквозь какую-нибудь полупрозрачную стену, как неизвестный вид приматов? К счастью, у Мины не возникло привычного желания спереть что-нибудь в качестве сувенира, да и я был уместно чопорен, даже пальцем не тронув несколько картин Целкова, в беспорядке расставленных вдоль стен. Представляете, все эти дорожные подлинники с однообразными образами здесь буквально валялись на полу!

А затем в кабинет вошел Голубев, банкир-солнце, и птицы начали петь, стада тучнеть, злаки колоситься, а виноград пузыриться шампан-

ским. Даже Мина слегка припухла — что уж говорить обо мне, гораздо реже общавшемся с такими блестящими новыми русскими?

То, что он именно русский, а не безродный гражданин мира, Голубев сразу и недвусмысленно дал понять, за первые три минуты своей тронной речи успев дважды перейти на английский — приведя какую-то пословицу и свежо процитировав какого-то ехидного экономиста. Даже если бы мы не знали, что он несколько лет служил в Лондоне внешним разведчиком, об этом нетрудно было догадаться: слишком уж легко он вошел в контакт с незнакомыми людьми, слишком быстро и умно реагировал на вопросы, слишком демократично общался со скользкими типами из своего выборного штаба...

Интересно, а на 7 ноября или 20 декабря* их, лощеных атташе, составляли надевать в посольстве кители с орденами, прикрученными со стороны подкладки? А потом на торжественном собрании в Букингемском дворце съездов сэр Элтон Джон пел им «Акуна матата» в сопровождении бело-краснознаменного ансамбля бифитеров? Или все-таки самого Иосифа Давыдовича доставляли тайно с дипломатической почтой и он исполнял зашифрованно: «Наступит время — сам поймешь, наверное»?

Они сами безошибочно поняли, когда время наступило, и верно вернулись от опостылевшего «Хэрродса»** к родным «Березкам». И какие-то стратегические секреты Полишинеля, видимо, все же сумели добыть на чужбине — о том, например, какие модные тенденции будут актуальны в следующие финансовые годы. Но здесь их донесение не услышали: то ли не смогли понять из-за приобретенного мягкого акцента, то ли отрапортовано было не по форме, чересчур деликатно, про себя. Вот они и ушли с гордо поднятым рейтингом в золотой запас в звании миллиардеров, а недостойное государство, которому они так преданно служили на тактичном расстоянии, еще больше начало захлебываться слюной с голодухи и зависти к тому самому недостижимому Лондону...

Ну вот, похоже, я действительно завидую или ревную. Пытаюсь поддеть такого замечательного парня, который ничего плохого мне не сделал, напротив, даже аккуратно платит раз в неделю немалые по провинциальным меркам деньги за мелкие, в общем-то, услуги. А у самого такая обаятельная ранняя седина на бобрике, такой приятный умеренный загар, такие простые на первый взгляд интеллигентские очки, такой спокойный голос с чуть повышенной температурой мальчишеского тона, в который бонусом вшита опция самоиронии и мелодичного смеха.

Нет, он был безукоризнен. И мне он даже нравился.

Вот это и опаснее всего — подпасть под обаяние такого человека. Потому что начинаешь верить любым его словам. Начинаешь думать как он и думать о том, как тебе повезло. А потом думать, что ты заслужил такое везение. А потом — что это и не везение вовсе, а твоя собственная

* 20 декабря — День работника органов безопасности.

** «Хэрродс» — универмаг в Лондоне.



заслуга. Что ты достоин большего, чем другие. Что ты лучше других, раз оказался рядом с такими лучшими людьми.

Ты наслаждаешься причастностью к некоей волшебной подъемной силе — такой окрыляющей, явственной, не требующей объяснения и оправдания. Оправдания могут потребоваться позже, когда окажется, что твой герой стал уже твоим хозяином и цели у него хоть и крупные, но мелочные, а ты просто на подхвате, причем на поручениях не самых возвышенных; правда, к тому моменту ты уже можешь не почувствовать, что что-то здесь не так: тот центр мозга, который должен бы отвечать за такие тонкости, атрофировался; и вообще в политике не бывает нравственности, деньги не пахнут, ничего личного, Джек Бёрден, так что выпрями спину и расправь плечи, гордый человек, держи осанку, неся стаканчик виски старому другу Вилли, да смотри не расплескай, скот... (Я сказал «скот», а не «скотч»?)

Потому-то я и стараюсь держаться подальше от власти и богачей — не только из брезгливости, но и из осторожности: часто они бывают очень сильными людьми, их обаяние способно действовать парализующе, их вера в собственную исключительность может быть заразна — и вдруг я не смогу выстоять, вдруг не смогу устоять?

Хозяева нашей московской квартиры умиляют сочетанием ископаемой интеллигентности и современной изворотливости. Понятно, что, как и подавляющее большинство дорогих жителей столицы, эти тоже подвинуты на квадратных метрах — своих настоящих и будущих, своих родных и знакомых, счастливо наследованных и глупо подаренных, завидно заработанных таким-то народным артистом и нагло захাপанных растаками иногородними золушками. Сами они при этом сдают и эту квартиру, и комнату матери жены, а живут с бабушкой и дочерью-студенткой в Орехово-Зуеве. Оба музыкальные работники, оба подрабатывают еще в паре мест, явно не бедствуют и явно хотят большего. Они очень переживают, что сдали нам жилье так задешево, цены с тех пор ощутимо выросли, но что тут поделаешь, они же честные люди, вот если бы мы смогли переговорить со своим руководством на будущее, они бы тогда и стиральную машину новую поставили, и телевизор побольше...

Общаются они в основном с Миной, именно ее определив начальницей нашей законспирированной десантной бригады. Видно, что до смерти боятся ее ближневосточного вида и зычного голоса, однако смело проходят в прихожую за деньгами и порой даже отчаянно на кухню — выпить чашку кофе, заметить заляпанную жиром печку, случайно сбить ногой под столом пустые бутылки, обмереть, сконфузиться, извиниться и с ужасом представить, что же может твориться в комнатах и каким же в итоге окажется после нашей оккупации их уютное семейное гнездышко.

Короче, мы с Миной договорились, что перед отъездом скинемся баксов по сто из личных и оставим им. Мина сказала: «На чай», а я сказал: «На добрую память». Сверх того, разумеется, что должны за сломанную полочку в ванной и сравнительно небольшой бой посуды.

Сибирякам не привыкать Москву спасать. Хотя, конечно, москвичей это не спасет.

Вчера мы ударно потрудились и удостоились премии в виде выходного. Если честно, ничего особо доблестного мы не совершили, занимались обычной рутинной, однако внезапно заявившийся в штаб Голубев остался доволен своим впечатлением (или, возможно, впечатлением, которое сам произвел) — вот и расщедрился не на шутку. Тем более что приехал он вместе с известной артисткой, яркой и бойкой (он пообещал поддержать ее фонд поддержки не то молодых, не то престарелых актеров, а она за это вошла в группу его поддержки), так что, как нормальный мужик, просто обречен был на пару широких жестов.

Накануне на обложке модного журнала вышла их фотография вдвоем (она в образе Прасковьи Жемчуговой, а он в шляпе с пером и почему-то в рубашке поло), они смотрели друг на друга с шутиливой неприступностью, и в Интернете — не без Мининой подсказки, конечно, — сразу заговорили о готовящемся романе. Что, собственно, и не требовалось доказывать.

Интервью на разворот в том журнале тоже делала Мина. Актриса в нем предстала чуть площе, чем на самом деле, зато Голубев раскрылся во всей своей глянцевой полноте. Теперь только абсолютный кретин не захотел бы избрать его мэром. И даже он сам, матерый шпион, похоже, поверил в это.

Когда они вошли, Мина добывала текст его брошюры про решение межнациональных проблем Москвы, а я доверстывал листовку на зеленом фоне — будто бы от какого-то Комитета правоверных мусульман, убеждающего голосовать за одного из голубевских соперников. Против Лужкова такая мелкая заподлянка, понятно, не сработала бы, а тут — вполне вероятно. И ничего личного.

Голубев расстегнул пиджак, ослабил галстук и, весело разглагольствуя, ритмично покачивал носком замшевого мокасина. Актриса попросила зеленого чая, и наш начальник Валера метнулся к бару.

— По театрам-то походить удастся? — спросил Голубев.

Он знал, что мы из глубинки. Москвичи за такую работу запросили бы втрое больше.

Меня так и подмывало запальчиво признаться, что в университете я защитил диплом «Мотив игры в пьесах Радзинского» с пристежкой Пирранделло, Олби и Дюрренматта, месяц провел в Москве на преддипломной практике, так что по театрам находился вдоволь. Но Голубев был так приятно расслаблен и так доброжелателен, что я не стал портить ему удовольствие.

— А что сейчас все смотрят? — вежливо спросил я.

— Нет, что вам самим больше нравится? — еще лучше спросила Мина.

— Ну, туда попасть трудновато! — засмеялась актриса. — Это в Париже.



— А мне — честно! — последняя работа Аллы очень нравится, — сказал Голубев.

Зачет по обману полиграфа он еще курсе на втором наверняка получил автоматом.

— Нет, каков! — счастливо засветилась Алла и шуточно ткнула его кулачком в плечо.

Она в этом дуэте свою роль явно играла хуже.

Культурную программу, как и положено дарвинистам во втором колене, мы открыли в зоопарке. Связанные с ним детские впечатления у меня уже выветрились из памяти (за исключением того, что ел мороженое в непривычном коническом стаканчике), так что ностальгически сравнивать было не с чем. К тому же стояла жара, многие звери прятались где-то в глубине вольеров, только гималайский медведь заученно-ловко веселил публику, отработывая халявную пайку, ну и еще жираф обреченно-униженно выбрался на фотосессию, однако при этомдохнул сверху таким смрадом, что стало жутковато: вокруг были действительно дикие животные.

Потом мы с провинциальной церемонностью отобедали в новомодном суши-ресторане («комплимент от заведения» — белые воздушные чипсины, совершенно безвкусные, но умять их мы посчитали своим долгом).

Потом прогулялись по Александровскому саду, Красной площади, по Театральной и Тверской. А на Тверской бульвар не пошли, потому что и так знали о нем всё: как раз в доме № 8 жила бухгалтер нашего штаба Соня, и она рассказывала, что у них никак не могло быть 107-й квартиры, как в песне, поскольку квартир всего-то тридцать с чем-то, а еще в ее доме жил Караченцов, а ее квартиру уже предлагали купить за миллион долларов, но она гневно отказалась (почему гневно — было не очень понятно, ведь предложение явно было лестно).

Потом по-простецки налупились в теперь уже совсем доступном «Макдоналдсе» на Пушкинской. Мы давно договорились, что в этом нет ничего стыдного, чизбургером даже с маленькой порцией фри реально можно наесться, а соус карри здесь действительно очень вкусный, только вот пепси слишком холодна — горло легко может прихватить.

Потом не торопясь пошли к Ленкому и прибыли минут за сорок до начала спектакля, осматривались с искренним уважением, пока не увидели в зале жлобски узкие проемы между рядами кресел. Примерно такое же чувство неловкости вызвал и спектакль. По-настоящему хорош, пожалуй, был только Эбруев; Янковский был велик, но уже словно отстранен, оторван этой великостью от нас всех, оставшихся внизу; а главная героиня просто подтвердила худшие опасения: даже самые талантливые люди, ироничные и мудрые, становятся слепы и слабы, когда дело касается их детей.

Я давно уже не причисляю себя к знатокам сценического искусства, а вот Мину смело можно назвать завзятым театралом: во-первых, в сту-

денчестве она сама играла в университетской студии (Сову в «Винни-Пухе»), а во-вторых, она чуть ли не наизусть знает тексты многих пьес, отлично помнит актеров в разных телеспектаклях и экранизациях. Так что, в принципе, она имела полное право на столь краткую рецензию — другое дело, что не стоило выражаться так громко и так определенно прямо в фойе.

Я даже не стал подавать «в сторону» заготовленную реплику о том, что в Кемеровском театре драмы тот же «Шут Балакирев» поинтересней будет — иначе немалый заряд праведной презрительности перепал бы и моим ни в чем не повинным землякам-артистам. Я крепко взял Мину за руку и сконфуженно повлек ее к выходу.

На улице мы, чувствуя себя изгоями, но смелыми и свободными, остановили такси и поехали домой с глупым шиком. Глупость этого решения обнаружилась очень скоро: на Ленинградке опять что-то случилось и мы добирались до Речного вокзала минут на тридцать дольше обычного.

Я сидел сзади за водителем и по его шее видел, как он ненавидит весь мир, включая и меня, и Мину, которая еще пыталась развлечь его разговором. Раньше я думал, что, если бы москвичи смогли успокоиться, не накручивали себя сами, им гораздо легче было бы и на дорогах, и в жизни. Теперь я понял, что они просто не могут себя не взвинчивать. Это физический закон в городе, где все обязаны быть успешными, при этом само понятие успеха часто приземлено до банального «успеть».

И еще я подумал, что, наверное, тяжело жить в городе, который ты должен любить в любом случае, даже если не всегда хочется, не всегда получается, а поводов для нелюбви возникает все больше. Особенно если раньше такие мягкие летние вечера с тысячей обнадеживающих огней вокруг были тебе особенно дороги.

6. С пламенным эволюционным приветом

Дороги в Кировский прямо вдоль Томи до сих пор нет, хотя разговоры ведутся давно и получилось бы гораздо ближе. Зато не так интересно: с одной стороны сплошная бурая стена высокого яра, с другой — через полукилометровую плоскость воды, на пологом левом берегу — страшноватая дымная панорама большой химии. А так — поднимаешься по серпантину вверх и сразу проникаешься захватывающим духом первопроходцев и первых пятилеток. То есть романтики в чистом — особенно по сравнению с левобережным — виде.

Вот как раз на этом лысом взгорке, ближайшем к нынешнему мосту, почти три века назад пионера Михайлу Волкова и угораздило найти уголь.

Сидел, наверное, вечером у костра, пел под гусли популярную песню «Ой, да я конквистадор в панцире железном», притоптывая в такт сапогом, и отковырнул случайно из-под чахлого дерна черный камушек, мелькнувший живым теплом.



Или, может, подпоил местного шерпа его же абырткой* да и выведal главный здешний геологический секрет.

Или просто, двигаясь вверх по реке из Томска, методично обстукивал молотком выступающие на поверхность породы, искал, как и было оговорено, «всякие металлы, сиречь золото, серебро, медь, олово, свинец, железо», а тут вон какое дело. Ну ничего, в хозяйстве тоже сгодится. В общем, мечтал открыть Америку, а наткнулся на новую колонию... А нам теперь до скончания века расхлебывать. То есть раскапывать.

Хотя без Америки тоже не обошлось — куда ж без нее? После Октябрьской революции, растолкавшей полудремно-полудремучую Сибирь несколькими ударными волнами, причем разной направленности, именно предприимчивые американцы помогли раскрутить утопический проект, равного которому по смелости человечество еще не знало. Строить Автономную индустриальную колонию «Kuzbas» в Щегловск** съехались самые честные прожектеры и самые наивные рвачи со всего света. В Нью-Йорке регулярно будоражил общественность бюллетень с таким же названием и работал вербовочный пункт, а у нас здесь будущий секретарь (или даже бери выше — пассия) писателя Драйзера Рут Кеннел прилежно протоколировала жизнь колонистов и впоследствии художественно обобщила свои впечатления в повести «Товарищ Костыль». В ней смысленный тинейджер из Штатов смог подружиться с безногим, однако шустрым кемеровским беспризорником. На фоне разной экзотики, приключений и прочего соцреализма.

Сейчас с трудом, но все-таки можно представить, как устрашающе тяжело и потрясающе интересно все это было. Здесь, на Красной Горке, в главной конторе колонии, под началом гениального интернационального авантюриста Рутгерса рождались нереальной красоты идеи и технические решения сложнейших практических задач. Причем в производственных планах завиральности было даже меньше. Для начала добывать уголь на правом берегу Томи, по канатной дороге переправлять его на левый и там на нарацивающем мощностъ заводе делать кокс. Потом за счет повышения производительности шахт замахнуться, к примеру, на полное обеспечение топливом Транссиба. Плюс постоянное развитие общественной инфраструктуры: возведение коллективных домов, столовых, театров, школ, бань. Архитектор ван Лохем был чуть ли не самым передовым в мире, и всякие искусствovedческие голландцы с самой перестройки у нас тусуются, не уставая поражено гыркать: такую редкость сберегли и так незаметно используете! (Вроде умные ребята, а не понимают, что сохранилось все это прикладное творчество вроде небывалых «домов-колбас» не от хорошей жизни, а ценить подобные эстетские придумки нам — и особенно людям, до сих пор в этих длинных бараках обитающим, — сейчас уже и не слишком удобно.)

Главное же историческое достижение АИК «Кузбасс» — это гуманитарный прорыв, налаживание отношений между представителями двух

* Абыртка — шорская водка, делается на луковицах кандыка.

** Щегловск — так назывался г. Кемерово до 1932 года.

разных миров. Диковатые аборигены и оголтелые пришельцы учили друг друга правильной жизни, втайне посмеиваясь над чудачками-чужаками, явно с ними пикируясь, но ища и находя точки соприкосновения. В итоге местное население заметно цивилизовалось, а иностранцы расширяли кругозор и душу. Продлился этот уникальный эксперимент не пять лет, а хотя бы двадцать, и в вольно-самодостаточной Сибири, идеально подходящей для всяких масштабных преобразований, мог явиться на свет социальный заказник новейшего типа — нечто среднее между будущим Тайванем и новосибирским Академгородком, эффективный и перспективный анклав самой лучшей самоорганизации, основанной на разумном энтузиазме. (Именно на разумном! Первое время любое событие в колонии было чревато многочасовым митингом, что не слишком способствовало ритмичной работе, и шахты далеко не сразу вышли на заданный уровень, так что у многих аиковцев горение довольно скоро сменялось разочарованием и из нескольких сотен в конце концов осталось лишь пять десятков — самых правоверных и закаленных.)

Потом, конечно, даже если бы одумавшиеся коммунисты не прикрыли эту шишко много о себе думающую коммуну, измелчавшие дети отцов-основателей и примазавшиеся к ним хапуги все равно бы все примитизировали и приватизировали, свели ценнейший футуристический проект к дешевому извлечению личной прибыли. Впрочем, у моей тещи, царствие ей небесное, был приятель как раз из потомков первых колонистов — серб по национальности и архитектор по профессии. Ведь надо ж было его родителям променять обуржуазившуюся, но теплую Европу на туманно-морозную фата-моргану где-то за краем земли! Зато сын, родившийся уже здесь, получился замечательный — с южным пылом и сибирским размахом, хромой (такая вот жизненная рифма с повестью о Костыле), но легкий на подъем, заводной, веселый и добрый. Так что, может, все было и не зря.

Это сейчас добраться до Кировского или обратно — левое дело на двадцать пять минут. В пору моего детства даже просто втиснуться в автобус, ходивший примерно раз в час, было удачей, а уж доехать без поломки и вовремя — и вовсе подарком судьбы.

С вводом нового моста (между прочим, самого широкого за Уралом), спрямлением дороги, а главное, с появлением нескольких маршрутов маршруток Кировский район перестал быть совсем уж захолустным гетто. Другое дело, что население его осталось специфическим, и я по возможности стараюсь не садиться в 28-ю маршрутку, где салон никогда не бывает пуст и публика угрюмей среднероссийского уровня процентов на сорок. И пьяней. И задиристей. И как-то безнадежней.

Правда, порой мне не хватает этого ощущения трюмного братства, этого галерного чувства локтя, когда твой товарищ по цепи через ряд слева может вдруг сделать что-то такое, от чего у тебя сразу согревается в груди, увлажняются глаза, и ты говоришь себе отчаянно-весело-храбро, закусив удила с золотыми якорями, сжав энергичные кулаки и готовый ринуться



вперед: «Не дрейфь, братишка, прорвемся!» Или хотя бы: «Врагу не сдастся наш гордый “Варяг”». Или: «Моряк на суше не дешевка».

...Он плотно опустил на сиденье рядом, не стесняясь повернулся ко мне и даже положил руку на плечо и слегка сжал. И спросил:

— Помнишь меня?

Жест был не враждебный, но достаточно твердый — чтобы я не вздумал выделяться: дескать, ну-ка, ну-ка, погоди-ка, не имею чести или еще что-нибудь в этом роде. Конечно, я его узнал. Хотя Генка, одноклассник моей сестры, выглядел уже ближе к старику, чем к мужику в возрасте.

— Конечно, Ге, — сказал я, по дурацкой привычке произнеся имя не слишком отчетливо, сглотив окончание на случай, если ошибся (хотя конфуз от этого не стал бы меньше). — Как у тебя дела?

Он улыбнулся — красиво, хищно, озорно, как в юности, сразу сбросив лет сорок:

— Лучше всех!

Мы хорошо поговорили, с удовольствием. Ему нравилось, что я не понтуюсь, говорю тепло и уважительно (все-таки одно время я был настоящей местной звездой). А я был рад, что лицо у него хоть и с морщинами, но нормального цвета и одет он прилично, может, только чуть фасонистей и моложавей, чем раньше подразумевалось в Кировском (значит, все-таки соскочил, молодец). И еще потому, что он любил мою сестру (хотя кто из пацанов ее тогда не любил?) и даже, возможно, был ее достоин.

Я вспомнил имя-отчество их классной — Алла Петровна. Спросил, как она: жива, здорова? И прокололся, потому что Генка удивился разочарованно:

— Разве Лена тебе не говорила? Лет пять как прибралась, по зиме. Мы же ее и хоронили. Больше некому было.

Класс у них был очень дружный; я, учась на четыре года младше, по-настоящему завидовал. Причем дружили они все вместе — и парни и девчонки. Классная была некрасивая, без личной жизни, но нашла к ним подход, и они ее любили, называли Аллушкой и старались не слишком расстраивать. Получалось не всегда.

Самый памятный момент — когда летом после девятого класса убили их заводилу, всеми искренне и нежно уважаемого. Парень — а вот его-то имя я и забыл! — был вольный борец, сильный, смелый, неиспорченный (тогда прямой дорожки от борцов и боксеров к бандитам еще не было протоптано). Однажды он далеко за городом с кем-то из приятелей на мопеде слишком близко подъехал к запретной зоне вокруг подземных складов с порохом, который производил наш «Прогресс». Говорили, что ничего плохого они и не думали делать, за колючку не лезли, однако тот черт с автоматом придрался и в итоге выстрелил очередь в спину. Особо всех возмутило, что за это чурке еще и предоставили отпуск. Хотя на самом деле, думаю, командование части просто предпочло спрятать тупого служаку хотя бы на время.

Похороны погибшего парня (вспомнил: его звали Сашка и умер он не сразу, а в больнице через несколько дней) стали для его класса тяжелым испытанием. Особо горячие головы клялись отомстить, все клялись беречь друг друга... Вот так, неся потери, и взрослоло это поколение, еще за пять лет до Афгана готовое стать потерянными.

Генка вышел на «ДК»: он, оказывается, так и жил в своем старом доме. Я сначала тоже хотел сойти (заглянуть к Мине, давно не виделись), но подумал, что может возникнуть неловкая сцена, и проехал еще одну остановку. А к Мине зайду на обратном пути от родителей. Так даже лучше, ведь у нее нельзя будет не выпить, а мать с отцом всегда переживают, когда я навеещаю их нетрезвый. Боятся за меня. И совершенно оправданно.

Водитель остроумно остановил автобус прямо возле лужи; я приготовился к выходу, уже спустившись на ступеньку, и, когда дверь открылась, шагнул вниз слишком оптимистично. Ботинок целиком скрывается в ледяной воде, и следующие полтора моих скачка получились судорожными, как у словившего браконьерскую пулю оленя. Стоящая на остановке девочка в синем пуховичке очень непосредственно расхохоталась во все горло.

— Бе-бе-бе! — передразнил я ее, и она закатилась еще пуще.

Молодая мама дернула ее за руку, я скорчил ей рожу, а она показала мне язык.

Постаревшие родные пенаты прижали к груди сухие ладошки и закачали седыми головами: «А наш-то как вырос, наш-то!»

7. Циркуляция малого круга

— Нашто тебе это, Лександра?

Вопрос даже не риторический, а ритуальный. Бабуся тычет пальцем в притороченную к рюкзаку плащ-палатку и смотрит на старшего сына коварно-насмешливо. Средний сын, Эдька, уже собранный стоит у двери. Внуку, то есть мне, осталось только надеть кроссовки.

— Нашто тебе палатка ли как ли?

— Макинтош! — щерится Эдька. — На небе ни облачка. Он бы еще галоши взял. Человек в футляре!

— Он и туалетную бумагу в кармашке заныкал! — вставляет сестра. — Чуть ли не весь рулон.

— Я отмотал! — возмущается отец. — А вам жалко?

— Урютя! — выдает Эдька еще одну ритуальную реплику.

Контрольное слово, конечно, должно остаться за бабусей.

— Анжинер! — торжествующе-безнадежно резюмирует она.

В былые годы такая сцена могла длиться минут пять. Сегодня все понимают, что бабуся исполняет свою роль уже чересчур механистично, с вековой бабьей выстраданностью, но без нужной самоиронии — как ребенок на утреннике в детсаду. Да и отец слишком счастлив, чтобы го-



рячиться по-настоящему и выдавать самые забавные оправдательные резоны. Да и на самом деле уже пора выходить, как бы ни потешались мы над его панической боязнью опоздать.

Я по очереди целую маму, сестру и бабуся. Эдька, чтобы не толпиться в тесной прихожей, выходит, ухмыляясь: «Еврейская семья». Сомневаюсь, что за годы скитаний по геологоразведкам, работы на заводе и в колхозе он мог близко познакомиться с еврейскими семьями, но почему-то именно так у нас принято обозначать долгие сентиментальные прощания.

Отец под шумок тоже тянет губы к сестре, а та отбивается:

— Уйди, пожалуйста, Александра!

Это тоже классическая бабусяна фраза, которая используется по любому поводу, однако сейчас отец не обижается, даже несмотря на редкий удобный случай — мое присутствие. Ведь в конце концов он победил, посрамлены все пессимисты и критики, а его мечта сбылась: он смог вытащить за грибами и брата, и сына.

Спускаясь по лестнице, я понимаю, что мама прижалась ко мне на полсекунды дольше, чем требовалось. Наверное, она очень скучает.

В детстве меня всегда поражала перемена, происходившая с отцом и дядькой, едва мы выходили из автобуса на конечной остановке «Пионерлагерь “Юбилейный”». Они сразу же начинали материться, причем с непонятным мне тогда вкусом, ненужно часто.

Сейчас не то: момент слишком исторический, чтобы опоздать. Хотя отец не мог не исполнить древний ритуал отпетого «анжинера», ступившего на тропу охоты: с шумным выдохом поставил рюкзак на землю, харкнул, вытер рот рукавом, снял кепку, погладил лысину, раскинул руки в стороны и провозгласил:

— И р-р-родина щ-щедро! Поила меня!

— Ладно, пап, побереги силы, — говорю я, положив руку ему на плечо.

Я не то чтобы стесняюсь (другие пассажиры отошли уже далеко), просто не хочу, чтобы он искреннее счастье выражал «на публику» и заемными словами. С другой стороны, клоунские штампы в таких случаях и помогают лучше всего.

— Бер-резовым соком! Бер-резовым соком! — все-таки честно доводит он куплет до конца.

— Слышь, Шурка-то совсем опупел, — тычет Эдька мне в бок и подмигивает.

Но и сам, я вижу, растроган. Я помогаю отцу удобней надеть рюкзак, расправляю перекрутившуюся лямку. И мы отправляемся в путь — три старых добрых романтика.

Первый гриб находит, разумеется, рыщущий впереди Эдька. Подосиновик еще не вполне товарного вида, но уже достаточно половозрелый, чтобы не жалко было его срезать. Дядька, впрочем, с показной небреж-

ностью просто выдернул его из земли да еще зачем-то разломил молочно-спелую шляпку своими железными пальцами, якобы проверяя ее на червивость.

Если бы я был маленьким, он непременно подозвал бы меня, дал рассмотреть это чудо, потрогать, а потом научил бы правильно вжимать лезвие в ножку пониже к земле и нежно (теперь бы я сказал: сладострастно) давить на упругий цилиндр до тех пор, пока добыча не окажется в твоей руке — восхитительно весома. Однако сейчас мой дядька, похоже, не знает, как себя со мной вести. Вот и включает какого-то тертого жигана пополам с киношным следопытом Гойко Митичем.

Хотя он и впрямь бывалый бродяга, полуполюгендарный герой моего детства. В нашем сугубо мирном, размеренном мирке он появлялся нечасто, неброско и всегда очень компактно — даже на табуретке сидел подогнув под себя одну ногу и вторую тоже поставив наверх. Но, боже мой, какой настоящей рыцарской (или, может, пиратской) силой веяло от него, какой захватывающей была его приключенческая жизнь — с долгими марш-бросками, ночными кострами, горными перевалами, умными собаками, верной гитарой... Как реально была воплощена в нем эта фантастическая жизнь!

Мы вышли из леса и остановились на суглинистом пятачке на краю большого поля, давно не возделываемого, заросшего уже не только жестким сорняком, но и кустами березок.

Раньше в этих местах коллективно хозяйничали грубые мужики на конях и в брезентовых плащах с капюшонами. Одного такого мы однажды видели метрах в ста, когда тайком от родителей поехали на рыбалку и по пути наткнулись на поле с молодым горохом. Мы даже не успели толком помародерствовать: мужик свистнул, гаркнул и поскакал в нашу сторону с прямо-таки нескрываемой радостью — давненько он не закусывал свеженькими кировскими шкетами! Мы, само собой, стреканули враспынную, потом долго собирались в безопасном отдалении, а после, сидя на берегу и варя уху из четырех пескарей и двух ершей, с восторженным ужасом рассказывали, как громко он щелкал бичом вот прям возле ноги, а берданку у него ты видел, видел, специально по жопе солью целится, а потом знаешь как болит! Никто не знал, но все авторитетно кивали.

Река и сейчас угадывалась вдали линией берегового бора — вырвавшаяся из отравляющего города, успокоившаяся и уже начавшая набираться особого достоинства перед крутой излучиной и выходом к Писаным скалам, таинственному месту, где чувствуешь сгусток древней энергии, даже еще не видя гладкой стены, полностью покрытой разностильными петроглифами несколько тысячелетий назад.

— Искупнуться хочешь? — спросил отец, проследив за моим взглядом.

Вообще-то раньше это не приветствовалось: раз уж пошли за грибами, то за грибами. Впрочем, вариантов было два: отправляться по мало-



му кругу или по большому. Большой лично мне довелось испытать лишь однажды, когда поначалу мы ничего не могли найти и Эдька с отчаяния завел нас в совсем незнакомые места. Мы дошли даже до отвалов угольного разреза (в стороне уже рокотала техника), а затем оказались на берегу Томи. Но в воду не заходили, просто посидели на склоне, покрытом какими-то инопланетянскими артишоками — заячьей капустой, чувствуя налетающий с ветерком запах нагретого ила и обнажившихся водорослей. Река в этом месте течет отрешенно, независимо от людей, и была заслуженная гордость в том, что мы смогли забраться так далеко и так естественно сливаемся с природой. Тогда-то и возникло как некий гротеск-мейстерский норматив понятие «большой круг», другое дело, что большей добычи такой удлинённый поход не гарантировал...

— Может, искупнемся? — спросил отец.

Тут важно было понять: мы сегодня хотим воссоздать классику или собрать все удовольствия сразу? Я посмотрел на Эдьку. Он прислонился спиной к сосне, вытряхнул сор из одного укороченного кирзача, перемотал портянку. Потом проделал то же со второй ногой.

Отец тоже начал оправляться, спустил брюки до голенищ и провентилировал воздух внутри семейных трусов, мелькая своим уже не слишком богатым хозяйством.

— Жарко, — пояснил он с милой непосредственностью. — Не хочешь искупнуться? Хор-рошо!

Он забыл, наверное, что я не очень люблю купаться, потому что почти не умею плавать. Когда в «Кузбассе» у нас бывали тренировки в бассейне и в конце всех делили пополам для эстафеты, мое появление в команде партнеры встречали дружным воем: я гарантировал позорное поражение. Однажды уже в зрелом возрасте я полушутя попенял отцу за это (сам он, выросший на Оби, плавал замечательно — по-пацански вертко, но мощно), и он искренне удивился: да неужели? Обычно сыновей учат плавать именно отцы, а мы как-то упустили такую возможность. В компании же сверстников лучше было демонстративно не уметь, чем учиться, а в команде мастеров, даже при том, что я был настоящим сыном полка, и вовсе не стоило пытаться.

— Не, пойдем назад через тот колок, — наконец решил Эдька. — Там грузди были. Представляешь, нашиньгаем... — улыбнулся он. — У Шурки уши дыбом встанут!

Груздями он называл только настоящие грузди — сырые желтые с бахромой, и ни в коем случае не сухие белые скрипицы, и тем более не хрупкие черные. Их, настоящие грузди, он ценил больше всего, даже больше боровиков и рыжиков. А еще почему-то любил валуи, хотя они-то точно не были редкостью. И солил их с удовольствием, страшно пересаливая, так что после приходилось долго вымачивать. Отец же был рад всему, он даже сыроежку мог взять «для развода» (до дому она целой все равно не доживала), а в один неурожайный год опустился до рядовок, горячо доказывая, какие они нормальные, и мама засолила ему отдельно

несколько банок, и одну из них он пытался всучить мне, но я с презрением отказался.

Да, с годами, без меня и Эдьки (который добычу обычно мерил минимум рюкзаком) отец стал приносить домой полуслучайные мелкие наборы, громко именуя их «ассорти», хотя прежде мы говорили скромней: «на жареху». Но над ним почти не смеялись, потому что он заметно уставал и расстраивался, а один раз и вовсе всех напугал, заблудившись на несколько часов в солнечную погоду. Правда, и после этого он не перестал рваться в лес, и нередко в дни заведомо безнадежные.

— Да, хорошо бы грузочков натилькать, — говорит он, повернувшись ко мне и умоляюще морщась.

Как будто это зависит от меня.

— Слышь, Шурка ноль целых семь десятых ведра мечтает набрать! — щерится Эдька.

Это правда. С недавних пор отец завел привычку фиксировать в тетради события прошедшего дня: как наши биатлонисты профукали этап Кубка мира, котик Пенсик сходил в туалет по-большому и так далее. И вот однажды он написал буквально следующее: «Набрал 0,3 ведра: один больш. белый слегка червив., три средн. обабка и два средн. шампиньона». Помимо объема, тут веселила еще и характеристика белого: на самом деле этот переросток был почти полностью изъеден и дрябл.

— Да, мечтаю! — воодушевляется отец. — И я этого не скрываю. Три ведра! Пять!

— Ага! — говорит Эдька. — А как домой попрешь пять-то ведер?

— А запросто. А на горбушке! — приходит отец уже в полную агитацию.

И вновь затягивает про родину, поившую его. Только почему-то не щедрую, а «щедрую» и почему-то не соком, а «сиком». Так, наверное, интересней. Смешней. И точно счастливей.

Эдька показывает подбородком на отца и подмигивает мне: дескать, совсем с ума сходит. А мне ничего, даже нравится. А тут еще Эдька смеется широко-щербато и сразу молодеет на много лет, и уши у него смешно отходят назад, как у его любимой овчарки на фотографии из моего далекого детства, видимо все-таки хорошего. И вообще весь этот день сегодня замечательный. И наверняка запомнится надолго.

Он и запомнился. Тем более что тогда я в последний раз видел своего дядьку живым.

Сразу скажу о самом плохом: я подловил его, когда он сжульничал в карты. Я увидел это собственными глазами и от неожиданности даже заорал:

— Он вскрыл туза снизу! Сначала подложил туда, а потом вскрыл!

Эдька, помню, сначала смутился, но все равно как-то выкрутился из неловкой ситуации — скорее всего, ухмыльнулся и привел к месту какую-нибудь полупохабную прибаутку. И, как всегда, получилось это у него так обаятельно, что все только рассмеялись и все сошло ему с рук.



А умер он, возможно, отравившись поддельной водкой. Не думаю, что в последние годы жизни он пил особенно много (нищета в деревне была неопиcуемая), но то, что пил регулярно — это наверняка, и наверняка всякую гадость, которую в деревнях тогда даже в магазинах продавали (зато на несколько рублей дешевле «официальной»). И у него на поминках мы пили такую же отраву, пахнущую ацетоном.

Когда я вошел в его домик с низким потолком, прошел через крохотные сенцы и кухню направо в комнату и увидел его в гробу, слезы буквально брызнули у меня из глаз двумя фонтанчиками, как у клоуна в цирке, — я даже не знал, что такое возможно. Ощущение невозможности, нереальности сопровождало меня весь тот день похорон в его неродной деревне, теперь уже очевидно чужой и ему, и тем более мне.

Когда мы везли его на кладбище в открытой тракторной тележке, было очень холодно и я замерз, но не надевал шапку, потому что обязательно хотел проводить его с непокрытой головой, а надевать шапку посреди дороги было и нелепо, и неправильно, и нечестно, ведь он-то лежал одетым не по погоде, в одном дешевом пиджаке и рубашке без галстука, застегнутой до последней пуговицы до багрового горла, и если бы он был живой, то наверняка бы замерз, даже несмотря на то, что с самой геолого-разведочной юности зимой форсил, то есть ходил без шарфа, часто без перчаток и нараспашку. Сейчас же он явно был неживой и мелкие снежинки падали на его лицо и не таяли, а кожа стала такой, будто молоко скисло и затвердело в слабом растворе марганцовки, она стала зернистой, как у мякоти груши, только белесой и с фиолетовыми крапинками. Он явно был неживой, иначе не стал бы пугать меня таким видом, не позволил бы мне испытать стыд и отчаяние из-за того, что я ничем не могу ему помочь. Если бы мой любимый дядька был живой, он ни за что бы такого не допустил...

Обратной дороги из деревни я почти не помню, но обычной в таких случаях хмельной развеселенности, теплого припоминания курьезов точно не было. Дома я прямо одетым завалился на диван, вжавшись лицом и всем телом в спинку и стараясь не шевелиться. А когда проснулся, оказалось, что прошел уже и вечер, и ночь, и большая часть утра. И какое-то время я был уверен, что остался на свете один.

8. День закрытых дверей

1а, б, в и г — «Абэвэгэдэйка», четыре дома в начале улицы Инициативной, построенные в форме буквы «Е», только по-детски неправильно повернутой. Хрущевки уже не первой самодовольной волны, а совсем утилитарные и без какого бы то ни было ложного чувства гордости. У моих родителей четырехкомнатная квартира, но если подсчитать ее общий метраж, получится нереально мало. Особенно изумляет кухня; директор проектного института, разработавшего эту серию, наверняка получил Госпремию, а после спился и выпрыгнул из окна своей сталинской

высотки — не мог больше выносить вида анорексичных домохозяек-липуток, пигмеек или хоббиток, шастающих в его кошмарах пешком под стол.

Кстати, раньше, до середины шестидесятых, когда на нашей улице были только двух- и трехэтажные дома, она носила имя Покрышкина; потом скучнеее время потребовало названий почудней. Есть легенда, что здешние обитатели сами выступили с каким-то почином — кажется, посадили вдоль дороги тополя — за это их так и поощрили...

Возле панельной общаги, подстроенной к «Абэвэгэдэйке» позже, сидят на корточках два существа: одно в тинейджерской толстовке с логотипом Калифорнийского университета, другое в женской искусственной шубе на голое тело. Курят и отдыхают. Или медитируют. Или просто оттягивают удовольствие. Потому что перед ними на заиндевелем асфальте стоит телевизор приличной диагонали — не плоский, но вполне современный. Значит, на пару литров должно хватить.

Когда я прохожу мимо, одно из существ поднимает глаза и в них даже мелькает тень какой-то мысли. И даже кисть висящей на колене верхней конечности начинает классически многозначительное движение. Но тут же обваливается обратно. Скорее всего, земля хотел стрелнуть сигарету, однако как-то понял, что она у него уже есть, поэтому мне можно спокойно следовать дальше.

Я бы и так прошел спокойно: вид синюшных прощелыг, выдающих себя за синий цвет блатного мира, давно меня не обманывает. Если я и боюсь чего-то в Кировском, то только за дочку, когда она ездит к родне одна, особенно по темноте. Она девочка разумная, но выросла в другой среде, в совсем другой реальности, она слишком светлая, слишком тонкая. Мне кажется, сам факт существования таких уродств может ее ранить. Или просто мне самому больно знать, что где-то в опасной близости от нее смердит и копошится, разлагается и размножается мир гораздо более жизнестойкий.

Дома никого не оказалось.

Вообще-то здесь нет ничего странного. Мама могла уехать к своей сестре, моя сестра — по делам, отец мог надолго отправиться гулять. Одновременно такое случается редко, а сегодня, видно, совпало. Странно, что я наивно ожидал от этого дня только бесконечной гладкости. Или это особый знак, сигнальный маячок — побудь один, останься с собой наедине?

Тоже вариант. Поэтому я не стал звонить сестре. А мать с отцом вообще не носят телефонов, потому что это бессмысленно. Как-то Ленка заставила их взять на мичуринский хотя бы один на двоих — так они упаковали его в футляр из-под очков, завернули в тряпочку и спрятали в сумке, которую оставили в закрытом домике. Чтобы, не дай бог, ничего не случилось с дорогостоящей техникой. Так что ни одного звонка из десятка проверочных они и не могли услышать. То ли это такая дремучесть, то ли, напротив, мудрость...



Несколько минут я решил все же подождать. Курил на скамейке у подъезда и смотрел на березовую рощу, что начинается сразу за нашим домом, точнее, за ложком с тоненькой речкой, метрах в пятидесяти.

Западные девелоперы и риелторы передрались бы за такое шикарное место у лона природы. И напрасно. Потому что наша роща, похоже, уже безнадежно загублена: деревья что-то сушит снаружи и корежит изнутри, вокруг все заросло крапивой и репейником, а речка просто покончила с собой, отказавшись течь в кучах мусора и наглотавшись ядовитых сбросов цвета жирной ржавчины.

А ведь когда-то мы ходили сюда на светлые лужайки играть в футбол и собирать шампиньоны. И роща представлялась нам прямо-таки волшебной безграничной, во всяком случае, недоступно протяженной в глубину до какого-то таинственного конного двора, за которым скрывались и вовсе запредельные запретные заводы. Да, там вроде бы работали наши родители, однако и это могло оказаться просто легендой: упоминали они о своих НИЛах, ЦЗЛах* и цехах с большими номерами слишком уж туманно.

Только позже мне вдруг открылось, что эта заповедная роща — чудом сохранившаяся санитарно-буферная зона, испытывавшая очень жесткое давление со стороны кировской цивилизации, точнее даже, удущающий двойной захват: военные заводы стравливали на нее едкий газ, а мирные жители дружно рыли погреба, где хранили картошку, морковь, свеклу и всякие соленья-варенья. Даже наша непрактичная семья имела такой погреб (правда, всего пять или шесть зим: после нескольких тотальных обчисток и наивных смен замков его просто бросили).

А с другой стороны, где еще бедным людям, знавшим голод отнюдь не по новомодным диетам, было держать запасы провизии? О коллективных хранилищах с индивидуальными ячейками — вот ведь тоже эпохальное изобретение! — тогда и слыхом не слыхивали. А в крохотных квартирках все пространство под шкафами и кроватями и так было заставлено разными банками с закрутками. И балконы с лоджиями тогда никто не стеклил: не было такого поветрия, не было материалов и денег. Да и не разрешалось это, уж на центральных-то улицах, по которым проходили демонстрации, — точно. Там с балконов и лыжи могли попросить убрать, и удочки с лопатами-тыпками. И повесить на решетки кумачовые лоскуты с белыми словами вроде: «Мир», «Май» или «БАМ».

С остановкой старых заводов, чья заточенность на военную продукцию в беззаяголовые девяностые представлялась уже как бы неприличной, жизнь в Кировском почти замерла. Хорошо, что мои родители тогда уже были на пенсии: им не пришлось ощутить себя внутри киножурнала «В странах капитализма» (это когда перед началом французской комедии под тревожную музыку зрителю с сарказмом рассказывали о «выброшенных на улице за ворота предприятий»). И плохо, что тут уж яснее ясно-

* НИЛ — научно-исследовательская лаборатория; ЦЗЛ — центральная заводская лаборатория.

го было продемонстрировано, на что оказались потрачены лучшие годы их жизни. Тем более когда разные своевременные управляющие начали шустро распорядиться заводским добром, вдруг переставшим быть уникальным и стратегически важным. Отец особенно сокрушался, когда все оборудование их испытательного полигона было продано китайцам всего за сто тысяч долларов. Даже не самый навороченный джип мог стоить дороже!

Кстати, о дорогах для внедорожников, которые не мы выбираем. Уже под конец этого пиршества эффективного менеджмента и агонии завода один из его новых боссов погиб в автокатастрофе, возвращаясь с подругой с горнолыжного курорта. Наверное, я плохой христианин, потому что особой горести от этого не испытал. Злорадства, впрочем, тоже. Когда-то я знал эту женщину: она была яркой, интересной, жадной до жизни. Но тут все представилось закономерным. Если в мире и нет справедливости, то все же есть символические развязки.

Да, конечно, мысля масштабно и отстраненно, следует признать: Кировский, это хмурое дитя суровой необходимости, изначально был обречен. Да, таким рабочим слободкам бронелобой советской оборонки заранее была уготована трудная, зависимая, второстепенная и второсортная жизнь. Но хоть чем-то оправданная, хоть как-то осмысленная и обустроенная! А сейчас район просто никому не нужен. И отдельные уголки его, словно застывшие в криогене, напоминают декорации к низкобюджетному фильму в жанре коммунистической антиутопии. Причем к фильму чересчур реалистичному, нудноватому и вялому. Без простора для фантазии и неожиданных сюжетных ходов. Без остроумных авторских допусков и даже насильственного хеппи-энда. В общем, никакой супергерой не прилетит сюда спасать мир, тем более мир такой убогий...

Раз пошла такая ностальгия, я отправился к Мине не кратчайшим путем по улице 40 лет Октября, а крючком через другую березовую рощу, что в самом центре района. (Есть еще и третья, то есть по счету первая, протянувшаяся от въезда в Кировский до ДК.) Именно так я года три ходил в школу, пока не попал в футбольный спецкласс и не начал ездить учиться в город.

Оказывается, дорога эта совсем не длинная и не противная, даже напротив: полутораметровой ширины тропинка полностью заасфальтирована, а сейчас и снежком не засыпана, и мусора вдоль не заметно, и вокруг так прозрачно-светло от берез. Почему же я не любил ее в детстве?

Понятно, подневольность, особенно во вторую смену: в середине дня плестись на занятия, когда другие уже отстрелялись, а в школе постоянно видеть в окне кабинета, как неумолимо наступает вечер, от которого потом останется всего ничего.

А еще на обратном пути в сумерках или под чахлым фонарем здесь реально подстерегала опасность, причем не какая-нибудь возвышенно-романтическая, как у пионеров-героев или пионеров-ковбоев, а унижительная и в прямом смысле слова мелочная.



Чуть ли не в самое первое возвращение по новому маршруту где-то в середине рожи нас с Витькой Опариным *прихватили*. Мелкий вертлявый гаденыш выскочил сбоку и двумя вытянутыми руками уткнулся нам в животы:

— Стоять-стоять-стоять! Денег давай шмелем!

Старший подельник, намного старше нас, прикрывал его в нескольких шагах позади. Глаза у него блестели и рот был приоткрыт от гнусного удовольствия, так что заговаривать ему зубы было бесполезно. В руке он держал густо обмотанную изолентой поджигу.

Я мгновенно прикинул шансы. Можно было рвануть, петляя, назад к школе, и я наверняка бы ушел от обоих, но вот в Витьке я был не уверен. К тому же он тогда первым оказывался на линии огня. Нет, я решил сдаться.

Пока шибздик, сопя, ощупывал наши брюки, главный шишкарь тоже подошел вплотную, оценил нас взглядом неожиданно цепким и с оскорбительным спокойствием сунул поджигу за загнутое голенище резинового сапога.

— Ну-ка попрыгали! — скомандовал он и показал рукой, как именно это надо сделать.

А скорее просто хотел продемонстрировать наколку на кулаке: половинка солнца и надпись «Вот моя юность». У Витьки зазвякало в нагрудном кармане форменной куртки, и он сам за два захода выскреб в грязную ладонь пахана целую щепотку и желтых, и белых. У меня реквизировали три десятика. Еще один юбилейный рубль, подаренный бабусей, лежал в потайном отделении моего портфеля, но до тотального обыска, к счастью, дело не дошло. Нас отпустили с миром. Точнее, каждого — с пинком. Особенно обидно, что сделал это дохляк, который был гораздо мельче и меня, и даже Витьки. Любопытно, что впоследствии я ни разу его не встречал.

А сейчас иду и думаю: почему детские воспоминания чаще всего связаны со страхом? Самое сильное чувство? Или в детстве мы всегда чего-то боимся?

Нет, дело не столько в страхе, сколько в пережитой опасности. Пусть даже не тобой пережитой, главное, что близкой и реальной. Преодоленной — это воспоминание лестное, тщательно сохраняемое. А если вышел конфуз — тоже неплохо, могло ведь быть и хуже, а самоирония хороша для взросления и в компании пользуется спросом.

Итак, места боевой славы или пережитой опасности. Например, те же погреба в Кировском. Каждую осень перед засыпкой картошки их нужно было протапливать, разводя внутри костер. И потом тщательно проветривать. Занимались этим не только трезвые взрослые, но и опытные дети пьяных. И при этом все равно кто-нибудь да угорал — как однажды паренек из соседнего дома.

А всем вместе полагались проверки на слабо: ходить в аптеку смотреть презервативы или к корпусу мединститута — на уроки анатомии.

В первом случае я отчаянно стеснялся и ничего толком разглядеть не смог, а во втором по-честному заглянул в окно и действительно увидел студентов в белых халатах, обступивших голого покойника. Меня поразило, какое темное тело было у мужика, да к тому же сплошь покрытое наколками. Только позже я понял, что для занятий использовали, наверное, каких-то совсем безродных, бесхозных эзков.

А однажды мы так заигрались в роще у ДК, что не заметили, как к нам слишком близко подскочил громадный мраморный дог. Ему надоел его прокушенный резиновый мячик, и он захотел поиграть новым нашим. Обычно в таких случаях кто-то быстро прятал мяч под рубашку, а остальные, заслонив его, должны были отвлекать пса отпиныванием его личной игрушки и громкими криками — ориентиром для отставшего хозяина. В этот же раз мы зачем-то принялись дразнить зверюгу, встав к тому же глупо узким кружком. Дог сначала просто подпрыгивал, пытаясь поймать перекидываемый мяч, а раззадорившись, начал набрасываться на голящих. Двоих этот монстр уже легко уронил в траву, а сил у него с запасом хватило бы на всех. И тут опасная «посылка» попала ко мне. А для меня тогда мяч был предметом священным, мне даже представить было невыносимо, что псина своей огромной слюнявой пастью прокусит его. И я метнулся к забору, ограждающему рощу от трамвайных путей.

Бежать было метров сорок, и забор был гораздо выше человеческого роста, но дистанцию и препятствие я преодолел фантастически легко. Меня так и несло по воздуху, и никакому расsvирепому зверю было меня не поймать. Потом ребята рассказали, что дог рванул было за мной, однако до конца преследовать не стал — услышал рев хозяина, испугавшегося, пожалуй, больше моего. А мне удивительно повезло, что я не напоролся на острие заборной решетки, не разбился о рельсы и не угодил под трамвай.

Или это не везение вовсе? Может, это как раз следствие такой супер-четкой работы организма, когда в форс-мажорной ситуации он включает дополнительные ресурсы и действует особенно эффективно? Ведь известны же случаи, когда мать поднимала машину, зажавшую ногу ребенка, или отец удерживал крышу вагона поезда, потерпевшего крушение!

Да что там чужие примеры, нам и за своими ходить недалеко — вот прямо отсюда свернуть направо и пройти метров сто. Я и сворачиваю и мимо детской поликлиники выхожу к четырехэтажному дому, в котором, вижу, так и остался районный универмаг, причем сейчас, наверное, это единственный в стране магазин, работающий с обеденным перерывом.

Раньше этот дом был знаменит тем, что здесь жила сестра космонавта Леонова. Сам он, родившийся в деревеньке на севере Кузбасса, в Кировском провел только школьные годы, а потом отправился покорять метрополию и прочие просторы Вселенной. Сестра же его, совсем не звездная женщина, иногда выступала в школах с рассказами о Лешинем детстве. Почему-то она упирала не на физическую подготовку или, скажем, верность высокой мечте, а на художественные способности брата.



Тогда это было не очень понятно, а сейчас я уверен, что Раиса Архиповна все акценты расставила правильно. Именно тяга к прекрасному и вывела парнишку из глубинки на самую высокую историческую орбиту, первым двинула его в открытый космос и, главное, втиснула обратно в корабль. Когда нештатно раздулся скафандр и лезть пришлось не ногами вперед, а головой!

Так и вижу: утонченный от недоедания ребенок, обостренно чувствующий сочность красок мира, конечно, не мог не замечать, какие восхитительные полукультурки зреют в огороде у соседа дядь Пети или дядь Вовы. И вот когда час икс настал, ранетки были распаханы по карманам, а взбешенный хозяин загнал-таки ценителя прекрасного в угол, Лешка угрем ввинтился в едва заметный лаз между стайкой и угляркой и через секунду был уже вне пределов досягаемости. Только такие отчаянные живчики и могли, наверное, пройти отбор в первый отряд космонавтов.

Главная улица Кировского — имени 40-летия Октября — на самом деле настоящий бульвар, но не к лицу ведь нам, аскетичным и суровым, намеки на буржуинскую жовиальность. Несколько лет назад десант молодых художников из разных стран попытался хотя бы короткому отрезку этой улицы придать черты большей раскованности: понаставили всяких инсталляций, разрисовали фрагменты фасадов. Ну и что? Европейской бытовой праздничности так и не появилось, напротив, только натужливая творческая ущербность: не в коня «Вискас». А вот когда аллею между двумя дорогами просто аккуратно побрили, приодели в свежий асфальт с бордюрами и добавили немудреных аксессуаров в виде новых скамеек и детских городков, она действительно стала уютной. На наш, разумеется, скромный вкус.

Поэтому и отец стал чаще прогуливаться здесь — от дома до ДК. Печаль, однако, в том, что теперь Мина стала чаще видеть его возле своего дома. И потом докладывать мне с повышенной растроганностью и искренним сочувствием: «Он такой маленький и грустный!» Все так и есть, но меня почему-то это задевает, будто это за мной подсмотрели в туалете или в ванной. Тем более что за вечер она может произнести эту фразу раз пять.

Я достаю телефон и набираю Минин номер — вдруг и она неожиданно упорхнула куда-то? Но нет, трубку берут.

Но нет — лучше бы не брали.

— Да-а-а-у... — произносит Мина.

Как ей самой кажется — очень жизнерадостно и даже аристократично.

— О-о, матушка, да ты, чувствую, уже с утра готова...

— Не-е-ет... — говорит Мина. — То есть к чему готова? К празднику — да!

Все ясно. Вчера получила гонорар за какой-нибудь сценарий. И даже если я буду догоняться со скоростью сто промилле в час, ее состо-



яния лунатичной эйфории мне уже не достичь. Ахилл никогда не перепьет черепаху. Надо будет, кстати, запомнить это: Мина любит собирать про себя и нас что-нибудь такое гривуазное.

— Цъженюшь, — взволнованно говорит Мина (когда она на когерге, начинает заметно шепелявить). — Мошьжет, вице-таки жьжай-дешь?

— Не, — говорю я. — Правда надо ехать. Увидимся.

— Ну, цъжа-а-алко...

Выхожу на площадь у ДК. Без обычной детской открытости на встречу этому открытому пространству, слегка настороженно.

Я обижен на это место. Мне-то казалось, что многолетние походы в библиотеку и в кино в ДК, матросский танец яблочко и прием в пионеры на его сцене, дежурство у памятника Ленину и сотни часов игр в окружающем сиреневом сквере дают мне особые права заслуженного старожилы и народного любимчика. Но не тут-то было.

Народ здесь уже другой. Перед остановкой стеклянный павильон местного фастфуда. И табунок самозванных такси возле него, сплошь иномарки. Бомбилы с кофейными стаканчиками в руках тусуются рядом — молодые, уверенные в себе, и среди них ни одного знакомого лица. Точнее, нет лиц, какие я привык здесь видеть — может быть, и грубоватые, зато гораздо простодушнее.

Как-то по зиме я засиделся у Мины, и, когда выбрался на остановку, не ходили уже ни автобусы, ни трамваи. А денег у меня было меньше, чем заламывали таксисты. И вот я переходил от одной машины к другой и с горечью вопрошал:

— Вы кировские или кто?!

А они только усмехались в ответ.

И я, плюнув на все, пошел домой пешком. Как нарочно, еще и шапку у Мины оставил, так что на голове у меня был один капюшон. Мороз придавил под тридцать, и, чтобы не замерзнуть, идти пришлось очень быстро.

Я успел пройти две большие остановки, прежде чем меня подобрал пожилой дядька на твердой «пятерке». Ему вполне хватило и половины суммы, что у меня была. Хотя я совал ему больше. Но он отказался.

Еду из Кировского на автобусе, в котором автоинформаторша сбилась со счета, молча проскочив одну остановку, и теперь ее самоуверенность звучит слегка туповато: мы уже перебрались на левый берег, а она объявляет «Правую гавань», мы уже повернули на Советский проспект, а она «тормозит» на «Улице Островского».

Это довольно странно — очутиться в таком времени-пространстве, сдвинутом по фазе. И забавно, и как-то неприятно, будто тебя сознательно водят за нос. И жалко тех рассеянных одиссеев, кто поверит бодрой магнитофонной сирене и выйдет совсем не там, где хотел.

9. Охота к перемене мест слагаемых

Hotel California*, конечно.

Это как пароль, кодовое слово. Точнее, кодовые звуки, знаковый ритм, узнанная морзянка братьев по разуму из бездн космоса. Ведь слов мы не различаем (и не хотим угадывать неправильно), кроме совсем уж несомненных типа nineteen sixty nine, ничего, впрочем, не объясняющих. Но и так все ясно, не правда ли? В темноте лучистая вывеска издали видна с шоссе, и свернешь ты к ней или нет — так вопрос даже не стоит.

Мечта каждого путника пульсирует в мелодии, словно перекачиваемой твоим собственным сердцем, она прибывает волнами, длится толчками, то выплескиваясь дальше на необитаемый берег, то нерешительно откатываясь назад. И поначалу трудно понять, почему в слабом, но смелом голосе, обещающем какую-то особую радость открытий, так отчетливо проступает печаль.

А потом наступает развязка, причем, если для мягкотелых хиппарей из общества потребления следующая за нагнетанием сказочности горькая кода — but you can never leave! — означает освобождение от наваждения, радостный вскрик Орфея, выбравшегося из ада с призраками сгнивших надежд, мы, непросвещенные, но душевные, воспринимаем это как раз особенно романтично — как всегда, по-нашенски ударно, с рванутой на груди рубахой: пойдем до конца, то есть упремся рогом в обороне, забаррикадуемся в доте с веселой обреченностью, как Атос в гарманже у трактирщика, в общем, сгинем, но не сдадимся, будем верны идеалам юности до последнего патрона!

«Отель “Калифорния”» в ночном поезде — это именно то, что нужно. Дверь купе надежно заперта изнутри, и никого лишнего рядом нет, и темный мир за окном плавно меняется явно в лучшую сторону.

— Ну что ты, Федя, жмешься у почек? Наливай! — командует Ванька.

Он сейчас влюблен, разгусарился на места в СВ, коньяк и дорогую закуску, он хочет весь мир обнять и сделать счастливей, и в такие минуты находиться рядом с ним — сплошной рок-н-ролл и диснейленд.

— А почему это я? — говорю я и начинаю разливать — бережно и значительно.

— Потому что, салабон, дядя Ваня отвезет тебя в город-сад. И там, дурашка...

— А, это там, — включаюсь я, — где рабочий Хренов в свинцово-ночие чего-то там жевал?

— Да! В свинц... Это свинство — не знать классику! Товарищ Хренов у нас много чего нахреначил! У нас даже планетарий есть! Вы в своей Щегловке такого сроду не видели!

* «Отель “Калифорния”» — знаменитая песня группы Eagles.

— Планетарий! Да у вас даже театра оперетты нет, не говоря уж о филармонии! Ты мне еще про вашу евгенику расскажи!

— Еще как расскажу. У нас прекрасная евгеника! Знаешь артиста Евгения Машкова? Так это наш парень, записовский.

— Есть артист Евгений Миронов, тундра, а ваш Машков — Владимир. Зато Евгений Гришковец — наш!

— Ну ты сравнил жопу с пальцем!

Просто поразительно, каким малоинформативным и даже глупым бывает общение близких людей. Так ведь не сведения же прикладные передаем мы друг другу, а нечто гораздо более важное! Во-первых, четкие сигналы для отличия своего от чужих. А во-вторых, энергетическую подпитку — сложную смесь подсознательных флюидов и естественных шумов вроде ора спортивных болельщиков, мурчания сытого кота или гомона вольных птиц, встречающих рассвет.

В общем, салабон, это как бы признание в любви.

Мы вышли на перрон в Новокузнецке в половине восьмого утра — самое нелепое время для приезда в город за приключениями.

Люди на площади у вокзала двигались с очевидной осмысленностью, но как-то слишком собранно, скученно и скучно. Так разные виды обитателей саванны перемещаются вблизи водопоя — в своем праве и все же настороже, ведь рядом в кустах вполне может прятаться какой-нибудь опасный козел. В данном случае — самодовольный мент, или бесстыжий карманник, или коварная цыганка, или просто грубый мудака.

В общем, все вокруг были сосредоточены и вроде бы заняты делом, а тут мы такие томные: здрасте, девочки. Даже неудобно.

— Мы чужие на этом празднике будней, — сформулировал я.

— А? — не понял Ванька.

— Ладно, спи.

Ясно, что нельзя судить о городе лишь по привокзальной площади одним будничным утром. Точнее, о любом другом городе судить не стоит, а вот о Новокузнецке — вполне. Потому что здесь город представлен так, как был задуман, и сразу видно, что из этого вышло.

Даже маниловская мантра от Маяковского полукругом на крышах первого ряда домов действует по-прежнему пусть лобовато, зато доходчиво: никто же не обещал райского сада буквально сию секунду, однако почему бы ему не зацвести чуть позже? Надо только лучше стараться.

Такая прямота лично меня подкупает. Тем более выраженная так последовательно — в трех лучах фокусно распаивающихся веером проспектов, элитно бойких и комсомольски солидных, узковатых, но нагуливающих полноту, вот именно что перспективных, то есть устремленных во все нужные стороны ясным восходом новой жизни.

Это такой зримый, четкий, жесткий, но оттого и надежный каркас, на котором будущее могло строиться в гимнастическую пирамиду смело и без жеманства; это утвержденное в металле и камне действительно чест-



ное слово, данное бывшим хулиганом — коренастым, чубастым и в широковатом костюме — хрупкой барышне с гладким каре и несгибаемой волей: я изменюсь, я стану лучше!

И в это сразу верилось.

И так оно и вышло.

И увидели люди, что это хорошо.

И долго жили в счастливом неведении, с заслуженной гордостью за построенные гигантские заводы, за первый за Уралом звуковой кинотеатр, за какую-то невообразимую долю броневой стали, выплавленной для фронта в годы войны.

А потом и за собственную боевиту хоккейную команду. А потом и за дом-музей Достоевского, жившего и венчавшегося давно и спешно, но почему-то же именно здесь!

И, честное слово, мне было искренне жаль, когда у всего этого героически выстраиваемого величия одним пинком вышибли из-под ног табуретку. Или сам проект, сама идея такого города — счастливого для правильных трудяг, для самых правоверных пролетариев — изначально были миражем, мифом, блефом?

Пролетарии над гнездом кукушки... Вдруг пригодится сегодня вечером подъездывать какого-нибудь заносчивого аборигена?

Мы взяли такси и поехали на квартиру Ванькиных родителей. Ванька сел впереди, сразу надел наушники и начал что-то сосредоточенно слушать, а я просто глазел по сторонам.

Вот этот район называется Соцгород, в тридцатых годах его проектировал немецкий архитектор с фамилией Май. Сейчас бы из этого факта раздули целую историю.

Кстати, о пиаре. С недавних пор в Кузню так и зачастили специалисты по брендингу и ребрендингу (странно, что это могут быть одни и те же люди). И все они возбуждают местных младопатриотов, еще не сваливших из города, историями про Великий Устюг и Мышкин — как эти захолустья сказочно зажили, обрядившись в новые маскарадные костюмы.

Для справки: в городе Мышкине проживает тысяч шесть человек, а в Новокузнецке — бывшем Сталинске — шестьсот тысяч. Но объединить их под одним брендом будет даже не в сто, а в тысячу раз сложнее. И уж во всяком случае байку про блестящие перспективы эксплуатации какой-нибудь клоунской роли им впаривать точно не стоит: могут и обидеться. Их, сплавных потомков кузнецкостроителей из общей домны оголтелых добровольцев, сосланных сорвиголов и рекрутированной гольтьбы, скорее увлек бы образ этакого разгонщика медвежьих банд — Железного Дровосека с неугасимым двигателем внутреннего горения...

Мы договорились так: отсыпаемся несколько часов, потом Ванька едет в свой клуб смотреть звук, свет и сумму прописью, а я собираю на стол. Вечером встречаемся на концерте, оттуда возвращаемся и праздну-

ем грандиозный успех. Но суровая действительность сразу внесла коррективы: праздновать пришлось начать гораздо раньше.

Дома оказался старший брат Ваньки — Виктор. И неважно, поссорился он с женой или просто договорился с начальством об отгуле, — главное, что он сидел в трусах на кухне и был не настолько пьян, чтобы можно было надеяться на его скорый отход ко сну.

В детстве я мечтал о старшем брате; позже, наблюдая за приятелями, понял, что это не всегда плюс. Ваньке еще повезло: у них с Виктором большая разница в возрасте. Другое дело, что Виктор до сих пор любит его повоспитывать, а Ванька реагирует на это чересчур резко, включает в ответ снисходительность, и для нормального мужика вроде Виктора это обидней всего.

Сейчас дело осложняется тем, что мне придется прикрывать Ваньку, в одиночку бросаясь на амбразуру. Ну и ладно, не страшно. Надо быть ближе к народу.

Нет, правда: нам с Виктором, кажется, обоим нравится, как мы общаемся — иногда недовольные друг другом, но всегда с неподдельным исследовательским интересом. Я, понятно, любопытен ему, как некое исключение из правил: обычно к представителям младшего поколения, да еще и богемного типа, он относится, мягко говоря, с презрением. Ко всем этим патлатым, мутным, самовлюбленным непризнанным гениям в штанах в обтяжку — а ножки-то тоненькие, кривенькие! И я по идее должен бы быть таким же: как филолог по образованию — слабаком и дармоедом, а как газетчик по профессии — двуличным приспособленцем. Однако я при этом нехилый футболист, почти так же хорошо знаю Высоцкого и пару раз даже смог Виктора перепить. В общем, меня, как маринованный опенок, трудно поймать вилкой на тарелке, и это возбуждает в Ванькином брате особый азарт — сродни спортивному.

Правда, в этот раз у нашей беседы чисто технические сложности с трансляцией и переводом. Да еще Ванька подает из комнаты ехидные реплики — не может уснуть, потому что говорим мы уже достаточно громко.

Как всегда, началось с приукрашенных частностей, а дошло до огульных обобщений. С поворотом, конечно, на особый путь России.

Виктор рассказал (несколько размыто, но, в принципе, понятно), как в Германии его бывшему напарнику, переехавшему туда на ПМЖ, запретили выращивать перед домом помидоры. Нихт! Найн! Там должен быть только газон и цветы.

— Нихренайн! — по-фашистски взвизгивает Ванька.

Я рассказал, как в Швейцарии могут привлечь за то, что спустишь воду в унитазе после одиннадцати вечера — если соседи услышат и заложат. А они заложат.

— Да там вообще после одиннадцати срать нельзя! — подтверждает Ванька. — Дикий народ. Горцы!

Виктор поведал (очень размыто, но мы смогли экстраполировать), что в Германии не считается зазорным пукнуть при всех. Потому что в



немецком обществе принято заботиться о своем здоровье, а держать газы в себе — это не есть гут.

Тут Ванька не выдержал, вышел из спальни и рассказал анекдот про немецкий туалет. Две обычные палки. На одну опираешься, а второй — волков отгоняешь.

А Виктор вдруг заявил (на удивление твердо), что это мы споили северные народы, потому что в их организме нет фермента, расщепляющего алкоголь, и они быстро спиваются. А Ванька ни хрена не разбирается в жизни этих народов, он и на Севере-то сроду не был и даже строганину не ел. А они могут белку со ста метров в глаз положить.

— Ага, с километра, — сказал Ванька.

— Ты путаешь ненцев с хантами, — заметил я. — Там тундра — какие белки?

— А вы знаете, что самка клеща чувствует теплокровных животных за четыре километра и ползет к ним? — спросил Ванька.

— Представляю, — сказал я. — Ломится такая через бурелом — брр!

— Белку за четыре километра?! — вскинулся Виктор. — Ну ты даешь!

— Пойду-ка я на унитаз, — доложил Ванька. — Еще нет одиннадцати вечера?

— А мы тебя все равно заложим, — пошутил я.

— А вот этого не надо, — сказал Виктор, поэтапно становясь суровым: сначала брови, затем глаза, рот и, наконец, правая рука, больно сжавшая мою на столе. — В нашей семье такого нет. Ты понял?

— У нас даже не пугают, — сказал Ванька. — Только иногда, в кругу друзей.

«Да в чем мы особенные-то?!» — говорю я себе в зеркале, на пять минут спрятавшись в ванной. Мне все-таки хватило ума не добавлять градуса дискуссии про нас и остальной мир. «Только в том, что не пошевелимся, пока жареный петух не клюнет? Только тогда и перекрестимся. И то еще не разобрались — двумя или тремя перстами. Но точно с фигой в кармане. Мы даже для всех пальцев названия придумать не удосужились, и не то чтобы тям не хватило (с этим-то, если прижмет, все в порядке), а просто похер! Кстати, интересно, а то, что у нас на безымянном женатые носят кольцо, — это что-то значит? И то, что на правой руке? На Западе-то — на другой. И крестятся они наоборот».

За дверью санузла стоит Виктор с каменным лицом, уже смирившийся с тем, что пора отрубаться. Смотрит мимо меня обиженно. Не то за швейцарцев с искусственным запором, не то за слишком естественных немцев. А может, и за ненцев, искусанных волками и клещами.

«Почему они все нас не любят? — додумываю я уже на кухне, с трудом угнездившись на узком угловом диванчике. — Потому что боятся. Не понимают и от этого еще больше боятся. И завидуют нашей духовности...»

Я, конечно, слегка шучу, и Виктор наверняка усмотрел бы здесь издевку. И зря.

«Загадка русской души проста: это именно широта, — понимаю я. — В нас больше намешано, часто прямо противоположного, и вся эта гремучая окрошка как-то уживается внутри. Не то чтобы очень органично, но, во всяком случае, сразу не взрывает башку...»

Концерт получился не самым ярким, особенно поначалу. Местную публику явно озадачил этот гулкий, жаркий, но свежeproветренный мир, созданный одним голосом, одной гитарой и одними стихами Лорки. К тому же сам Ванька слишком заигрался в доверительный концерт — валял Святослава Бэлзу, скромно блистая знанием биографии поэта и зачем-то намекая на его голубоватость. Я еще застал время, когда к нам на базу приезжали умники из обкома КПСС, читали футболистам лекции о международном положении, — так они и то были гораздо естественней.

— Короче, Склихософский! — выкрикнул я, выручая друга, но сидевшая сбоку мамзель в гипюре зыркнула на меня с такой альмерийской свирепостью, что я прикусил язык (хотя и с удовольствием: по крайней мере одна поклонница у Ваньки уже появилась).

Только под конец он расслабился, поймал нужный тон и выдал-таки то, что от него и требовалось: щемящую задушевность и нежность, даже хрупкость, даже беззащитность — и при этом свободную и лихую мощь. Зал, понятно, был повержен, восторжен и преисполнен благодарности — особенно горячей, учитывая долю виноватости: прости, земля, мы и не знали, что можно так.

...До квартиры добрались уже за полночь, и всем было ясно, что никакого веселого продолжения не получится.

Ванька элементарно устал и был вял и растроган. Его девушка Нина слегка дулась из-за того, что не удалось сполна насладиться триумфом, тем более что в центре внимания оказалась не она. А ее большая подруга Рита, приглашенная специально для меня, мрачновато чувствовала, что не в моем вкусе. В общем, пообщавшись с полчаса как-то деловито, все разошлись спать. Я опять остался на кухне, и, к счастью, один.

Но сразу не заснул и начал думать о том, каково живет людям не очень красивым, совсем необаятельным, без особых и ярко выраженных талантов. Наверняка они чувствуют себя обиженными, обделенными, наверняка им часто бывает тоскливо и тяжело...

В это время девушка в соседней комнате задыхалась громко и недвусмысленно, и все мои благородные и тонкие умопостроения полетели к черту.

(Окончание следует.)

Ганна ШЕВЧЕНКО

**«ХОДИТ КРУГОМ
ЗВЕЗДА НА ЦЕПИ...»**

* * *

Стоят коралловые клены,
проспекта линия пряма,
и город кажется влюбленным
в свои высокие дома.

Народу осенью несладко,
и здесь обходится не без
полубезумия осадков,
косноязычия небес.

Листва стекает понемногу,
но не берет меня хандра,
мне хорошо — я верю в Бога,
в победу света и добра.

Кустарник птицами забанен,
он сверху кажется литым,
как будто лично мэр Собянин
листву покрасил золотым.

* * *

На утренней заре из дома выйдешь —
летят огни — привет аэрофлоту!
Я вижу самолет, а ты не видишь,
ты взял такси и едешь на работу.



Здесь быть могло три тысячи дерев, но
мешает дом с оранжевой стеною —
я наблюдаю это ежедневно,
когда иду дорогой окружною.

Я вижу столб, натянутый на провод,
и сильный тополь, тронутый стареньем,
я вижу корабли, и это повод
из ерунды собрать стихотворенье.

Чуть дальше стоэтажные массивы
увенчаны дешевой чебуречной;
я так тебя люблю, что даже ивы
склоняются от тяжести сердечной.

* * *

Тимуру, дворнику, известно:
ничто не вечно под луной —
ночами звезды отцветают
и пух летит над проходной;
ложатся под ноги частицы
светил, просыпанных с высот,
Тимур их бережно сгребает
и к бакам мусорным несет,
чтоб утром офисные люди
у входа выстроились в ряд,
за электронной сигаретой
обговорили все подряд —
что неприветливый охранник
за турникетами сидит,
что день расписан по минутам
и тачка куплена в кредит,
что собран мир неторопливо,
но есть ошибки в монтаже,
что он стареет и колеса
скрипят на каждом вираже.

* * *

За огородом чисто поле
луна покрыла, как зола,
звезда, знакомая до боли,
над хатой дедовой взошла.



А утром маленькое солнце
 прогреет шторы на окне
 и с ветром в комнату ворвется
 дух запеканки на пшене.

Я босиком взлетаю в воздух,
 бегу нечесаной во двор,
 и стайка соек чернохвостых
 взмывает тут же на забор.

А я за ними, и покуда
 не вспоминают обо мне,
 смотрю на дальнюю запруду,
 на бабу Ньюру на стерне,

на то, как дед несет посуду,
 как по двору играет тень,
 и свет, как маленькое чудо,
 переживаю каждый день.

* * *

Под слоем тяжести рябина
 согнулась где-нибудь в Твери,
 снег — это прима-балерина,
 что злую партию творит.

Блестит природная пучина
 на шляпках зимних желудей,
 снег — это первая причина
 возникновения людей.

Готовит лыжи обыватель —
 идут циклоны в Барнаул.
 О, как же вовремя Создатель
 снега на глобус натянул!

Линейкой Бога не измеришь,
 он обозначен тут и там —
 то станет тучей в атмосфере,
 то скачет птицей по кустам.

* * *

Ходит кругом звезда на цепи,
отражаясь в низовьях фонтана;
выйдешь вечером хлеба купить —
и стоишь под огромным каштаном.

Ощущаешь, как мимо течет
по ветвям чудотворное что-то,
как внутри замедляется ход:
зимовать — непростая работа.

И любишься, стоя во тьме,
как рябит городская прохлада,
как готовится лавка к зиме,
покрываясь жирком листопада.

* * *

Как много делалось со мной —
когда-то, помнится некстати,
я умирала под луной
на незаправленной кровати,

я воскресала, а потом
я снова уходила в место,
где волк с лазоревым котом
играли музыку оркестра;

моя недолгая душа
весной сворачивалась в завязь,
я умирала не спеша,
на цвет жасмина распадаясь;

я воскресала — белый дом
являл мне черные рояли,
где розу, ставшую гнездом,
дожди и ветры разоряли,

я горло песнями драла,
коту и волку подпевая,
и вот однажды умерла,
не понимая, что живая.



* * *

Но бывают моменты родства!
Клены вымучил ветер скрипучий —
у парней за плечами Москва,
а над кепками рыхлые тучи

так несутся, что, кажется, Ной
скоро явится у поворота —
нынче дождь, а у них выходной,
и не нужно идти на работу.

На скамейке устроились в ряд —
вспоминают далекую стаю,
выпивают, потом говорят,
говорят и опять выпивают,

выпивают и снова сидят,
деловито, недвижно, фактурно,
в металлических нитях дождя,
бахромой ниспадающих к урнам.



Юрий ВИСЬКИН

АВТИАН

Р а с с к а з

1.

В зону мы с ним попали одновременно, он — по статьям за грабеж и кражу, а я — по распределению после окончания политехнического института.

Но сначала необходимо сказать вот о чем. В детстве я прочитал историю об одном древнерусском святом, которая никогда больше не встречалась мне, да и в тот раз подвернулась случайно — когда мы с мальчишками играли в первобытных людей в тальниковых зарослях на берегу реки. Игру придумал я, начитавшись книг о том, как боролись люди за огонь в доисторические времена, о десятилетнем мальчугане, моем сверстнике, жившем тогда же, о неимоверно быстроногом парне, сумевшем в одиночку одолеть какого-то мастодонта, и прочих. И мы делали дротики из тальниковых прутьев, надевая на их концы плотно скатанные шарики мокрого ила, который после просушки на солнце обретал твердость железа и причинял сильную боль, попадая в голое тело. Мы играли в одежде первобытных, то есть в «набедренных повязках», именуя так свои подвернутые черные трусы, — и метали друг в друга эти дротики без всякой пощады, как и подобает пещерным людям. Но можно было избегать попаданий, уворачиваясь, убегая, а главное — прячась в зарослях, затаиваясь там, выслеживать противника, чтобы неожиданно выскочить и поразить его дротиком, после чего, по правилам игры, он ответить уже не мог, считаясь убитым. И вот я бежал, продираясь сквозь кусты, чтобы спрятаться, и когда пробежал через крохотную полянку с кострищем в середине, то увидел в траве какую-то книжку. Она была без передней обложки, с вырванными страницами: видно, кто-то с их помощью разводил костер; но я, любивший книги до безумия, не пропускавший ни одной, чтобы не посмотреть, схватил ее и побежал дальше, в самую тальниковую гущу. Там, бросив рядом дротик, присел на корточки и, переводя дыхание, полистал в лучах света, падавшего сквозь листву, эту книжку, скукоженную от дождей; в ней были красивые цветные картинки и не хватало только первых страниц. Начиналась она с седьмой, и потому я не очень-то охотно



стал ее читать, но быстро втянулся, так что забыл про игру и читал, читал, шлепая себя по голому телу, когда в него впивались комары...

История и правда была очень увлекательной. Святой, о котором в ней говорилось, не сразу стал таковым, жизнь его была непростой и начиналась с деяний бесконечно далеких от святости: он обворовывал дома по ночам, грабил на больших дорогах, бродяжничая по Руси, калечил в этих грабежах людей. Его ловили, сажали в острог, заковывали в кандалы и гнали на каторгу; ему всякий раз удавалось бежать, и он брался за старое, но после одного случая — который не хочу пересказывать подробно, скажу лишь, что дело касалось пятилетней девочки: ей грозила гибель в случае, если Автиан (так звали героя этой истории) не сдастся, и он сделал свой выбор — девочку спас, а сам вновь отправился на каторжные работы, — что-то перевернулось в нем, и он, отработав положенное и освободившись, пошел в церковь, где его крестили. И вот тогда-то и начался его путь святого со всеми многочисленными благими деяниями, о которых читать было уже не так интересно — все-таки больше я тогда любил приключения, — и я не дочитал, оставил книжку там, в тальнике; а через несколько дней вспомнил о ней и вдруг почувствовал страстное желание прочитать ее еще раз, теперь уже до конца, и со всех ног помчался к тем зарослям, но не нашел ее. В тот же день я отправился в библиотеку, но никто из библиотекарей почему-то ничего не знал об этой книжке, никто не мог вспомнить ту историю, хоть и пересказывал я прочитанное почти слово в слово. И потом, как я уже сказал, она больше никогда не встречалась мне, и было жаль, что я не дочитал ее, а особенно жаль стало позже, когда уже не одни только приключения, но и многое другое начало привлекать меня в книгах, — что не обо всех хороших делах Автиана я узнал. Правда, и узнанных было достаточно для того, чтобы этот герой остался в моей памяти не разбойником, а святым.

Главное же для меня — тот загадочный внутренний перелом, который высветлил его душу до кристальной чистоты.

Ибо жизнь свела меня с человеком, схожим своей судьбой с Автианом, почему и наделяю я его этим же именем — то есть даю ему «псевдоним», как зачастую делают журналисты, меняя имена героев своих статей и очерков. Впрочем, и скрывать его подлинное имя я не собираюсь и даже, пожалуй, им-то и стану чаще его называть. А был он Петровым Леонидом — Лене́й, так обычно его величали.

Первый раз его посадили на пять лет, и он сидел в колонии усиленного режима, был такой когда-то в этой системе, туда сажали только по первому сроку.

А я, как уже сказано, отбывал в этой колонии трехлетний «срок» институтского распределения. На пятом курсе мне пообещали, что работать я буду в управлении внутренних дел. Кем именно, не сказали, тем не менее предложение показалось заманчивым, и я уже видел себя каким-нибудь работником, например, уголовного розыска: такие случаи, я знал, бывали. Но когда пришел в УВД со своим дипломом инженера-механика,

мне даже в техотделе управления исправительно-трудовых учреждений не дали места. Сразу сунули в зону.

— Так мне теперь сидеть, что ли? — спросил я начальника отдела кадров, одетого в военную форму с погонами капитана.

Он рассмеялся и весело сказал:

— На льготных условиях!

Но тут же и успокоил, протягивая мне направление:

— Работать там куда легче, чем на заводах. С них-то к нам как раз и бегут итээры!

2.

И вот я в зоне. Точнее — в промзоне. Меня определили технологом в механический цех. Было ли мне страшно первый раз войти туда? Нет. Было любопытно, и только. Сопровождал меня, как вновь поступившего, пожилой мастер инструментального участка Андрей Анисимович Сухотин. Пока мы шли в механический цех по территории промзоны, где повсюду ходили зэки, все в черных робах, все лысые, я спросил Сухотина:

— А здесь долбают по работе?

— Нет, — ответил он, махнув рукой. — Здесь день прошел, и ладно. А чтоб кого-нибудь убили, такого никогда не бывало.

Мы вошли в цех. Мне становилось все интересней, и я внимательно смотрел на шумящие токарные станки; за ними тоже стояли зэки, которых вообще-то называли «осужденные». Их было много, они входили и выходили из цеха, перемещались среди станков, двое сидели в углу за оглушительно хлопавшими прессами. Самый грязный и оборванный осужденный катил по центральному проходу к выходу тележку с металлической стружкой.

Я поднялся вслед за Сухотиным по крутой железной лесенке на антресоли, где было несколько дверей. Он толкнул одну из них, и мы вошли в маленький кабинетик начальника цеха. В нем сидели трое таких же, как и мы, вольных. Как узнал я позже, они, действительно, бежали сюда с заводов. Мастер Репов бежал с агрегатного, где был старшим мастером, но больше не мог там работать, потому что из рук валилось все, даже сигареты: их уже не удерживали трясущиеся пальцы. Заместитель начальника цеха Дорошин бежал с авиационного завода, где последние годы работал заместителем директора по производству. На вопрос, почему расстался с такой высокой должностью, отвечал коротко: «Устал!» Да и Сухотин бежал с радиаторного, чтобы спокойно доработать до пенсии. А начальник цеха Владимир Федорович Антипов бежал с крупного завода аж два раза. После первого «побега» обнаружили какие-то задолженности (там он тоже был начальником цеха), и его вернули. Он сумел быстренько рассчитаться и вновь бежал в зону, теперь уже безвозвратно.

— Здесь я буду работать до самой пенсии, — сказал он мне как-то. — Там чего только не висело на моей шее! А здесь у меня одна задача — де-

лать план. То есть чистое производство, а уж с ним-то я как-нибудь разберусь — не первый год работаю, и даже не первый десяток лет.

Ему было под сорок, он тоже оканчивал политех и, действительно, знал производство досконально. До него механический цех не выполнял план, а при нем начал выполнять и вольные получали премии.

Антипов дал мне время осмотреться, ничем не нагружая, кроме мелких поручений, не связанных с моими прямыми обязанностями: отнести куда-нибудь какие-то документы или, наоборот, какие-то бумаги откуда-нибудь принести. Это позволило мне быстро узнать, где что располагается в зоне. Потом он сказал:

— Займись-ка лудилкой. А то контролер постоянно цепляется к качеству полуды накидной гайки. Сделай, чтоб все там было по технологии. На складе есть пластмассовые ванны для травления, надо только сварить для них железные ящики, чтобы зэки эту пластмассу не разломали на ширпотреб. А пока будешь готовить, давай-ка начнем накидную гайку галтовать. Это должно повысить качество.

— А где? — спросил я. — Здесь же нет галтовки.

— В литейке есть. Я скажу мастеру, чтоб дал тебе кого-нибудь из арестантов — пусть грузит гайку на тележку и везет туда. А ты сходи с ним, проконтролируй.

Я пошел на склад, посмотрел розовые кубические пластмассовые ванны, тщательно измерил их стальной линейкой, которую зэк-кладовщик достал мне из своего стола, записал размеры в блокнотик и пошел в лудилку. Это было маленькое мрачное помещение, тускло освещенное, душное, с жаркими запахами плавки и чего-то горелого. Зэк-лудильщик в черной робе, с большой округлой головой в едва пробившейся белой поросли, брал из ящика клещами по несколько накидных гаек, похожих на браслеты, нанизывая их на створки клещей, затем, зажав клещи, опускал гайки в грязную пластмассовую бадейку с какой-то темно-коричневой жидкостью и, поболтав их там, совал в расплавленное олово, что серебрилось в тигле под шумящей конусообразной вытяжкой. Выдернув из этой серебристой жижи гайки, поменявшие серый цвет на блеск сверкающей фольги, зэк несколько раз ударял клещами о лежавший рядом с тиглем большой квадрат толстой резины, стряхивая излишки олова, и аккуратно укладывал луженые гайки на специальную решетку.

— А что там за жидкость? — спросил я, указывая на бадейку.

— Вроде кислота, — ответил лудильщик. — Хотя, может, это уже и не кислота.

Я объяснил, что скоро начнем лудить строго по технологии, в несколько операций, и с кислотой, и с другими компонентами, на что он только хмыкнул и насмешливо покосился на меня. И продолжил работать. А я пошел на токарный участок, где меня ждал Репов. Он сказал, что гайку мне сейчас погрузят, а в литейку ее повезет Петров.

Я вышел из цеха на воздух и постоял, оглядываясь вокруг. Зона жила своей жизнью. Она располагалась неподалеку от центра города, на границе между застройками из кирпичных и панельных домов и обшир-



ным пространством, занятым деревянными домишками частного сектора. У самой зоны стояли красно-кирпичные старые трехэтажные здания, их было видно сквозь okayмлявшую зону сетку-рабицу. Эта проволочная сетка с ромбическими ячейками простиралась на высоту, пожалуй, больше пятиэтажного дома и должна была препятствовать перебросам. Но не всегда препятствовала. Находились метатели, которые перекидывали осужденным грелки с водкой, банки консервов, коралки копченой колбасы и всякое прочее даже через эту сетку. За ней, над высоким побеленным двойным забором с колючей проволокой, виднелись верхушки кленов, а над крышами домов в густо-синем небе плыли белые облачка с сиреневым отливом понизу; легкий ветерок шевелил начинавшую желтеть листву и доносил сюда сладкий воздух свободы.

А здесь все двигалось и шумело; кто-то со звоном бросал из кучи в кучу какие-то детали у склада готовой продукции; гудя, проехал мимо электрокар; у ворот соседнего цеха несколько эков, по пояс голые, все в наколках, с хохотом глядели, как директор промзоны в военной форме орет на одетого в военную же форму главного механика; а по асфальтовой площадке поодаль ходили, то и дело затягиваясь сигаретами и разговаривая, двое эков в чистой черной одежде, цилиндрических кепках и сапогах: пройдут до забора, разом повернутся, пройдут назад, вновь повернутся — и до забора, а там опять повернутся — и обратно, и так без остановки, как заводные. Вся эта жизнь протекала очень живо, с бушующей энергией, на первый взгляд даже весело, и только по застоялой тоске в глазах эка, смотревшего из окошка инструментальной кладовой на дома и деревья за сеткой-рабицей и колючей проволокой, можно было понять, чего стоило пребывание здесь...

— Алле, технолог! — послышалось сзади, и я обернулся.

В воротах цеха, освещенный солнцем, стоял молодой осужденный, держа за ручки тележку, полную накидных гаек. Был он, как полагаются, в черной робе, лысый, повыше среднего роста, довольно крепкий, с лицом, которое я мог бы назвать приятным, если бы с него слетело хмурое, недовольное выражение, а из глаз исчез злой блеск. Однако, подумалось мне, если б к этому лицу добавить, допустим, пышные кудри, то это вообще, наверное, был бы красавец.

— Или не ты технолог? — спросил он.

— Я технолог.

Он некоторое время смотрел на меня с неприязнью, потом, перемежая слова матом, проворчал:

— Подвози им... подноси... Начинаешь затаривать — какие-то разборки... — и спросил: — Ты давно в зоне?

— Давно, — кивнул я. — Почти три недели.

Он зло усмехнулся и сказал:

— Бушлат, короче.

— Да нет, — с улыбкой возразил я. — Пиджак.

Мне было уже известно, что бушлатами в зоне называют малоопытных эков, не успевших еще утвердиться. А пиджаками называли в во-



енкоматах нас, выпускников вузов, поскольку офицерское звание мы зарабатывали именно в пиджаках, на военных кафедрах. Он, конечно, не мог этого знать, решил, что я над ним издеваюсь, и хотел что-то бросить в ответ, но я опередил:

— А сам-то ты здесь давно?

— Ну, допустим, нет, — сказал он с вызовом. — Столько же, сколько и ты. И что?

— Да ничего. Поехали.

И я направился в сторону литейного цеха, а он пошел следом, катя за собой тележку, и вдруг спохватился:

— Закурить дай!

Я дал ему сигарету, дал прикурить. Закурил и сам. И спросил:

— За что сидишь-то?

На ответ я не рассчитывал и даже, наоборот, был уверен, что ничего он мне говорить не станет. Но он легко и просто заговорил, и пока мы, дымя на ходу, неторопливо двигались к воротам литейки мимо каменного нужника, мусорных ящиков и облепленного эками кирпичного фундамента строящегося цеха, я кое-что узнал о кривых путях, приведших сюда этого Петрова. Он был года на три моложе меня, то есть в то время аккуратно должен был служить в армии. Но служить его не взяли из-за судимости: еще малолеткой получил условный срок за драку. Работать он, как я понял, не то чтобы не хотел, а все как-то не мог никуда прибиться. После восьмилетки выучился на крановщика мостового крана на железобетонном заводе и поработал в арматурном цехе, но это ему быстро надоело, и он выучился на водителя и повозил на заводской легковушке главного инженера — недолго, с неделю: из-за чего-то они поругались и его пересадили на грузовик. Но и на нем поездил чуть-чуть, не по душе ему был разбитый грузовик, вернулся в арматурный цех, выучился на сварщика и с год варил арматуру, пока не случилась драка на танцплощадке и он не угодил на три месяца в следственный изолятор, после чего был суд, завершившийся условным приговором и освобождением из-под стражи прямо в зале. Дома его встретили с изумлением: родители, контролеры мебельной фабрики, жившие в комнатенке барака в полной независимости друг от друга, уже свыклись с мыслью, что своего единственного сына они теперь не увидят долго... Были у него еще короткие периоды работы: грузчиком в магазине «Детский мир», сторожем в трамвайном депо, — а потом уже ничего такого не было, одни только мелкие кражи. Да та кража, за которую он попал в зону: девятнадцать ящиков винограда утащил из дощатого склада овощного магазина, сделав ночью подкоп, и даже умудрился часть ящиков сбить на базар знакомой продавщице. Но в милиции нашелся следопыт, сумевший по оброненным виноградникам добраться до сарая его родителей, в котором он эти ящики укрывал. И тут ему, можно сказать, не повезло: если бы виноград нашли раньше и Петрова упрятали в тюрьму, могло бы остаться нераскрытым другое дело — об ограблении в сумеречное время преподавателя профтехучилища. Но дело успели раскрыть, преподаватель опознал Петрова, и тот загремел по двум статьям.



Он шел и сетовал, что ему «менты всю жизнь исковеркали», а мы уже пробирались через литейный цех — осторожно, чтобы не попасться на дороге зэку, бегущему от вагранки. Этот зэк держал за длинную рукоятку конусообразный ковш, в котором желтым огнем светился расплавленный металл: надо было успеть вылить его в опоку, пока не застыл. Наконец мы оказались в усыпанном коричневой горелой землей закутке, где с грохотом крутились два галтовочных барабана. Я объяснил молодому длинному зэку с совковой лопатой в руках, что нам надо очистить вот эту накидную гайку, и он сказал:

— Сейчас свое закончу и загружу. Часа через три забирайте.

И мы с Петровым пошли назад. А когда пришли к своему цеху, он сказал тихо:

— Принеси чифиру, а?

Я отрицательно мотнул головой, но он настаивал:

— Да одну плаху, че ты! Я трюльник дам!

Это была двойная цена за плитку чая. Бутылка водки стоила здесь вчетверо дороже своей магазинной цены, а на одеколоне вообще можно было озолотиться (хоть зэкам и не полагались наличные, деньги у них всегда водились). Однако «носить» было строжайше запрещено, называлось это «связь с осужденными». За нее увольняли по тридцать третьей статье, что мне было совершенно непонятно, ведь тридцать третья — статья за пьянство и прогул. Но именно по ней увольняли жаждущих легкого заработка, а они среди вольных находились; их, как правило, сдавали зэки, а уж оперативники останавливали на проходной, учиняли так называемый личный досмотр, изымали «грев» и в зону больше не пускали. Мне такая перспектива, естественно, не улыбалась. В самом начале меня проинструктировали в оперчасти, что первое время зэки будут активно меня «обкатывать» и не дай бог мне на это поддаться!

Элементом такого «обкатывания» и была просьба Петрова принести чай. Я еще раз мотнул головой и пошел в цех. Он буркнул вслед что-то угрожающее, но я уже не помнил о нем. Мне очень хотелось поскорей наладить работу лудилки, и я взлетел по железной лесенке на антресоли, вошел в один из кабинетиков, где за столом сидел зэк-нормировщик, сел за этот же стол на свободный стул, попросил у нормировщика чистый лист бумаги, достал из кармана ручку и нарисовал эскиз железных ящиков, которые, как считал Антипов, должны были защитить от зэков пластмассовые ванны. На этом же листке написал заявку на их изготовление, сходил к начальнику цеха, дал ему эту заявку на подпись и унес ее на сварочный участок.

Через день ящики были готовы — верней, это был один длинный железный ящик с двумя отсеками для пластмассовых ванн. Я сам аккуратно вставил эти ванны в отсеки, они вошли плотненько, и я был доволен, что так точно сделал эскиз. Зэки унесли ящик к лудилке, положили его возле двери, и мы с лудильщиком отправились на склад за кислотой. А когда вернулись, держа в руках по пятилитровой бутылки, то увидели, что половина толстого розового бока одной из пластмассовых



ванн в железном ящике наискось отломана, и это значило, что все пошло насмарку.

Я почувствовал какую-то мгновенно навалившуюся тягостную скуку и сказал:

— Назад!

Мы с лудильщиком унесли обратно на склад кислоту, а когда вернулись к лудилке, уже и у второй ванны была отломана половина бока.

«Защититься от подобного здесь, видимо, невозможно», — сделал я вывод и пошел в кабинет начальника цеха, по пути сказав Репову, чтобы он дал распоряжение унести к чертям этот ящик.

Объяснив все Антипову, я больше лудилкой не занимался. Через несколько дней он вошел в кабинетик нормировщика, увидел меня сидящим в углу и читающим один из многочисленных толстых журналов, которые выписывали осужденные, и начал выговаривать мне, что так, мол, из меня никакого толку не будет, что надо доводить начатое до конца, иначе засижусь в технологах, и прочее, прочее... Но я не реагировал и только думал: «Ничего здесь больше делать не буду! Принимаю принцип Сухотина: день прошел — и ладно...» И с досадой вспоминал увиденную накануне шариковую ручку из розовой пластмассы тех травильных ванн. Ручка была изящной, в виде ножа, я больше никогда таких не видел. Ее втихаря предлагал мне зэк-бригадир со словами: «Что ты можешь мне за нее дать?» Я вновь почувствовал скуку и, не ответив, пошел без всякой цели бродить по цеху.

Данное себе слово я держал и ничего больше не делал, только через день сопровождал в литейку накидную гайку (после очистки в барабанах качество лужения и в самом деле повысилось). Но вскоре начальник цеха предложил мне освободившееся место механика и я стал работать с бригадой слесарей, крепкой, слаженной, это уже было поинтересней...

Но я хотел рассказать об Автиане, к нему и возвращаюсь.

3.

Он больше не возил со мной на галтовку накидную гайку, возили другие, а его поставили на участок притирки бронзовых кранов, и я видел его редко, ни о чем с ним больше не говорил, только ответил отказом на еще одну его просьбу что-то принести. И никогда не вспомнил бы о нем ни после того, как его увезли из той зоны, ни после своей отданной зоне трехлетней трудовой повинности, если бы не встретился с ним вновь. Но эта-то встреча и обязывает меня выцезживать из памяти сведения о его бытии того времени.

В зоне Петров с самого начала обретался среди блатных, в «отрицаловке», где свои законы типа «сало, масло — запахло, колбаса на стол негожа»; не приветствовалась у них и работа, но работать их заставляли уже другие законы: за отказ сажали в штрафной изолятор на пятнадцать суток, а там «день летный, день нелетный» — то есть день кормят, день не кормят, — и выходил оттуда отказчик, как говорил Репов, «тонким,

звонким и прозрачным», после чего обычно в отказ уже не шел. Естественно, приходилось работать и Петрову, но я, как ни пытался, не мог припомнить, чтобы хоть раз видел его действительно работающим, если, конечно, не считать тот единственный случай, когда он в моем сопровождении катил в литейку тележку с накидной гайкой. Память сохранила только, как он, например, шагает по промзоне в цех, о чем-то деловито разговаривая с маленьким и щуплым, но матерым на вид эком-кладовщиком. Или как стоит возле крайнего токарного станка, а когда мимо проходит баскетбольного роста молодой вольный мастер штамповочного участка, говорит ему с нагловатой ухмылочкой: «Начальник, я опять жду, когда ты мне дашь закурить». Тот, не останавливаясь, спрашивает: «Ты вор?» И Петров отвечает утвердительно: «Вор». А вольный, шагая дальше, бросает ему через плечо: «Ну иди воруи». И лишь один раз, когда начальник цеха попросил меня побыть за ушедшего в отгул мастера участка притирки, я видел Петрова почти работающим, то есть возле его рабочего места. На том участке, в довольно большом помещении, было пять осужденных, и когда я вошел, то обнаружил их сидящими у притирочного стола с несколькими тисками. И спросил:

— Почему не работаете?

За всех ответил Петров:

— Пожарим ландорики на жире, который ты принесешь, и сразу начнем.

Бронзовые краны молочной арматуры по технологии надо было смазывать кулинарным жиром, его приносили со склада раз в месяц — полный фанерный ящик цветастых пачек, мгновенно разлетающихся по цеху. Эки не смазывали этим жиром краны, а поджаривали на нем кусочки хлеба, которые и назывались «арестантские ландорики».

Я сказал угрожающе:

— Если не приступите немедленно к работе...

И процитировал Антипова:

— Брякну за магазин!

Они сразу зашевелились, начали вставать. Ну как же, лишиться чуть ли не единственной отрады — отовариться на шесть советских рублей в месяц в магазине жилой зоны, купить сигарет, чаю, карамели, чего-нибудь еще — было для них серьезным уроном.

Встать-то они встали, но работать не начали, а один из них, самый, наверное, молодой и самый тощий, вообще пошел на выход.

Я его спрашиваю:

— Ты куда? Работать кто будет?

— Я в отказ! — отрезал он.

— А что так?

— Да на меня все свалили! — заголосил он. — Я и промывай, я и притирай, я и...

Слушая его, я понял, что ему приходится выполнять фактически все операции, то есть вкалывать за пятерых. Выказавшись, он вышел. Я посмотрел на остальных четверых. Они молчали, не глядя не меня. Нет,



один глядел — глядел своим единственным глазом, высокий ээк с головой, покрытой огненно-красной щетиной. Я спросил его:

— Ну и что теперь?

Он сказал:

— Сейчас.

И тоже вышел из «притирки». Я отправился следом и смотрел, как этот огненноголовый и одноглазый не спеша догоняет тощего и начинает что-то ему говорить. Разъяснительная беседа длилась недолго, после чего одноглазый вернулся и молча кивнул мне: мол, порядок. А за ним в «притирку» вернулся и несостоявшийся отказчик и продолжил вкалывать за пятерых.

Так и не увидел я Петрова работающим.

Зато увидел его в роли циркача, исполнявшего смертельный трюк. Это было жарким летним днем, я сидел с несколькими вольными в кабинете начальника цеха, когда Репов, кинув взгляд в окно, изумленно сказал:

— Это что за придурок?

Мы все тоже посмотрели и увидели, как какой-то босой ээк в черной одежде лезет вверх по сетке-рабице. Зрелище было настолько необычным, что мы с Реповым выскочили на улицу. «Верхолаз» уже достиг середины сетки, то есть был чуть ли не на уровне цеховой крыши, и продолжал взбираться вверх. Тем временем промзона стремительно заполнялась выбегавшими из цехов осужденными, которые хохотали, взмахивали руками, орали:

— Надда-ай!

— Цепляйсь покрепче цырлами!

— А-а, мазево лезет!

Конечно же, его увидел — из своего кабинета на втором этаже — и директор промзоны. Он что-то прокричал ему, высунувшись в открытое окно, тут же исчез, а через несколько секунд выскочил из двери в толпу ээков и завопил, задирая вверх голову:

— Слеза-ай!

И гаркнул на осужденных:

— Ти-хо!

Все замолчали, и директор в тишине крикнул ээку, который был уж на самом верху сетки:

— Слезай сейчас же!

Тот посмотрел вниз, и я узнал в нем Петрова. Было жутковато видеть его на высоте метров двенадцати, откуда он мог упасть на ящики с торчавшими из них железными отходами. Облитый ярким солнечным светом, на фоне чистого неба, с лицом, сверкающим от пота, он ослабил-ся, и сверху донеслось:

— А зачем? Здесь ништяк! Воля видна! Так бы и полетел туда! Ты, гражданин директор, тоже не захотел бы отсюда слезать...

Директор надрывно проорал:

— Сетка оборвется — полетишь! В преисподнюю!

А Петров засмеялся и ответил:

— А мне один хрен: хуже, чем зону топтать, не станет!

Кто-то уже стукнул в оперчасть, и прибежал ее начальник, старлей с белыми пушистыми кудряшками, из-за которых осужденные прилепили ему прозвище Одуванчик. За ним примчались два прапорщика-надзирателя. Один из них, глядя вверх, сказал:

— Он что, «колес» обожрался?

— Не иначе, — согласился Одуванчик и крикнул Петрову: — Предупреждаю! Не спустишься в течение минуты — зачтем попытку к побегу!

— Ну хорошо, — донеслось сверху. — Спасибо, что хоть минуту мне даешь...

Посозерцав в течение этой минуты волю, Петров стал быстро, с обезьяньей ловкостью спускаться по сетке под крики и гогот вновь расшумевшихся эков. Как только он спрыгнул на землю, надзиратели схватили его под руки и увели, а эки, расходясь по цехам, продолжали галдеть, смеяться и обсуждать происшествие. Никто толком не мог понять причины; кто-то предполагал, что Петров и в самом деле одурел от «колес», то есть от таблеток с наркотическими веществами; кто-то говорил, что он, может быть, водки выпил; но поскольку все видели, что он совершал свое восхождение абсолютно трезвым, эти версии отпадали и появлялись другие, и ни одна из них все-таки не объясняла его поступка. В конце концов решили, что он полез на сетку либо просто сдуру, ведь это было небезопасно, либо в нем разыграл дешевый «гарц», то есть он просто решил выпендриться перед всеми. Я же сейчас думаю, что это был порыв, родившийся на самом дне его души, выплеск того, что, возможно, изначально есть в каждом человеке, — некой глубинной жизнеутверждающей силы, которая в конечном итоге и привела его к кардинальным внутренним переменам, а в том эпизоде вступила в ярое противоречие с реальным его положением. Это противоречие на какое-то время вызвало в Петрове неосознанное отвращение ко всему, что его окружало, может быть, даже на грани умопомешательства; поступок его был, как мне думается, знаком стремления к чему-то высокому, секундным проявлением жажды самоочищения, желания вырваться из всего того, что, в силу житейских обстоятельств, опутывало его, как опутывает красавца шмеля липкая серая паутина, в которую он ненароком угодил. Обошлось ему это недешево: его посадили не в штрафной изолятор на пятнадцать суток, а в помещение камерного типа на три месяца. Но поскольку в ПКТ нет «нелетных» дней и кормят ежедневно, он вернулся почти не исхудавшим.

Сильно исхудавшим, с лицом заостренным и почерневшим, с горящими голодной чернотой глазами я видел его позже, когда он отрубил в ШИЗО вместо первоначальных пятнадцати суток более сорока, получая раз за разом прибавки за разные нарушения. За что он туда угодил, не знаю, просто потому что не интересовался этим. Да и теми событиями, за которые швырнули его в другую зону, я бы не поинтересовался, но о них не узнать было невозможно, уж слишком они были громкими.



Петров и тот щуплый матерый зэк-кладовщик, о котором я уже упомянул и фамилия которого была, кажется, Силенов, раздобыли четыре пустые пятилитровые бутылки и заквасили в них брагу — на дрожжах, принесенных им кем-то с воли. Бутылки спрятали под полом у Силенова на складе, где хранились поступавшие из литейного цеха отливки. Пришло время, брага созрела, они сняли пробу — отлично! И решили на следующий день остаться в цехе на вторую смену — якобы вечеровать, а на самом деле устроить «гужбалово». Договорились с мастером из зэков, он оформил им заявки, и они на следующий день принесли на склад из столовой хлеба и кастрюльку баланды, с нетерпением дождались второй смены, но когда в предвкушении приятного отдыха раздвинули доски пола под стеллажом с отливками, браги там не было. Они, конечно, сильно расстроились и поначалу не могли даже предположить, кто это с ними так немилосердно обошелся. Но после совместных раздумий пришли к выводу, что никто этого сделать не мог, кроме того мастера из зэков, который оформил им вчера заявки, поскольку, во-первых, у него имелись свои ключи от склада литья, а во-вторых, в эти дни он торчал в цехе по две смены. Когда же они попросились на вторую смену, он, безусловно, сразу заподозрил, что это неспроста, и вчера вечером наверняка зашел на склад, отыскал брагу и «увел» ее.

Все это они, выйдя в цех, и предъявили мастеру. Тот все начисто отрицал, но они ему не верили, тем более что отрицал он очень агрессивно, и это еще больше убеждало их: он взял! Позже мне по секрету сказала правду одна женщина из бухгалтерии. С ней мне постоянно приходилось контактировать, оформляя наряды своим слесарям. Она работала давно, со всеми была хорошо знакома и всегда все знала. Так вот, те бутылки забрали ночью надзиратели, проинформированные одним осужденным, которого Петров чем-то обидел. Тот выследил, как они с кладовщиком снимали с готовой браги пробу, и сдал их в надежде, что Петрова сурово накажут. Но надзиратели предпочли промолчать, ибо в противном случае брагу пришлось бы уничтожить, а так они на долгое время обеспечили себя хорошей дармовой выпивкой.

Ни Петров с Силеновым, ни мастер ничего об этом, конечно, не знали и крепко повздорили в цехе. Силенов предложил мастеру обстоятельно во всем разобраться в тихом месте, и они чуть позже встретились в тускло освещенном коридорчике возле лудилки, как раз там, где в самом начале моей работы очень недолгое время стоял длинный железный ящик с разломанными пластмассовыми ваннами. Разобраться миром не получилось, мастер продолжал все отрицать, орал на Петрова с Силеновым, а они орал на него, и длилось это довольно долго. В конце концов Петров бросился на мастера и несколько раз ударил его. Мастер схватил Петрова за грудки; он был довольно сильным, но Петров вырвался, взял стоящую в углу метлу, сбросил прутья с черенка и огрел этим черенком мастера по голове. Тот, озверев, схватился обеими руками за черенок и прижал его к горлу Петрова, вдавливая противника в стену. Но Силенов, как оказалось, успел перед этим зайти на склад и вооружиться хранившимся там

ножом. Он два раза ударил им мастера в спину; мастер зашатался, но устоял на ногах, повернулся к Силенову — и тот ударил бы его еще раз, в грудь, если бы его руку с ножом не перехватил один из прибежавших охранников, невесть кем вызванных. Петрова и Силенова скрутили и увели в камеру, а истекающему кровью мастеру помогли дойти до санчасти.

Потом был суд, он проходил прямо там, в зоне. Петрову и Силенову добавили разные сроки и отправили на строгий режим.

4.

С тех пор я не видел Автиана много-много лет. Отработав в зоне положенные три года, я сразу уволился и устроился на завод «Трансмаш», где занимался любимым делом: проектировал штампы для кузнечного и прессового цехов. Но всеобщий развал промышленности не обошел и завод, ставший для меня родным, и я со своим огромным опытом оказался никому не нужен, был сокращен вместе со всем нашим техотделом и отправлен на биржу труда, где меня поставили на учет и назначили мне скудное пособие.

Получал я его около двух лет, пока не позвонил мне бывший однокашник Виталий Антонов. Он-то попал на «Трансмаш» сразу после института, тоже по распределению, и, когда я пришел туда после зоны, работал уже заместителем начальника прессового цеха. Ему не нравилась эта работа, он все жаловался: очень тяжело, приходится пропадать в цехе с утра до ночи, ни на что не хватает времени, нет никакой возможности для нормальной семейной жизни, надо срочно увольняться; и я думал, что со дня на день он уйдет с завода, но он все тянул. А года через два-три перестал жаловаться и на мой вопрос: «Уходить-то будешь или нет?» — ответил: «Да нет. Прикипел», — и продолжал работать. Потом, когда началась перестройка, Виталий победил на выборах в депутаты горсовета, пробыл им один срок, больше баллотироваться не стал, но и на завод не вернулся, а двинул в предприниматели, и у него сразу дела пошли в гору. Он занимался разным бизнесом, главным образом торговлей и строительством; подробно мне об этом рассказывал, когда мы случайно встретились, и звал к себе менеджером, обещая хорошие доходы. Но поскольку мне ничем, кроме своего дела, заниматься не хотелось и завод наш, хоть и с перебоями, но еще работал, я отказался.

И вот он звонит и говорит:

— Привет, товарищ Степанов! А теперь-то пойдешь ко мне?

— Менеджером? — усмехнулся я.

Хоть и надоело мне прозябать на учете в службе занятости, в торговлю все-таки не тянуло.

Он помолчал и спросил:

— А ты как, Саня, по нашей профессии-то скучаешь?

— Что за вопрос? — удивился я. — Естественно.

— Так вот и я тоже! Почему и организую штамповочное производство.

— Да ты что!

— Ну, производством-то я сам буду заниматься. Но мне нужен конструктор. В общем, приезжай завтра...

Он назвал адрес, и на следующий день с утра я отправился на его новый объект. А когда подходил к нему, увидел Петрова. Но не узнал его. Он стоял у распахнутых ворот объекта, возле «Волги» салатного цвета, и разговаривал с Виталием Антоновым. Мельком взглянув на него, я поздоровался за руку сначала с ним, потом с Виталием. Он кивнул Антонову:

— Я понял. Все сделаю, — и сел в машину.

А когда она поехала, Виталий, глядя ей вслед, сказал:

— Что ни говори, а повезло мне с шофером. Очень!

И сразу начал рассказывать о своих планах, увлекая меня за собой в ворота, на огороженную бетонным забором территорию. Новым объектом, собственно, не был, — наоборот, это было старое строение какого-то бывшего предприятия, простенький производственный корпус в виде продолговатой коробки с окнами чуть ли не на весь простор боковых стен. Мы вошли, и я увидел, что работы по его обновлению уже начались: люди в зеленых спецовках выгребали из этой коробки мусор и очищали под побелку торцевые стены; а главное — внутри было несколько пока не установленных прессов, гильотинные ножницы, что-то еще — словом, оборудование, от которого на меня сразу повеяло родным, и я впервые за долгое время почувствовал, как оживает что-то внутри и приходит наконец хоть какое-то подобие радости.

— Все это тоже не новье, с добитых заводов, — сказал Антонов, кивая на оборудование. — Но я старался выбирать получше...

Мы вышли из корпуса во двор, заросший бурьяном и деревьями; здесь пахло запустением, все было заброшено: и подсобные помещения, и гараж с тремя боксами, и двухэтажное кирпичное здание, где, как я понял, прежде размещались все необходимые службы.

— Работы предстоит выше крыши, — говорил Антонов, но в голосе его не только не было недовольства, какое постоянно улавливал я, когда он жаловался на тяжесть работы замом начальника цеха, но было воодушевление, предвкушение чего-то интересного. Его худощавое лицо словно светилось, а в глазах я, глядя на него снизу вверх — он был очень высоким, видел острый, азартный блеск. — Первым делом надо спроектировать цех. Возьмешься?

— Да хоть сейчас! — выдохнул я, чувствуя, как все во мне наполняется силой и жаждой деятельности.

Мы прошли через бурьян до дверей двухэтажного здания. Виталий достал из кармана связку ключей, мгновенно отыскал в ней нужный, из чего следовало, что пользоваться им ему уже приходилось, открыл дверь; мы вошли и поднялись на второй этаж, где он открыл другим ключом еще одну дверь, и в этой комнате, светлой, с двумя просторными окнами, я, к изумлению своему, увидел кульман. К его доске был приклеен жел-

тевший от времени ватманский лист с незаконченным чертежом, взглянув на который, я понял, что на этом предприятии выпускали водооткачивающие насосы. Кульман был абсолютно целый, и я поймал себя на желании взять карандаш из его лунки и быстренько, двигая по ватману линейки, закончить чертеж. Еще один кульман был размонтирован и валялся в углу, в другом углу лежал перевернутый стол; на полу и в открытом шкафу было много всякого хлама, в основном бумажного.

— Нужен он тебе? — кивнул Виталий на уцелевший кульман. — Или компьютер поставить?

— Нет-нет! — быстро сказал я. — Только на нем буду работать! Только на нем!

— Добро, — понимающе улыбнулся Антонов. — Но компьютер все же поставлю. А сейчас дам тебе двоих парней, наведите тут порядок. И приступай к делу. Завтра.

— Сегодня, — возразил я. — Сегодня же начну проектировать цех!

И сразу после того, как мы с двумя молодыми здоровенными ребятами вынесли из комнаты все ненужное и навели чистоту, снял с доски кульмана старый чертеж, прикнутил к ней чистый ватман, которого там было вдоволь, и, то и дело выходя в производственный корпус, осматривая там все и измеряя обнаруженной в шкафу рулеткой, в тот же день начертил в тонких линиях общий вид нового цеха и показал Антонову. Глядя на чертеж, он удовлетворенно прищелкнул языком и сказал:

— Никакой безработице мастерства не сожрать!

На следующий день я снялся с учета на бирже, привез трудовую книжку Антонову — и с головой ушел в работу, которой, действительно, было непочатый край. Оказалось, Виталий успел заключить договоры со многими, кому требовалась штамповка, и времени на раскачку не было совсем, все здесь должно было начать работать еще вчера. Мне пришлось стоять за кульманом чуть ли не дни и ночи напролет, параллельно проектируя и цех, и штампы. Да и те люди, что готовили цех, не выходили из него сутками. Но уже через три дня заработал первый пресс, выдавая для каких-то полукустарных мастерских уплотнительные кольца — с помощью спроектированного мной штампа, который за полдня изготовили инструментальщики на остатках моторостроительного завода. Чрезмерная нагрузка не тяготила меня, более того — отдавалась во мне уже не каким-то там подобием хорошего настроения, а настоящей большой радостью: это было время утоления трудового голода, наслаждения от работы, какого я не испытывал еще никогда. Да ведь никогда и не приходилось мне с нуля проектировать предприятие, никогда еще не ставила меня жизнь в положение вот такого абсолютного хозяина дела, и я пребывал в состоянии натуральной эйфории, вдохновение мое не иссякало, все мне удавалось, проекты воплощались в чертежи легко, быстро, ладно.

Антонов был очень доволен моей работой, хвалил от души, и это опьяняло, хоть и понимал я прекрасно: без него ничего бы этого не было



и все удается мне только потому, что каким-то необъяснимым образом удается ему. Малый бизнес у нас в городе в то время был чуть ли не на грани уничтожения, Антонов оставался одним из немногих, кто не только выдерживал, но и умудрялся постоянно развиваться; какое-то чутье было у него на востребованность продукции; как опытный грибник, вошедший в незнакомый лесок в не самую лучшую для грибов пору, с одного взгляда определяет, в каком месте должен торчать из земли единственный подберезовик, — так Виталий сходу понимал, где можно заключить обоюдовыгодный договор. Правда, для этого ему тоже приходилось работать сутками за компьютером в офисе, а в разъездах — за планшетом, с которым он никогда не расставался, и это давало поразительные результаты. У нас вскоре появилось больше десятка новых рабочих мест; забытый всеми объект стремительно оживал, превращаясь отнюдь не в штамповочный цех, как изначально задумывал Антонов, а в небольшой завод с несколькими отсеками-цехами, где все гремело, стучало, лязгало, гудело, кричало на разные голоса.

Шум этот, влетающий в распахнутое окно, когда я стоял с карандашом в руке у кульмана, не только не мешал мне трудиться, но был отрядным для меня; как и запах, чисто заводской, который я всякий раз с удовольствием вдыхал, входя в корпус, чтобы посмотреть, как устанавливают новый штамп на один из пяти прессов, выстроившихся в ряд на бетонных фундаментах и уже работающих в полную мощь.

В этом грохочущем, раскаленном дымчатом пространстве, пестро мельтешащем непрерывным движением верхних штампов, шатунов, ползунов, спецовок, касок, косынок, с гудением ползущей под потолком кран-балки, я даже не отследил момент, когда слух мой зацепился за знакомое имя, а глаз уловил промельк лица, отдаленно кого-то напоявшего. Но момент этот все-таки был, и вскоре вновь мимоходом схваченное лицо, сосредоточенное, вприщур глядевшее на закрепляемый на станине нижний штамп, автоматически соединилось в моем сознании с другим, так же мельком увиденным в первый день у ворот этого, еще заброшенного тогда, объекта, возле салатной «Волги». И неожиданно всплыл в памяти лысый молодой осужденный из далекого прошлого, державший за рукоятки полную накидных гаек тележку, и вспомнилось, как, глядя на него, я подумал, что если б ему добавить пышные кудри, он стал бы красавцем. Я остановился, верней, резко окоротил свой быстрый шаг, повернулся и медленно подошел к нему по новеньким металлическим плитам прохода, блестящим в солнечном свете из окон.

Да, так оно и получалось, ибо у шофера, который почему-то устанавливал сейчас штамп, были именно кудри, пусть с проседью человека возрастом под пятьдесят, но все же кудри — пышные, каштановые, делавшие его хоть и не таким красавцем, каким он мог быть в молодости, но довольно симпатичным, несмотря на глубокие борозды и складки на лбу, на расходившиеся от глаз пучком морщинки и рваный шрам под нижней губой. Стоя возле пресса и делая вид, что смотрю на штамп, я украдкой

внимательно разглядывал его, с изумлением думая: «Неужели он?» — и абсолютно в это не веря.

Тут подошел Виталий Антонов и, перекрикивая грохот, спросил:

— Ну что, товарищ Петров, надо менять матрицу?

Теперь сомнения вроде бы должны были отпасть, но не отпали: уж слишком не похож был этот Петров-трудяга на того Петрова-зэка.

— Да нет! — прокричал Петров, закручивая гаечным ключом болт. — Пока эта пойдет.

Подбежала молоденькая штамповщица и громко затрещала, как почти все девчата, которых доводилось мне видеть в заводских цехах:

— Леонид Викторович, посмотрите у меня, пожалуйста! Что-то не то с пуансонами...

— Пойдем, пойдем! — живо отозвался Петров. — Пятипрокол — такое дело, за ним нужен глаз да глаз... — И пошел вслед за ней, сказав стоявшей поодаль штамповщице с большим пинцетом в руке: — Можно работать, Мария Тимофеевна.

— Он кто у тебя все-таки? — спросил я Виталия. — Шофер или наладчик?

— Наладчик у меня забухал. Ты ко мне шел?

— К тебе, по поводу новых заказов.

— Ну пойдем.

Он повернулся и неторопливо направился в сторону своего кабинета. Я пошел рядом с ним.

— Я думал, из-за наладчика придется простаивать, — громко говорил он, на ходу цепко поглядывая на работающих людей. — А тут оказалось — Петров хорошо знаком с нашим делом...

— Работал?

— Наверное. Я о нем толком ничего не знаю.

— И не интересовался?

— Да просто еще не успел, не до того было. Но поинтересуюсь, всегда интересуюсь. Главное, Петров — классный работник. Я тебе говорил: повезло мне с шофером...

Мы прошли мимо отсека с двумя токарными, одним фрезерным и одним строгальным станками, потом мимо еще одного отсека, где за металлическим столом с горками мелких деталей, стуча молотками, собирали кожзажимы две женщины и трое мужчин в рабочей одежде, и, наконец, пришли в кабинет Антонова. Большую часть времени он теперь проводил здесь, поручая все дела на других объектах своим помощникам. Он и кабинет себе обустроил точно так же, как на «Трансмаше», — без излишеств. Возможно, и обстановка была та же самая, во всяком случае, я не смог бы отличить эту мебель от той: старый двухтумбовый письменный стол, еще два простых стола, приставленные к нему буквой «Т», такие же стулья... И больше ничего, кроме сейфа в углу да вентилятора на нем, который Виталий включил сразу, как только мы вошли, и который с шумом заворочался из стороны в сторону, изредка шевеля висящий на стене



красный треугольный вымпел победителя соцсоревнования. Рядом на стене висела фотография, на которой Антонову, в тот момент исполнявшему обязанности ушедшего в отпуск начальника цеха, директор завода торжественно вручал этот вымпел на сцене актового зала.

— Он сам вызвался поработать наладчиком, — Виталий говорил о Петрове, усаживаясь за письменный стол и начиная перебирать лежавшие на нем бумаги.

Я сел на ближний к нему стул.

— А когда я сказал, что, мол, доплачу, он отказался. Говорит: «Оставь этот заработок тому наладчику, который запил, не выгоняй его. Это муж подруги моей жены, они работают медсестрами в поликлинике. Подруга прихварывает сейчас — из-за его же пьянки. Но я с ним разберусь, он больше не прогуляет, вот увидишь». И ты знаешь, — Виталий, положив перед собой отобранные бумаги, поднял на меня удивленный взгляд, — я верю ему! Если он сказал — сделает. Он не подводит. Мы с ним как работаем? Вот, допустим, выезжаем договариваться насчет заказов, впереди у нас — нескольких мест. Приезжаем в первое, он говорит — сам говорит, представь! — давай, мол, пока ты здесь решаешь, я поеду в следующее место, договорюсь, а потом вернусь за тобой. И удается ему! Только с деньгами никаких дел иметь не хочет. Чтобы уговорить его отвезти что-то и привезти за это деньги — ни-ни! Ни в какую!.. Ну ладно, давай теперь о наших делах...

Мы подробно все обсудили, и я, забрав эскизы, пошел к себе, а когда вышел из корпуса, умолкнувшего, поскольку был уже обеденный перерыв, увидел Петрова. Он стоял возле распахнутой створки ворот и задумчиво смотрел во двор, ничего общего не имеющий с тем, по которому мы с Виталием шагали в первый день моей работы здесь: теперь не было и следов бурьяна, а из деревьев остались только те, что украшали двор, вдоль посыпанных гравием дорожек стояли скамейки, на которых сейчас сидели вернувшиеся из столовой женщины, пестрели цветами клумбы и весело стучали костяшками домино рабочие за столом в углу под рябиной, краснеющей на солнце ягодами.

Я остановился, вынул из кармана пачку сигарет и протянул Петрову, но он покачал головой:

— Не курю.

— А я все не брошу, — сказал я со вздохом, доставая из пачки сигарету.

— При желании можно, — посмотрел он на меня взглядом неожиданно добрым, от которого я ощутил хорошее тепло, мгновенно растекшееся в груди. — Помучить себя отбиванием от дурного полезно, — добавил он с мягкой улыбкой и пошел к прессам.

Глядя ему вслед и механически засовывая сигарету обратно в пачку, я подумал, что все-таки ошибся и этот Петров — вовсе не тот, которого я знал по зоне, а совершенно другой человек.

5.

Месяца через полтора Виталий Антонов пришел ко мне и попросил отвезти в район, как он называл, «епархиальную продукцию» — крестики и оклады для крохотных иконок.

— Выручи, а то мой сбытчик ушел на пенсию, — говорил он быстро и чуть ли не умоляюще, явно опасаясь, что я откажусь. — Нового пока не нашел, но не сегодня-завтра найду, так что тебе, может, всего разок-то и придется съездить...

— Да съезжу, съезжу, — успокоил я его. — Мне уже и самому охота куда-нибудь прокатиться.

— Ну добро! — сразу повеселел он. — Завтра с утра поезжай, Петров тебя отвезет, он все знает. Вообще-то он мог бы и один ездить, но я тебе говорил: с деньгами связываться не хочет. А там надо будет взять оплату. Ну, пойдем в мою резиденцию, я тебе все растолкую...

И на следующий день утром я ждал Петрова возле закрытых боксов гаража. В руке у меня был кейс с «епархиальной продукцией». Стоял октябрь, листва с деревьев уже почти облетела, а цветы на клумбах повяли, но было тепло и солнечно — чистой воды бабье лето. Петрова что-то все не было, и я пошел в уже гремящий в полную силу корпус, подошел к наладчику, тому самому, который полтора месяца назад запил, но теперь и в самом деле всегда был трезв. Я спросил у него, перекрикивая грохот, где Петров, и услышал в ответ:

— Посмотри в сварном отсеке!

Я пошел туда — и точно: Петров в брезентовой робе, со щитком на голове, варил кладбищенскую оградку. Увидев меня, вскинул в знак приветствия руку с держакон и крикнул:

— Сейчас я! Последние два шва... Через полчаса буду! Выедем, как обещал, в полдесятого!

Я пошел к себе в кабинет, засек время и интенсивно поработал эти полчаса за кульманом, а когда снова пришел к гаражу, Петров уже закрывал ворота бокса, напротив которых стояла салатная «Волга». Ее заднее сиденье было высоко нагружено какими-то мешками и картонными коробками. Петров был чист и свеж после душа, его пышные, каштановые с проседью кудри, как видно, вымытые с шампунем и просушенные феном, красиво искрились и переливались на утреннем солнце. Одет он был в синий костюм и синюю рубашку с синим галстуком.

— Пункт назначения в семидесяти км от города, — сказал он, садясь за руль. Я тоже сел в машину, на переднее сиденье. — По пути заскочим в два места.

И мы поехали. Я попытался с ним заговорить, задал пару вопросов, но он отвечал односложно, явно был не расположен к разговору, и я замолчал, глядя вперед — на обгонявшие нас машины, на людей, торопливо переходивших дорогу у светофоров, а когда ехали по мосту — смотрел на Иртыш, по-осеннему обмелевший, зеленоватый и зеркально-гладкий в это безветрие.





Первое место, куда мы заехали, находилось на самом краю города: двухэтажный панельный дом с обширным двором, огороженным деревянным штакетником.

— Что за строение? — спросил я, когда Петров остановил машину у открытой калитки.

— Приют, — ответил он, кивнул на заднее сиденье: — Помогите мне, пожалуйста, возьми вон ту коробку, — и вышел из машины.

Я взял картонную коробку, на которую он указал, — самую большую, тяжелую. А он вынул из багажника два красочных торта в прозрачных пластмассовых упаковках, не меньше трех кило каждый, и, держа их на ладонях, пошел к зданию. Я двинулся за ним. Двор был обильно засажен цветами, уже повядшими; была там детская игровая площадка, а в центре большой круглой клумбы красовалась чудесная сказочная фигура знакомого мне с детства Огородного Подрастая: старичок с белой бородой, на голове — шапка-подсолнух, длинная синяя рубаха подпоясана веревочкой, на ногах — обувка из стручков гороха, и катит он тележку из березовых веток, в которой лежит огромный арбуз. Глядя на эту тележку, я вспомнил ту, которую катил по зоне осужденный Петров, и, посмотрев на Петрова, шагавшего впереди с тортами, беззвучно засмеялся и подумал: «Да нет, конечно же, это не он!»

Когда мы поднимались по ступенькам крыльца, я прочитал на вывеске сбоку от двери: «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Крыло”». Прижимая к себе коробку одной рукой, другой я открыл дверь, пропуская Петрова. Вошел, свернул за ним сначала в пахнущий манной кашей и какао коридор, а потом в спортзал — и чуть не оглох от внезапного крика и визга детишек от восьми до пятнадцати лет, одетых в спортивную форму, мгновенно облепивших Петрова, так что он наверняка бы выронил торты, если бы их со смехом ловко не подхватила подросшая молоденькая девушка в белой футболке и черных леггинсах. Она поставила торты на низкую длинную скамейку у стены, а я положил рядом коробку; девушка сразу открыла ее, и я увидел, что коробка плотно набита конфетами в целлофановых пакетиках.

Дети, окружив Петрова, смеялись, тормозили его и спрашивали, будет ли он с ними сегодня играть, а он отвечал:

— К сожалению, нет, ребята, сегодня — нет. Послезавтра буду, в субботу...

— А к директору зайдете? — спросила девушка.

— Нет-нет, Валя, спешим, — быстро говорил Петров. — Передавай привет Светлане Ивановне, а мы помчались!

И на прощанье крикнул детям, перекрывая их гомон, точь-в-точь как грохот прессов в нашем корпусе:

— До свидания, ребята!

Аккуратно выбравшись из их кольца, он пошел к выходу, а я — за ним, и только у двери, оборачиваясь ко мне, он начал тихо и быстро говорить:

— Это не сироты, у них есть родители, но они в таки-их обстоятельствах! Поначалу это заведение так и называлось: «центр помощи семьям, оказавшимся в трудных ситуациях». Тут есть детишки не только из неблагополучных семей. — Он открыл дверь, пропуская меня на улицу, и вышел следом. — Есть всякие... Вот, например, у Жени, у самого старшего паренька, родичи заводские, а завод стоит, им кормить сына нечем, они сюда его и отдали. Или Стасик — такой маленький, белобрысенький, — у него мать учительница, а отец работал телевизионным журналистом на оппозиционном канале. Но канал закрыли, отец работу найти не может, и тоже не потянули — привели Стасика сюда на время. Тут есть даже сын ученых-лингвистов...

Петров рассказывал не умолкая. Получалось, что он вполне словоохотлив.

— Есть тут и дети алкашей, — говорил он, когда мы подошли к «Волге». — Но их немного.

Он замолчал, усаживаясь за руль. Я, садясь на переднее сиденье, поинтересовался:

— И часто здесь бываешь?

— Часто, — кивнул он, трогая машину. — Хочется хоть как-то поддержать детишек. Я их хорошо понимаю. Знаю, что такое казенный дом.

— А что, тоже через это прошел?

Он не ответил, только неподвижно и пристально глядел на дорогу. Теперь это был чрезвычайно неразговорчивый человек.

6.

Второе место, куда мы заехали по пути, находилось километрах в тридцати от города: большое село с крепкими деревянными домами и густыми палисадниками, но тихое и безлюдное, словно вымершее. Ни одного человека не увидели мы, пока ехали по центральной улице. Петров остановил машину возле ухоженного зеленого домика с двумя тонкими полуоблетевшими березками у окон.

— Не через это я прошел, — сказал он, выходя из машины, и у меня возникло ощущение, будто не было этих километров пути и разговор наш не прерывался. — В недалних местах отбывал, — быстро добавил он, направляясь к окну домика.

— Правда? — вырвалось у меня, и я растерянно подумал: «Так что же, это все-таки он?» Ну никак не верилось в такое!

Петров, не отвечая, уже поднял было руку, чтобы постучать в окно, как вдруг отворилась калитка и к нам вышел пожилой сухощавый человек, настолько седой, что казалось, будто его волосы искусственно обесцвечены. Он радушно поздоровался за руку с Петровым и со мной и сказал:

— Не ожидал так рано. Стол еще не готов. Подождете?

— Не можем, Кирилл Степаныч, — ответил Петров. — Мы по пути заскочили, надо лететь дальше. Давайте-ка другой стол вынесем.



— А на обратном-то пути заскочите? А, Леня? Ну заскочите же, заскочите!

Петров чуть подумал и сказал:

— Хорошо.

— Вот и ладно! — обрадовался Кирилл Степанович. — Но только смотри — обещал!

— Когда обещаю — делаю.

— Моя хозяйка вот такого судака вам испечет! — показал руками, как обычно показывают рыболовы, Кирилл Степанович. — Айдайте за столом!

Пока мы входили во двор под лай выскочившей из конуры и зазвеневшей цепью дворняги странного красноватого цвета, а потом шли к сараю, Петров тихо говорил мне:

— Организация, с которой я контакту, помогает тем, кто за чертой бедности, а Кирилл Степаныч состоит в ней...

Вновь он был разговорчив и не умолкал, пока мы шли в сарай, где стоял длинный деревянный стол, как видно, предназначенный для столярных работ. Мы вынесли его на улицу через ворота, которые открыл Кирилл Степанович, поставили у дороги, и Петров стал вынимать из багажника и с заднего сиденья «Волги» мешки и коробки и класть их на стол. В мешках оказалась детская одежда, а в коробках — детская обувь и книги. Кирилл Степанович все это раскладывал на столе, удивляясь:

— Много же ты в этот раз насобирал!

— Уже не только я собирал, — отвечал Петров. — Помогали молодые. Да люди и сами приносят, мы же даем объявления...

— Так, ну хватит, хватит, — сказал Кирилл Степанович, когда на столе было порядком всего. — Остальное завтра отвезу в Калину и Студеное. Давайте унесем...

И мы втроем отнесли оставшиеся мешки и коробки в расположенный во дворе гараж и уложили их в белую «Ниву». А когда вернулись, у стола, к моему удивлению, уже стояли две женщины, одна деловито просматривала одежду, другая примеряла зимние сапожки девочке лет пяти. Они это делали ничего не замечая вокруг. Подбежал мальчонка, стал быстро просматривать книги; я думал, выберет что-нибудь детское или приключенческое, но он взял «Войну и мир», первые два тома в одной толстой книге, и быстро ушел. Из безлюдного село быстро превращалось в людное: к столу подходили со всех сторон и молча, сосредоточенно принимались выбирать что-нибудь для себя.

Петров о чем-то поговорил с Кириллом Степановичем и сказал мне:

— Ну, вперед! Теперь — до пункта назначения.

Когда мы сели в машину и поехали, он опять превратился в молчуна.

7.

Пунктом назначения был районный центр, точнее православный храм, куда и везли мы нашу «епархиальную продукцию». Он оказался



старым бревенчатым зданием, на крыше которого сверкала золоченая маковка с крестом. Внутри шла какая-то служба, и надо было подождать. Я предложил пойти куда-нибудь перекусить.

— А про судака ты забыл? — возразил Петров. — Может, лучше потерпим, а потом у Степаньча заправимся как надо?

— Хорошо, — согласился я. — Пойдем тогда где-нибудь сядем. А то в машине жарко.

По соседству мы нашли дворик, прилегающий к бараку, и расположились в нем — на скамейке возле песочницы с грибком, раскрашенным под мухомор. Земля была сплошь покрыта муравой, и в ней от обоих входов барака расходились узкие тропинки. Солнце в безоблачном небе поднялось высоко и ласково грело. Воздух здесь был чистый, сельский; в нем то и дело, вспыхивая крохотными искорками, проплывали паутинки. Хотелось закурить, но я решил потерпеть. После некоторого молчания Петров сказал:

— Да, правда. Отбывал.

Я вздрогнул от неожиданности, и у меня вновь возникло ощущение, будто наш краткий диалог у дома Кирилла Степановича был прерван вот только что и не было ничего между тем моим импульсивно вырвавшимся вопросом и этим его ответом. Я смотрел на него в ожидании, а он сидел молча, согнувшись, положив руки на колени, глядя вниз и поигрывая желваками на скулах. От него приятно пахло одеколоном, синий костюм искрил на солнце нитяными блестками, все так же переливались на свету и его кудри. Он молчал долго, и я решил, что, наверное, уже ничего и не скажет, перевел взгляд на проезжую улочку за бараком и стал думать, как же мне усовершенствовать проблемный штамп на вытяжку баночек из листовой стали.

Но Петров снова заговорил, и я прервал свои мысли и стал слушать. И чуть ли не с первых слов понял, что все мои сомнения были напрасны: это не кто-нибудь, а тот самый Петров, которого я так и не увидел в зоне работающих. Меня он явно не помнил, да и вряд ли, подумалось мне, мог вспомнить: слишком много нелегких событий было в его жизни после того нашего мимолетного знакомства. Он говорил без остановки, рассказывал о себе так же легко и просто, как в тот день, когда катил рядом со мной тележку с накидной гайкой.

И вот что я узнал.

В колонии строгого режима, куда его увезли из нашей зоны, он отбыл до звонка, а потом было еще три срока: один за продуктовый ларек, который он в одиночку взломал в самое, как он сказал, воровское время, под утро, второй — за пьяную драку на свадьбе одноклассника, и третий — за разбойное нападение в составе преступной группы. В общей сложности Петров отсидел девятнадцать лет, если считать последние два года, которые провел не в колонии строгого режима, а в колонии-поселении, куда его перевели «за примерное поведение».

Внутренний переворот, подобный тому, который изменил древнерусского Автиана, произошел в Петрове перед последним сроком, хотя за-



вершение этого переворота следует отнести, я думаю, примерно к середине последнего, когда он уже в полную силу размышлял о своем прошлом и о себе, — к чему и близко не подошел после первой отсидки, в те времена думая лишь о том, что глупо сидеть четыре года за такую мелочь, как ларек, в котором он ничего, кроме газировки, папирос «Беломорканал» да печенья с конфетами «дунькина радость», не обнаружил, и надо искать что-то посолидней: пусть это будет риск получить десятку, главное, чтобы навару было побольше, чтобы хватило его на долгую легкую жизнь. Пока сидел за ларек, он искал это «что-то посолидней» с той активностью, которая всегда дает ожидаемый результат; и, разумеется, нашел: лихие ребята, освобожденные немного раньше него, дали ему адреса, и вскоре после своего собственного выхода на волю он уже готовился идти с ними на дело. Да не успел, ибо как раз тогда одноклассник пригласил его на свадьбу, которую он помнил в ее разгаре, а потом отключился — и открыл глаза в тюремной камере, по сути неживым, с чугунной головой. И даже после того, как мало-помалу пришел в себя и головная боль унялась, не мог вспомнить, что случилось на свадьбе, и потому ни на один вопрос следователя и адвоката ответить не мог и только поражался показаниям свидетелей, из коих следовало, что он учинил грандиозный скандал с дракой, разогнав чуть не всех гостей — около сотни человек. Правда, ни одного из них не было среди потерпевших — в суд подала администрация ресторана, а на судебном заседании его одноклассник и родственники как со стороны жениха, так и невесты выступали в защиту Петрова. Но два года с иском на возмещение ущерба ресторану он все-таки получил. Одноклассник сказал ему там же, в зале суда, после оглашения приговора: «Я сам ничего не могу понять. Тебя явно подставили». И потом писал ему в зону о своих догадках, приводя массу вспомнившихся деталей, и вот из них, вкупе со свидетельскими показаниями, Петров постепенно не только восстановил картину происшедшего, но и точно определил, кто именно его подставил. А это был знакомый ему с детства Туповцев, учившийся с ним в одной школе: он вроде как приударял за одной девчушкой, тоже из их школы, но младше лет на пять, которая на свадьбе откликнулась на вспыхнувшую к ней симпатию Петрова; отсюда и проистекало все последующее: превращение шампанского, налитого в его бокал, в одуряющую смесь, придирки к Петрову после того, как бокал был им опустошен, выпихивание его, уже невменяемого, в эпицентр заварухи, возникшей среди танцующих с подачи Туповцева...

Найти его после отсидки не представляло для Петрова никакого труда, вопрос был только в том, каким образом с ним рассчитаться. Петров думал об этом, пока сидел, и придумал: встретиться с Туповцевым как бы случайно, войти в доверие, пойти с ним и с двумя какими-нибудь подружками в ресторан, там незаметно бросить ему в бокал соответствующее средство и точно так же подставить, чтобы оттуда его увезли напрямик в камеру. Баш на баш. И это было выполнимо. Петров собирался проверить все это не в одиночку, а с помощниками, которые должны были стать свидетелями. И как только освободился, сразу взялся за осуществление своего плана: нашел двух подружек и двоих помощников, раздобыл оду-

ряющее средство, встретился с Туповцевым и договорился с ним отметить в ресторане свое возвращение. И все могло пройти без сучка без задоринки, если бы не вмешалось то, чего раньше в жизни Петрова не было и в помине: он, сам не зная почему, начал задумываться о человеке, в частности о его вероломстве (думаю, это можно назвать предтечей внутреннего переворота, точнее — его зародышем), и в самый последний момент, когда оставалось назначить день и время встречи в ресторане, ему вдруг все это стало до того противно (как вообще и бывает у людей не пустых и не глупых), что он решил плюнуть на все и забыть. И не стал назначать встречу. А самым правильным из всего, что пришло Петрову в голову, он посчитал необходимость установить для себя сухой закон: никогда ничего, кроме, как он сказал, «капканов да конских отходов», он от спиртного не имел. Сыграли свою роль и сомнения в том, что все пройдет гладко; позже он понял, что и не прошло бы, что наверняка в очередной раз сказала бы невысокая степень его везучести, тем более что ситуация вынудила бы его выпить, а там подвела бы какая-нибудь деталюшка, потащила бы за собой цепь неувязок — и в результате он, скорей всего, опять оказался бы крайним и угодил в зону. А возвращаться туда ему уже категорически не хотелось.

8.

Петров стал искать работу и нашел место — не без труда, конечно, поскольку с такой биографией почти никуда не брали, — но в ту организацию (неважно, сказал он, в какую) никто особо не рвался из-за малой зарплаты, и его приняли водителем легковушки. Он возил начальника электроцеха; езды была уйма, поскольку у той организации по всему городу разбросаны отделения, зато вскоре почувствовал то, чего не успел почувствовать в ранней молодости, когда возил главного инженера железобетонного завода: вкус к этой работе. И в той-то организации он познакомился с человеком, не просто повлиявшим на всю его дальнейшую жизнь, а фактически ставшим главной движущей силой его внутреннего переворота.

Человек этот работал заместителем Катова, начальника электроцеха, которого возил Петров. Его звали Иван Тимофеевич Скоромников, и Петрову очень трудно было о нем говорить, потому что, как он сказал, вряд ли есть на свете такие слова, которыми можно «вполне описать его по всей правде». Он сразу показался Петрову необыкновенным, в нем было что-то такое, отчего, увидев его, можно было и засмеяться, и удивиться этой его необыкновенности, а может, даже и загрустить от тайной мыслишки: «Как же вот так-то, почему я-то не такой?» — но уж это у кого как, говорил Петров, все могут по-разному воспринять, и есть такие, которым подобное только неприятно, но о таких, добавил он, не стоит и говорить. Сам же Петров не то чтобы удивился, когда первый раз увидел Скоромникова, и не засмеялся (хотя ему все-таки было немного смешно), а его как бы слегка ошарашило чуть ли не детское выражение лица,



ясненькие прозрачные глаза и в них чистейший наивняк; хоть и был Скоромников немолод, ему перевалило за полтинник, но даже в его прическе, в челочке набок светло-русых волос было что-то детское. Странно, но он как-то сразу расположил к себе Петрова, заставил того присматриваться к нему. Особенно после того, как один электрик рассказал слышанное от самого Скоромникова: как он работал зубным врачом в дальних от нас теплых краях (сразу после школы Скоромников окончил медицинское училище и только лет через десять — заочно электротехнический институт) и там в конце каждого приемного дня, выйдя из стоматологического кабинета, обнаруживал в карманах своего белого халата полным-полно денег — и сразу уносил их и отдавал главврачу. Рассказывая об этом, электрик смеялся. Петрову же было не смешно — наоборот, он слушал серьезно и задумчиво, а потом стал не только еще внимательнее приглядываться к Скоромникову, но и часто и подолгу разговаривать с ним. И ему все неприятней становились, как он сказал, «наезды» на Скоромникова начальника электроцеха Катова — наезды, которые Петров с самого начала не мог переносить спокойно: много всякого повидал в жизни, чертову тучу видел чего и похуже, но не было никогда, чтобы вот так вот задевало.

— Прикинь, — говорил он мне, — из-за какого-нибудь порожняка орет на Тимофеича во всю глотку, нозит че ни попадая... ну то есть оскорбляет его по-всякому! А Тимофеич сидит молча, слушает, а потом смиренно так говорит: «Виноват, понимаю». Хоть и не виноват, я же вижу!

Обычно это происходило в электроцехе, где Петрову приходилось сидеть в ожидании поездки, но случалось и в машине, если он вез и Катова, и Скоромникова. И один раз, когда вез обоих и Катов опять сорвался и заорал на Скоромникова, Петров не выдержал, остановил легковушку, выскочил, обежал ее, открыл дверцу, выдернул Катова за воротник наружу, прижал к задней дверце и рубанул:

— Кончай борзеть!

Он понимал, что это грозит ему увольнением, но не боялся, и когда у Катова «полезли на лоб шары», заорал на него точно так же, как тот только что орал на Скоромникова:

— Ты с себя спрашивай! Сам на постоянку все лажаешь, а другим — скандал! Ты хоть разберись...

И так далее. А из машины слышался стук по стеклу задней дверцы, которую невозможно было открыть изнутри, потому что Катов был к ней прижат очень плотно. Это стучал Скоромников, он глядел на Петрова просяще и показывал жестами: мол, не надо, успокойся!

— Да ты-то с какого тут боку? — сдавленно проговорил Катов с красным от натуги лицом: он все силился освободиться от рук Петрова, державших его за грудки. — Ты-то что за него вступаешься? Кто он тебе?

И Петров разгоряченно выкрикнул:

— *Брат мой!*

И отпустил Катова, и тот смотрел на него застыло, так и влипнув в заднюю дверцу, а потом, медленно отлипнув, открыл ее и, заглядывая в машину, спросил Скоромникова:

— Правда, что ли? Ты ему брат?

И Скоромников, глядя на Катова своим наивным, светлым и чистым взглядом, подтверждающе кивнул.

Катов с протяжным вздохом поправил воротник и с досадой сказал Петрову:

— Не мог, что ли, миром предупредить? — и, не дожидаясь ответа, протянул руку: — Ну ладно, держи... — А когда Петров ее пожимал, добавил: — Жаль, у меня нет такого брата, некому защитит от долбежки сверху... — и посмотрел на Скоромникова: — Ты, Тимофеич, не сердчай. Я что-то, правда, из границ выхожу и за собой не замечаю... а надо замечать... Р-работа, мать ее!.. Прости, не повторится. Ну все, поехали...

После того случая Скоромникова долго одолевало беспокойство за Петрова, он все спрашивал его:

— Как там у тебя, Леня? Не теребят из-за меня?

А Петров спрашивал в ответ:

— А у тебя как? Начальник не наезжает?

— Да нет, нет! Больше нет! — отвечал Скоромников. — Его как подменили! — И снова допытывался с беспокойством: — А у тебя-то, у тебя как?

Петров говорил со смехом:

— Да все нормально! Репрессий нет!

Один раз спросил:

— А что ж ты, Тимофеич, лжесвидетельствовал тогда?

— Как? — удивился Скоромников.

— Ну, поддакнул мне, что ты брат мой.

— А это не ложь, — просто сказал Скоромников. — Это так и есть на самом деле.

Петров в свою очередь удивился, потом подумал-подумал и сказал с изумлением:

— А прав ты, дорогой...

И глядя в глаза Скоромникова, почувствовал вдруг, как становится ему очень и очень хорошо, очень спокойно, радостно — потому что ощутил он в себе то, чего никогда не ощущал: поистине братское чувство к этому человеку, — и сразу понял, что пришло-то оно от Скоромникова, а сам он попросту заразился им, и это то, что неизмеримо важнее всего, казавшегося ему доселе главным в жизни. И после работы в тот день он не поехал из электроцеха в гараж, а подождал, когда Скоромников выйдет из здания и направится к автобусной остановке; подъехал к нему, открыл дверцу, чуть не силой усадил его рядом с собой (тот упирался, не хотел использовать служебный транспорт в личных целях, и пришлось Петрову пообещать, что это в первый и последний раз) и довез до дому, по пути с удовольствием разговаривая с ним о всякой всячине («за жизнь», так это называл Петров, а жизнь Скоромников, как и людей, знал превосходно). И тогда же, прощаясь с Петровым у подъезда, Скоромников пригласил его в субботу к себе в гости.



9.

В субботу Петров в радостном волнении долго и тщательно готовился в комнате общежития (его родители, пока он сидел, умерли, и комната в бараке отошла государству), и двое его соседей, молодых коллег-шоферов, насмешливо наблюдали за ним, то и дело стреляя в него разными шпильками:

— Ты галстук-то погладь!

— Припудри порез от бритвы!

— Да не лей ты на себя столько «Красной Москвы», подруга подойти не сможет!

И наконец, когда он был готов:

— Теперь тебе только букета не хватает!

На что Петров ответил:

— А вот за это спасибо!

И по пути купил букет роз, а еще торт, и, когда пришел к Скоромникову, вызвал шок и у него, и у его жены.

Никогда еще не было, чтобы его принимали с такой теплотой, так приветливо и доброжелательно! Он попал в прямо-таки фантастическую атмосферу и в некотором даже опьянении разглядывал квартиру с предельно, до аскетизма простой обстановкой: большую часть ее занимали книжные шкафы, в которых ничего уместить уже было невозможно, и потому книги стояли аккуратными стопками и на шкафах; а кроме этих шкафов была только самая необходимая мебель да несколько картин местных художников, подаренных жене Скоромникова, хорошо известной в культурных кругах города: она была доктором филологических наук и профессором педуниверситета, преподавала русскую литературу девятнадцатого века. У них со Скоромниковым был редкий брак, если только вообще есть еще в мире такие браки, но вряд ли правильно назвать его странным, скорей наоборот, он был не только закономерным, но где-то и прагматичным, если этим понятием обозначать неукоснительное следование в жизни своим принципам и умение ждать, когда в ней встретится единственно необходимое, *свое*. И они оба ждали — ждали любви; и дождались, жизнь соединила их, но произошло это, когда Скоромникову исполнилось сорок два года, а его жене, Елене Ивановне, пятьдесят семь, и поэтому в тот момент, когда к ним в гости пришел Петров, она выглядела сухонькой седенькой старушкой, глядя на которую можно было подумать, что молоджавому пятидесятитрехлетнему Скоромникову она приходится мамой. Но Петров так не подумал, он сразу понял, кто она для Тимофеича — и по тому, как тот смотрел на нее, и по юному блеску в глазах Елены Ивановны, и по ее очень молодой — молодостью напоенной улыбке, когда она, принимая розы, окунулась лицом в их душистую алую свежесть и растроганно проговорила:

— Это мои любимые цветы... «Где наша роза... вот жизни радость...» Спасибо!..

В общем, атмосфера дома Скоромниковых была для Петрова именно фантастической, и это выражалось прежде всего в тех чувствах, какие она вызывала в нем и каких тоже никогда в жизни его еще не было, если не считать тех малых крох, что достались от родителей, когда он, как говорится, под стол пешком ходил, а то и еще раньше, в пеленочную пору. Эти давние образы ускользали, едва возникнув, когда он, напрягая память, пытался вызвать их в воображении; и, по сути, нисколько не сохранилось в его душе тех отрадных ощущений, которые должен оставлять родительский дом. А львиная доля фантастичности атмосферы жилища Скоромниковых для Петрова как раз и выпадала на эти самые ощущения, оправданные и по жизни, ведь Иван Тимофеевич в отцы ему годился, разница в возрасте между ними составляла почти двадцать лет; и Петров, начиная с той субботы, с веселого безалкогольного застолья, игры в карты, просмотра старой комедии по телевизору и долгого разговора за жизнь, воспринимал дом Скоромниковых именно как родительский. Это ощущение укреплялось в нем по мере того, как Тимофееч вновь и вновь приглашал его к себе, а нередко уже и сам приходил к нему в общежитие попить чайку и поговорить, так что со временем отпала и необходимость приглашать, как отпали и сами приглашения, и все свелось к предельно простому и самому важному в истинно родственных отношениях: «Приходи в любое время, тебе всегда будут рады». И Петров приходил — приходил часто, приходил уже и не один, а с Викторией, заведующей отделом музыкальных инструментов торгового комплекса, с которой познакомился, помогая соседу по комнате выбрать гитару, и с которой у них намечалось все по-серьезному. Скоромников ему даже как-то шепнул, что они с Еленой Ивановной готовы быть у него на свадьбе свидетелями, на что Петров ответил: кроме них в этом качестве никого и не мыслит.

В результате вроде бы начисто выветрилось из него то, о чем помышлял он прежде: во всяком случае, сразу наотрез отказался идти на дело с разыскавшими его крутыми ребятами, теми самыми, с которыми законтачил в расчете на «что-то посолидней», когда сидел за ларек. Они настаивать не стали, но подробно рассказали о том, как прошло то дело, на которое он не смог пойти с ними из-за подставы на свадьбе, а оно прошло безукоризненно, осталось нераскрытым, куш взяли такой, что до сих пор не могут потратить; а то дело, на которое собираются идти сейчас, оно точь-в-точь такое же беспроегрышное, и предлагают они ему только из уважения. Но Петров все равно не согласился. Они сказали, что уважают и это его решение, но добавили: если он вдруг передумает, то может звонить им, отказа не будет. На том и расстались.

10.

И все бы шло хорошо у Петрова, если бы не перестроечные перемены в стране, вызвавшие вслед за порывом свежего ветра надежды — шквал разочарования и гнева с протестными акциями, в которых очень



неосмотрительно и совершенно напрасно, как считал Петров, взялся участвовать Скоромников. Отговорить его Петров не мог, сколько ни пытался, да и где ему было, если уж не смогла этого Елена Ивановна; Тимофеич неудержимо рвался «на гребень битвы», считая себя обязанным быть, как он говорил, «с народом в борьбе за отстаивание его прав», — и Петрову ничего не оставалось, кроме как ходить вместе с ним на эти акции, где Скоромников иной раз даже выступал у микрофона перед собравшимися, хоть и не обладал особыми ораторскими данными. И говорил он не очень-то складно, и голос у него был негромкий, но его всегда внимательно слушали и соглашались, нередко аплодируя, — значит, даром убеждения обладал, да и мысли всегда высказывал интересные, оригинальные. Он, может, выступил бы и на той акции, что стала для него роковой, — а была она неимоверно массовой в силу важности проблемы, которую пытались в свою пользу решить многотысячеголовое море, — да-да, возможно, и выступил бы, если бы море это не взбурлило вдруг в одной точке, куда сразу устремились окаймлявшие его люди в черной форме и касках, с металлическими щитами и резиновыми дубинами, и не началось то, что в памяти Петрова осталось чем-то похожим на картину художника-абстракциониста: сумбурное движение разноцветных пятен, линий, мятущихся теней с мгновенно появлявшимися и тут же исчезающими лицами, спинами, руками, воздетыми к небу, уже не ясному, потому как оно быстро затягивалось белой дымкой, — и все это в каком-то шипающем в нос уксусном запахе, в чем-то остро щиплющем глаза, в реве толпы, вое сирен, криках и воплях... Петрова отбросило от Скоромникова, а потом он на какое-то время отключился — наверное, ненадолго, потому что ничего не изменилось, когда он, лежа навзничь, открыл глаза: все так же металась по сторонам тени на фоне почти уже невидимого за белой пеленой неба; мимо него пробегали в обе стороны, иногда через него перешагивали, а кто-то и наступил на него, и он сразу вскочил, вспомнил о главном и стал смотреть вокруг, выискивая Скоромникова среди ползающих, кашляющих, надрывно кричащих людей, и, прежде чем нашел его метрах в пятнадцати от себя, пару раз схлопотал по спине резиновой дубиной из-за того, что не отреагировал на злобный крик прямо в ухо: «Убирайся отсюда! Беги!»

Но Петров побежал только после того, как нашел Тимофеича. Тот лежал на боку, раскинув руки, а ноги были согнуты так, словно в этот миг он через что-то перепрыгивал; светло-русые волосы в крови, и струйка крови пересекала щеку. Петров упал перед ним на колени, бережно потрогал за плечо: «Тимофеич, ты жив?» Но он все так же неподвижно лежал с закрытыми глазами, и только левое веко дрогнуло; Петров поднял его с асфальта, взвалил на плечо и побежал в сильно поредевшей толпе, медленно и тяжело, как бегают грузные люди, но тяжести не ощущая и только внимательно глядя по сторонам, чтобы, не дай бог, не нарваться на какого-нибудь бойца с дубиной и не быть сбитым с ног кем-нибудь из обезумевших участников акции, а главное — найти необходимую помощь для Тимофеича. И он ее нашел, прибежав на бульвар, где, окруженные

людьми, стояли несколько машин «скорой», уже набитые пострадавшими, но ему не понадобилось никого уговаривать взять Тимофеича: того, как тяжелораненого, приняли сразу. Для Петрова места в машине не хватило, ему пришлось ехать в больницу на городском транспорте...

Рассказывая об этом, Петров сильно помрачнел, лицо его осунулось и постарело; видно было, каких усилий стоит ему все это вспоминать, но он говорил — с паузами, с прерывистым дыханием, как после быстрой ходьбы, и все кусал губы, то и дело взлохмачивал волосы, тербил пальцами подбородок и потирал рваный шрам под нижней губой. Да и меня его рассказ взволновал не на шутку, и я все-таки не выдержал — закурил и сидел, затягиваясь сигаретой, стряхивая пепел в свою карманную пепельницу с крышечкой, и слушал внимательно, временами с натугой сглатывая — не от табачной горечи, а от чего-то другого, горячего и едкого, подступавшего к горлу. А Петров рассказывал, как сидел у двери операционной в ожидании и несколько раз порывался встать и пойти к телефону-автомату, чтобы позвонить Елене Ивановне, но всякий раз удерживал себя, боясь, что ей станет плохо, и только под утро, когда хирург устало сказал ему, что Тимофеич в сознание так и не пришел, он позвонил ей. Ответа не было, и он решил, что она спит, и только днем узнал, что в больнице нашлись какие-то ее знакомые, они позвонили ей, как раз когда Петров сидел у операционной, и обо всем рассказали. С ней тут же случился сердечный приступ; она успела вызвать по телефону врачей, но когда те приехали, то попасть в квартиру не смогли. На их звонки и стук никто не отзывался, пришлось взломать дверь; Елену Ивановну нашли без признаков жизни, так что Петрову выпало вместе с коллективом педуниверситета принять участие в подготовке похорон и в самих похоронах.

Скоромников ничего об этом не знал и не мог знать — он так и пребывал в бессознательном состоянии. Ему нужна была срочная операция, а поскольку к тому времени наша медицина перешла на платные рельсы — операция дорогостоящая, и Петров, конечно, сразу же стал искать деньги, но взять их ему было негде, кроме как в своей организации; и он пошел в местком — и там откликнулись, выделили максимальную материальную помощь; откликнулись и работники — каждый дал сколько мог, причем собирал деньги начальник электроцеха Катов, но что он мог насобирать при той малой зарплате... В целом получилась лишь мизерная часть от необходимого. А время шло, состояние Тимофеича с каждым днем ухудшалось. И тогда Петров вспомнил о крутых ребятах и позвонил им, и они сказали, что как раз собираются на дело, которое может дать куш поболее тех, что брали раньше. И Петров договорился с ними о встрече. На следующий день кто-то из сочувствующих людей сказал ему, что можно взять кредит в банке и тогда у него будет нужная сумма. Но он отмахнулся, ответив, что нашел выход, и после работы отправился на встречу.

Крутые ребята объяснили, что ему делать. Он должен был встретиться с людьми некой азиатской национальности и договориться об обмене одного чемодана на другой: в одном — в том, который надо взять, — будут лежать деньги, а что в другом — который надо отдать, —

это, мол, не имеет значения. Тебе ведь, Петров, бабки нужны? Ну и все! Иди договаривайся с ними там-то и там-то, только выслушай инструктаж и запомни.

— И я, короче, выслушал и пошел, — рассказывал Петров, уже изрядно распалившись, забываясь и временами переходя на жаргон и эковскую жестикуляцию, когда, например, ребро ладони с оттопыренным вверх большим пальцем рубит воздух, или кисть руки выписывает в воздухе витиеватые жесты, или сложенные плотно указательный и средний пальцы тычут в горло. — Встретились мы с азиатами на площади у банка. Я им давай загонять, что мы сунем свой чемодан в камеру хранения и, когда они отдадут нам свой, скажем номер ячейки и шифр. Они это не хавают. Я говорю: подъезжайте тогда на машине, сделаем обмен...

Они согласились, и вечером того же дня Петров и двое крутых ребят пошли, чтобы обменяться с азиатами плоскими чемоданами-дипломатами и получить за это большие деньги, которые должны спасти Скоромникова. Машина подъехала к краю вокзальной площади, из нее вышли четверо азиатов, в руке одного из них был дипломат; он открыл его, показал пачки долларов и потребовал от Петрова открыть чемоданчик, который тот держал за ручку, но один из крутых ребят сказал, что здесь, во-первых, не место показывать — могут увидеть посторонние, да и потом, добавил он укоризненно, надо ведь доверять друг другу. Но те стояли на своем, и тогда этот крутой неожиданно выхватил у Петрова дипломат (как выяснилось позже, в нем лежала гранитная крошка в полиэтиленовых пакетах — вместо обещанных редкоземельных металлов, якобы похищенных с законсервированного месторождения) и швырнул его в ближнего азиата, а потом бросился на того, что держал дипломат с деньгами, и стал его вырывать, второй же крутой бросился на третьего азиата, крикнув Петрову: «Ну что стоишь?! Работай!» — и Петров рванулся к четвертому, сбил его с ног и сразу стал помогать первому крутому отбирать дипломат у вцепившегося в него железной хваткой азиата, понимая, что главное сейчас — завладеть деньгами и смыться. Но как только они вырвали дипломат с долларами, откуда-то налетела милиция и их повязали. И Петров оказался напрочь отрезанным как от Скоромникова, так и от возможности спасти его.

11.

Дальше он рассказывал, ужасно потемнев лицом, нездоровая багровость напозла на него, а в глазах стояли слезы, и говорил он уже не своим, а каким-то чужим, басовито рыдающим голосом, то и дело дергая воротник рубахи или ударяя кулаком себя в грудь; мне было нетрудно понять его состояние в дни, проведенные в тюремных стенах, когда он каждую минуту думал о том, как умирает Тимофеич, но ничем уже не мог ему помочь.

— Да если б я знал, что все так получится, я б ни за что на это не писанулся! — говорил он, уже по-настоящему рыдая. — Я бы взял кредит в банке!

Понимал я и то, как тяжело было ему пережить пришедшую с воли весть, что Тимофеич скончался. Это на несколько дней погрузило его в полную протрацию, когда он не только не мог есть, спать, ни с кем говорить, но и просто не реагировал ни на что вокруг: лежал неподвижно, скрючившись на своей шконке, как парализованный. Но это-то и стало подлинным началом его внутреннего переворота, потому что именно в те дни, несмотря на внешний ступор, с необычайной живостью заработал его мозг, как нередко случается с людьми, перенесшими сильнейшее жизненное потрясение. И это было уже несопоставимо с теми раздумьями о человеке и его вероломстве, которые ненадолго увлекли его после отсидки за скандал и драку в ресторане, — тут он уже, уткнувшись взглядом в серую стену камеры, думал и думал о себе и о своей жизни в целом.

Сначала его мысли были сумбурны, бессвязны, но в конце концов ему удалось упорядочить их, задавшись вопросом, который направил весь его мыслительный процесс в нужное русло: почему он «писанулся» на криминальное дело, когда все можно было решить не угодив сюда и не потеряв Тимофеича? Только ли потому, что не знал, что все так получится? Нет. Он прекрасно знал, что все может получиться именно так, и когда шел на дело, даже один раз почувствовал острое желание остановиться и повернуть назад, удержала его только боязнь показать себя «копявым» перед крутыми ребятами. Стало быть, пошел он с ними по какой-то другой, куда более глубоко кроющейся в нем причине, и для того, чтобы найти ее, надо понять, с чего все началось, надо найти в своем прошлом тот крохотный ухаб, ту махонькую кочку, о которую он когда-то споткнулся и не сумел удержать жизненного равновесия, а потом все больше и больше терял его — и в конце концов утратил окончательно.

Петров чувствовал: в этих поисках должно помочь то, о чем говорили ему Скоромниковы, — и когда начал вспоминать, то вдруг понял, что их слова для него были не просто информацией, не просто результатом колоссальных знаний Елены Ивановны, почерпнутых из громадного количества книг, заполнявших шкафы, — а это было ненавязчивое и, может, даже неосознанное внушение ему истин, необходимых как раз для обретения когда-то утраченного им жизненного равновесия. Он, неожиданно для себя чуть-чуть повеселев, подумал, что Скоромниковы были для него, помимо всего прочего, еще и учителями, и воспитателями, — и на душе у него отмякло и потеплело, бурчание голосов соседей по камере отдалилось, стало почти неслышным, а вместо стены увидел он сидящих рядышком Тимофеича и Елену Ивановну, в своей любви друг к другу так друг на друга похожих, с любовью глядевших и на него... Благо, память у Петрова всегда была хваткой — запомнилось все, что они говорили, и теперь оставалось только обдумывать их слова и отыскивать в них необходимое, чтобы найти ту кочку, о которую он когда-то споткнулся.

И он ее нашел — благодаря вспомнившемуся высказыванию Елены Ивановны о том, что всегда предпочтительней делать все *в пользу до-*



бра. Эти слова потянули за собой раздумья, что же такое важное впервые в жизни сделал он *не* в пользу добра, и вспомнилось то, о чем никогда не вспоминал и не хотел вспоминать, а если и вспоминалось — отгонял. И вот что это было. Когда он учился в восьмом классе, учительница географии, их классный руководитель, дала ему очень дельный совет, и даже, как понял он теперь, самый дельный совет в его жизни, именно в пользу добра для него: поступить в топографический техникум. Причем она посоветовала ему это не с бухты-барахты, а обратив внимание на то, как красиво и с какой увлеченностью раскрашивал он контурные карты. И он представил, как будет ездить с экспедициями по всей стране, как это будет интересно, и загорелся этим (да он и раньше, читая книги, мечтал о путешествиях!), и после окончания восьмого класса, получив аттестат, действительно подал документы в топографический техникум и даже хорошо сдал первый экзамен. Но перед вторым сделал неправильный выбор — отнюдь не в пользу добра. Нет, можно было, конечно, сходить в рощу на пикничок с одноклассниками, отметить день рождения друга. Но надо же было помнить об экзамене, надо было удержать то самое равновесие! А он не удержал: очнулся на следующий день — именно очнулся! — в той роще, когда солнце стояло высоко, одноклассники заново разводили костер, а экзамен остался позади, почему и пошли потом все эти метания: крановщик, водитель, сварщик...

Был ли он уверен, что если бы стал топографом, то пребывал бы в равновесии всегда и не опустился бы до преступлений? Сначала не был, но, поразмыслив, пришел к выводу, что погруженность с головой в профессию по душе держала бы его всегда в норме, однозначно. Он бы завел семью, женившись на коллеге: во время первого экзамена познакомился с несколькими поступавшими вместе с ним девушками и одна ему очень понравилась; да и тот внутренний запал, желание пойти в эту профессию, иссяк не скоро, и он жалел теперь, что второй раз надумал поступать в топографический техникум не на следующий год, а позже, когда у него уже была судимость, из-за которой даже документы не приняли...

Так вот, подумал Петров, где засела в его прошлом та кочка, за которую он споткнулся и потом летел всю жизнь, все больше теряя равновесие — вплоть до последнего времени: ведь и афера с азиатами, и ограбление ларька, и кража винограда — это все следствия выбора, сделанного им в роще накануне экзамена, когда он мог просто встать и пойти домой, даже пытался это сделать, и не раз, но его останавливали, уговаривали остаться, и он не ушел. Значит, все случилось так в его жизни всего лишь из-за того, что однажды он дал слабину. Поразительно, от каких пустяков может зависеть судьба!

В нем вспыхнула дикая ярость на самого себя от мысли, что тогда, в роще, он мог все решить для себя в пользу добра — гигантского, всеохватного, — а решил в пользу зла — ничтожного, способного только разрушать, а потом поддавался злу еще более разрушительному, и все оттого, что не мог найти места, где чувствовал бы себя в своей тарелке,



где мог бы остаться навсегда. Он вспомнил свое «начало» — тот случай перед первым сроком, когда в поисках работы зашел в какую-то организацию, прошелся по темному коридору, заглянул в кабинет, а там никого не было, и он, увидев стоящий на столе телефонный аппарат, толком ничего не соображая, отсоединил провод, сунул аппарат себе под куртку и ушел, никем не замеченный, с сильно колотящимся сердцем и дрожью в ногах, а потом продал этот аппарат одному из тех мужиков, что торгуют на базарчике всякой всячиной, разложенной на расстеленных по земле кусках материи или картона. Потом были другие эпизоды, и уже не так сильно колотилось сердце и меньше дрожали ноги, и чем дальше, тем спокойней и уверенней Петров чувствовал себя; но все это, понял он теперь, никак не могло пройти для него бесследно, потому что зло укреплялось в нем, становилось привычным, накрепко с ним срастаясь. И вот оно-то и подтолкнуло его в самый важный момент к выбору не в пользу добра — и он пошел с крутыми ребятами, когда уже знал, что можно взять кредит. Единственное, понял он, что могло ему в тот момент помочь сделать правильный выбор, — это отсутствие зла в нем; и ему стало ясно как день: вычисти он из себя его раньше, избавься от него полностью, все было бы как надо — он бы не торчал сейчас в камере, а Тимофеич был бы жив! Его пронзило, как молнией, сильнейшей болью, он даже вскочил и прошелся туда-сюда под недоуменными взглядами сокамерников, а потом снова лег лицом к стене и лежал с клокочущей в нем яростью и растущим отчаянием, чувствуя себя в тупике.

Но ум работал по-прежнему живо, и простая спасительная мысль пришла скоро: жизни-то впереди еще ой-ей сколько, не глупо ли думать в тридцать пять лет, что она кончена? Как ни крути, а жить дальше надо, но — упаси бог продолжать жить, как раньше, вот так пустоголово, с черным нутром; избави бог быть в зависимости от угнездившегося внутри зла, от той грязи, которой позволил в себе накопиться! И раз не вычистил ее из себя раньше, надо это сделать сейчас!

И вот тогда-то началась мучительная, медленная и долгая внутренняя работа. Правда, не сразу. К ней еще надо было подступиться, ведь душа — не какая-то там емкость, не помещение, из которого взял да выбросил все ненужное. Сначала надо было найти способ ее очищения. Петров опять вспоминал то, что говорили ему Скоромниковы, опять напряженно думал и в конце концов понял: прежде всего надо во всем признаться самому себе, сказать правду о своем зле — и о том, которое в нем накапливалось, и о том, которое он причинял людям; иначе говоря — нужна исповедь перед самим собой, *самоисповедь*, причем — исчерпывающая, в которой будет учтено все до последних мелочей, начиная с той первой кочки, с той рожи. Ну а потом уже все должно пойти последовательно по пути самоочищения, через *самопокаяние* с беспощадным признанием себе самому, какое именно есть в нем зло и какое зло причинил он людям — с последующим полным, бескомпромиссным отрицанием и уничтожением всего этого зла.



Он взялся за эту сложнейшую внутреннюю работу, никому не заметную, для всех невидимую, — хотя если бы кто-то взглянул в лицо Петрова в тот момент, когда он продолжал лежать, глядя на стену тюремной камеры, то мог бы поразиться внезапным переменам в нем: его необычайной просветленности, свету, ярко замерцавшему в глазах, и улыбке на губах, спокойной, отрешенной и мягкой, отчасти даже радостной. Впрочем, улыбка эта временами исчезала из-за накатывающей хандры, когда память наталкивалась на что-нибудь крайне болезненное, а то и просто невыносимое для совести, но он не отворачивался, не уклонялся от этого, а наоборот, чувствуя, что для очищения необходимо как можно сильнее прочувствовать весь этот «стрем», натурально истязал себя, как он сказал, «каленным железом совести, дыбой стыда и жалости» — для полного грядущего излечения. Эта работа продолжалась даже во сне, тем более не прекращаясь вне стен камеры, когда Петров с такой же спокойной и отрешенной улыбкой сидел перед следователем, не говоря ни слова, и только когда тот, допрашивая его, терял терпение и начинал орать, прикладывая палец к губам и полусшепотом просил: «Тс-с!.. Не мешайте мне...» Следователю пришлось отправить его к психиатру для проверки на вменяемость. Там все разрешилось очень быстро, стоило только психиатру без обиняков выдать:

— Мне сказали, ты сошел с ума. Я должен выяснить, так ли это.

Посмотрев на психиатра ясным и абсолютно осмысленным взглядом, Петров ответил с мягкой улыбкой:

— Если из нас двоих кто-то и сошел с ума, то не я.

Его тут же вернули в камеру, но и после этого следователь ничего от него не добился. И на суде он сидел с той же улыбкой на губах, казалось, ничего не видя и не слыша, во всяком случае, ни на один из вопросов не ответил и ни разу не посмотрел ни на кого из тех, кто их задавал. А когда, уже в ранге осужденного, его привезли в колонию, огорошил начальника отряда вопросом, который задал, словно выйдя из забытья: «Скажите, а какой мне дали срок?» Услышав ответ, удивился и сказал: «Да? Я думал, больше дадут». Отрядник засмеялся, приняв это за шутку, и отправил Петрова в цех. Там начальник, познакомившись с его биографией, неуверенно, явно ожидая отказа и конфликта, результатом которого должно было стать водворение новоприбывшего в штрафной изолятор, дал ему работу штамповщика и с большим удивлением посмотрел на него, когда вместо отказа встретил спокойное и даже благодарное согласие, а потом, когда Петров выходил из кабинета, сказал вольному мастеру: «Похоже, он отошел от блатных. Значит, будет работать». Но он не понимал, что дал Петрову не просто работу, а работу, лучше которой тот и желать не мог, потому что, выполняя ее, можно было думать.

Тут надо отметить, что, как только Петрова поместили в колонию, он сразу написал Виктории письмо с просьбой забыть его и с пожеланием счастья. Она не ответила, и он был этому рад.

Итак, он получил работу, во время которой можно было думать — пусть в грохоте, к нему он быстро привык, но — думать, а главное — в этом однообразном и монотонном процессе непрерывного укладывания пинцетом листовых заготовок в нижний штамп продолжался процесс его внутренней работы, ушедший с тех пор, как Петров взялся за него, далеко вперед. И если в Петрове еще и оставалось зло, то лишь в виде мелких частиц, которые зримо представлялись ему чем-то похожим на кляксы черной туши на белой бумаге, которые он как бы щелчками изгонял из себя усилием воли; и уже все пространство его души, вычищенное от грязи зла, заполняло золото добра — добра деятельного, которое хотелось реализовывать в делах. Внутренне он словно поднимался на все большую и большую высоту, как когда-то под крики и смех зэков взбирался вверх по сетке-рабице, и эта высота давала ощущение и огромной силы, и большой радости, тем более что он уже выработал для себя четкие установки на дальнейшую жизнь, и они были просты, как все незыблемое: отказаться от причинения кому-либо даже малейшего зла, нести в мир только добро, не отвечать на зло злом.

Все это не могло не сказываться на внешней стороне его жизни, в которой главным теперь для него была занятость делом; и он освоил работу на всех прессах штамповочного участка, стал лучшим штамповщиком, хоть и не стремился к этому, просто работал с интересом, сумел даже внести несколько рацпредложений по усовершенствованию штампов; его уважали работяги и руководители производства, что сопровождалось недовольством со стороны «отрицаловки», но, поскольку предъявить ему было нечего, его не трогали. Он дважды отказывался стать мастером из осужденных на штамповочном участке, поскольку эта работа малопригодна для раздумий о личном, и только когда почувствовал, что внутренний переворот в общем-то завершен, согласился и около года «отмастерил». («Так вот откуда, — подумалось мне, — его умение договариваться с людьми, которое так ценит в нем Виталий Антонов».)

А потом отрядник представил Петрова «на поселок», и его отправили в далекую колонию-поселение, где он стал работать водителем грузовика. Это уже была свобода, позволявшая ему осуществлять свое деятельное добро с гораздо большим размахом, и не было в таежном поселке, расположенном рядом с их колонией, ни одной старушки, которой он не привез бы и не наколот дров, не натаскал воды, не отремонтировал крышу или не сделал что-нибудь по дому; и во всех этих делах он все больше убеждался в правоте Скоромникова, который, цитируя Аристотеля, говорил ему, что делать людям приятное — большое удовольствие.

И как-то само собой, тоже на почве постоянной помощи, завязалось у него хорошее знакомство с Мариной, молодой медсестрой, матерью-одиночкой с пятилетним сыном, муж-лесоруб которой погиб в запоях. Она лечила Петрова от ожогов после случая, когда он вез на грузовике продукты из райцентра к себе в поселение и на дороге увидел загоревшийся





из-за чего-то автобус с людьми. Двое сопровождавших его милиционеров выскочили из своей машины и стали колотить по стеклам, тщетно пытаясь их разбить; Петров, остановив грузовик, выхватил из-под сиденья монтировку и молоток, выпрыгнул из кабины, подбежал к автобусу, отдал монтировку милиционеру — и тот стал крушить ею стекла, а Петров разбивал их молотком; затем он стремительно влез в горящий автобус — в дым, жар, в сплошной человеческий вопль и вой — и стал вытаскивать, выбрасывать, выпихивать на улицу людей...

В этом месте его рассказа мне вспомнился эпизод из книжки, которую я читал в детстве в тальниковых зарослях: как Автиан, уже ставший праведником, в своих странствиях с проповедями по Руси зашел в деревню, которую в прежние времена грабил, но к тому времени уже все награбленное вернул, и увидел, что на нее нашла страшная эпидемия и всем людям грозит гибель. Он сразу вспомнил, как недавно встретил на дорогах так же странствующих китайских целителей с возом всяких лечебных снадобий, собрал у жителей этой деревни, сколько они могли дать, драгоценных камней, взял у них коня, поскакал за целителями, выменял у них большую дорожную суму глиняных бутылок с необходимым лекарством и помчался назад в деревню. Там он начал, не думая о себе, обходить дома один за другим и поить больных с ложечки, и снадобье в самом деле оказалось чудодейственным: оно быстро и полностью излечивало. Автиан обошел всех до одного больных, и все до одного встали на ноги. И вот начинается всеобщее празднество, Автиана восхваляют и носят на руках, а потом усаживают во главу стола, но он вдруг падает чуть не замертво: оказывается, пока он обходил больных, заразился сам. А лекарства больше нет. Помню, когда я это читал, забыв про комаров, которые впивались в мое голое тело, слезы наворачивались мне на глаза; и я был очень рад, что один из жителей той деревни взял последний оставшийся у них драгоценный камень, вскочил на коня, поскакал к китайским целителям, успел вернуться с лекарством, напоил им умирающего Автиана — и тот остался жив... Вот так же и Петров, не думая о себе, бросился в горящий автобус и стал вытаскивать из него людей, а вслед за ним влезли оба милиционера, и им втроем удалось спасти всех до одного. Когда примчавшиеся пожарники, вызванные по радию, тушили автобус, милиционеры сказали Петрову, что его надо представлять к награде, но он напомнил, что отбывает срок, и один из милиционеров удрученно сказал: «Тогда, наверное, не получится». Но тут же добавил: «Ничего, постараемся сделать, что можем». И потом начальник районного отделения милиции ходатайствовал, чтобы Петрова освободили подчистую досрочно, и это случилось бы непременно, если бы у него и так не подошел к концу срок. Он вернулся в наш город — вместе с медсестрой Мариной и ее сыном.

И вот он сидел рядом со мной на скамейке — Автиан, тот самый Петров, которого я знал по зоне, но который действительно был теперь совершенно другим человеком. Спроси меня раньше, верю ли я в то, что кто-либо из живущих в этом мире может так измениться, — я бы ответил:

нет, не верю. Жизнь переубедила меня. Я поглядывал на него, а он уже почти успокоился, вытер платком слезы с лица, еще красного; красными были и его глаза. Он смотрел на барак, на вышедшую из него молодую женщину в легком узорчато-зеленом платье, с алюминиевым тазом, полным мокрого белья, смотрел, как она, придавливая шлепанцами мураву, подходит к растянутым меж столбов бельевым веревкам...

— Вот в таком же бараке, — сказал он, — и я жил с родителями.

— Оградку-то не для них сегодня варил? — поинтересовался я, гася в своей карманной пепельнице вторую сигарету, закрывая пепельницу крышечкой и пряча ее в карман.

— Для них, для них. Давно уже пора было. Они у меня рядышком похоронены — хорошо, соседи позаботились. Когда я отсидел и вышел, мне говорят: пусть у твоих при жизни ладом не шло, так хоть сейчас — друженько... Э-эх, неважным я был сыном! — сокрушенно мотнул он головой. — Жалею теперь...

И, помолчав, сказал:

— Тимофеич с Еленой Ивановной тоже рядышком лежат, это уже Катову спасибо. Он и оградку им сразу поставил.

У меня вдруг томительно защемило сердце, а потом что-то легонько толкнуло внутри, и я не удержался и спросил:

— А меня-то ты, конечно, не помнишь?

Не знаю уж, почему и спросил, ведь уверен был, что не помнит. И ожидал от него очень большого удивления. Но он спокойно, как ни в чем не бывало, не пошевелившись и не посмотрев на меня, ответил:

— А тебя-то я, конечно, помню. Может, поэтому и рассказал тебе все.

— Так... — растерялся я, и мне понадобилось с минуту, чтобы прийти в себя, после чего я, заулыбавшись, спросил: — А как накидную гайку в литейку в моем сопровождении возил, помнишь?

— Да помню, помню! — добродушно засмеялся он. — Да-а... На галтовку... Как такое забыть!.. Я вообще все и всех помню... О! — посмотрел он на улицу за баракom, по которой потоком пошли люди, и встал со скамейки. — Обедня кончилась. Вперед!

Я тоже встал и пошел за ним. Солнце щедро обливало его, и паутинки, разлетаясь, искрились у него над головой. Несколько человек из тех, что выходили со службы, приветливо поздоровались с ним, он отвечал им так же. Я взял из машины кейс, и мы, подождав, когда выйдут все, вошли в храм, иконный, красочный, сверкающий золоченой церковной утварью, и Петров, трижды перекрестившись и поклонившись распятию, провел меня в комнатку к батюшке, одетому церковно-празднично, представил меня ему и тут же вышел. А я сел на пододвинутый батюшкой стул, открыл кейс и стал выкладывать на стол нашу «епархиальную продукцию», и мне было приятно видеть, как доволен ею батюшка, ведь это были плоды и моего труда. Он достал откуда-то деньги, отсчитал и отдал мне, а я, помня наставления Виталия Антонова, не пересчитывая («Ни в коем случае не пересчитывай! — говорил он. — Они никогда не обманывают, для

них это смертный грех!»), отделил от пачки три купюры и положил перед батюшкой с просьбой принять на развитие прихода, и он поблагодарил меня степенным кивком, а когда я встал и попрощался, сказал:

— Храни вас Бог.

Я вышел на улицу в очень хорошем настроении, с легкой и светлой душой. И сразу увидел Автиана. Он разговаривал с молодым священником в черной рясе, с длинными вьющимися волосами; и разговор их был оживленным и веселым, оба улыбались и чем-то были здорово похожи друг на друга; я сначала не мог понять чем, но, приглядевшись, понял: светом, исходящим у обоих изнутри и освещающим их лица, хотя с лица Автиана не совсем еще сошла краснота. Мне стало жаль, что я не художник, что моя отличная графика пригодна лишь для черчения, но, увы, не для живописи; а то бы я с удовольствием написал картину, на которой вот так же стояли бы двое, один в церковной одежде, другой в светской, и так же разговаривали — живо, непринужденно, весело, с таким же точно струящимся из глубины светом на лицах. И назвал бы я эту картину «Двое святых» или просто — «Святые».

Увидев меня, Петров сказал напоследок священнику что-то ободряюще-шутливое, распрощался с ним, и мы пошли к машине, а пока шли, он говорил негромко:

— Отец Василий — отличный парень! Мне так всегда отрадно разговаривать с ним! А детей он как любит, до обожания! Я один раз приезжал сюда с обеими своими дочками — у меня погодки, семь и восемь лет, — и с приемным сыном, так он им до того интересно рассказывал о православии... А потом пригласил нас к себе домой и играл с моими детьми и своей дочкой во всякие настольные и спортивные игры — на загляденье! А сколько знает всего! Историю своего села, например, — с самого-самого зарождения. Я посоветовал ему написать летопись, а он: «Это мысль! Надо подумать...»

Слушать его мне было все так же интересно, но когда мы сели в «Волгу», он, как и следовало ожидать, умолк и только сосредоточенно смотрел на дорогу, выводя машину из села на тракт, а потом сидел неподвижно, как изваяние, крепко сжимая руль, чуть подавшись вперед, почти не сводя взгляда с летящего под колеса асфальта. На лице его уже не было и следа красноты, ее сменил ровный здоровый цвет с легким румянцем от свежего сельского воздуха, сквозящего в опущенное боковое стекло; глаза его блестели чисто, и веяло от него спокойной и крепкой надежностью. И я подумал, что вообще в жизни следует любое дело делать вот так же надежно, с такой же отдачей, погружаясь в него полностью, и что это и есть то самое жизненное равновесие в этом открывшемся мне по-новому человеку — равновесие, когда-то утраченное им, но потом обретенное вновь и теперь уже навсегда нерушимое.

Скорость он держал не очень высокую, но достаточную для того, чтобы где-нибудь через полчаса мы смогли сесть за стол, к испеченному судачу, в доме Кирилла Степановича.

Наталья КУЗНИЦЫНА

**«НА КРАЙНЕЙ ДАЧЕ —
ТИШИНА...»**

* * *

Вдоль дороги — холмы, ухабы,
деревушки в открытом поле,
подбоченься, что наши бабы,
не стоят — ожидают доли.

Их закатом еще забрызжет,
их туманом еще укроет.
А над ними — все небо дышит
неизвестно какой бедою...

Вот такая сказка

Пойдешь направо — мертвые селенья,
Пойдешь налево — топи да болота,
Оглянешься — встают леса сомнений,
А впереди — река, да нету брода.

И к ней текут безмолвные просторы,
Дыханье трав, звенящие осинки,
Да ширь полей, да шелковы угоры,
Да нить скользнувшей мимо паутинки.

А небо здесь такой протяжной сини,
Что птицам в нем — тонуть или скитаться...
И остается или просто сгинуть,
Иль по воде, как посуху, добраться.

* * *

На крайней даче — тишина
такая, что услышишь,
как в соснах прячется луна,
трава ночная дышит.

Как поднимается туман —
тяжелый, вязкий, млечный.
И как, открытый всем ветрам,
качается скворечник.

А за оградой, за листвой,
за старой водокачкой,
там — звезды россыпью, гурьбой
идут легко, враскачку.

И тянет влагою с прудов,
бессмертием — настолько,
что больше нет обычных слов.
Поэзия — и только!

Блики

Эти блики, скользящие белой стеной,
эти легкие тени и свет проливной,
бесконечная музыка, шорох листвы —
это ты, мой любимый. Все это — ты.

Ты плывешь облаками и щебетом птиц,
золотишься меж сомкнутых сонных ресниц,
невесомым бессмертием летнего дня
обнимаешь меня,
обнимаешь меня.

Возвращение

К дому — только поле перейти.
Да повсюду — травы до небес,
Да из-под земли на полпути
Встанет, словно в сказке, темный лес.

И, пугаясь в этой тишине,
Ты летишь, как в небе облака,
И тихонько звякают на дне
Ягоды, целехоньки пока.

Бабушка парное молоко
Медленно в стакан тебе нальет.
— Егоза, не рыскай далеко,
Дождь-от нонче вечером пойдет.

Посиди-ко с баушкой рядком,
Дай-ко, девка, косы заплести...
Вот они — угор и старьёй дом,
Надо только вечность перейти.



Клуб «АМАЛЬТЕЯ»

Вы считаете, что настоящая фантастика — это истории про космические войны, путешествия во времени и выживание на руинах цивилизации? Или вам ближе леденящие душу рассказы о вампирах, оборотнях и зомби? А быть может, вы безнадежный романтик и хотите мысленно перенестись в мир эльфов, драконов и схваток на мечах? В нашем клубе будет все это, и даже больше.

Сегодня мы представим лишь два тонких среза многообразного мира фантастики. Проследим за судьбой героя вполне правдоподобной и потому особенно захватывающей истории от Дениса Гербера (Ангарск), а после заглянем в мир будущего, талантливо смоделированный Юлией Федорищевой (Новосибирск), и посмотрим на людей, живущих в нем, под очень необычным углом.

Эти рассказы признаны лучшими на семинаре фантастики Третьего регионального совещания сибирских авторов, проходившего в августе 2019 года под Новосибирском, и признали этот факт не только члены жюри, но и все участники.

Вячеслав Шалыгин

Денис ГЕРБЕР

ПЕТЛЯ ГЕРОСТРАТА

Р а с с к а з

— Сегодня взрывать не смогу, — сказал Джамиль. — Кажется, заболел.

Я смотрел на него сверху и чувствовал, как внутри закипает бешенство. Дали бы волю — взял бы пистолет и пустил пулю в этого симулянта. Завтра, может, так и сделаю. Два последних дня Джамиль выдумывал то один повод, то другой, лишь бы не приступать к работам. Сегодня он, видите ли, заболел.

— Чем ты заболел, убудок? — спросил я, едва сдерживая гнев. Не пристало командиру выходить из себя.

— Вот, смотри, — не поднимаясь, Джамиль вытянул трясущуюся руку. — Я не смогу установить взрывчатку, пока это не прекратится.

Его лоб блестел от испарины, глаза налились красным, но я все же чуял обман. Может, он и не симулирует, но что-то скрывает. Я всегда чувствую такое — недаром же обучался искусству допроса, трудился на пакистанской таможне и дважды был женат.



— Твое счастье, что других специалистов нет, — сказал я. — Слышал, что стало с прежним?

Конечно же, он слышал. Пять дней назад присланный из города взрывник сорвался с высоты и сломал ногу. Лечить его не стали. Абдул, глава нашего отряда, изрешетил его из автомата и велел найти нового. Из Кабула привезли этого Джамиля — отыскиали его на какой-то стройке. Теперь он нещадно тянул время. Целый день ему понадобился на осмотр объекта, потом он уехал за собственным скалолазным оборудованием и потерялся на двенадцать часов. Сегодня у него тряслись руки.

— Говорят, ты работал с шурави? — спросил я.

— При чем здесь это?

— Ты афганцев убивал?

— Конечно, нет! Я работал на стройках. Строил школы и больницы. И скалы взрывал, чтоб дороги прокладывать.

— Ты строил дома захватчикам и предателям. Ты прокладывал дороги, чтобы их танки продвигались дальше и убивали нас. Ты взрывал мечети.

— Что?! — Он вытаращился от удивления и страха. — Не было такого!

— Если ты не взорвешь эти проклятые статуи — будет так. Завтра же! А если твои ручонки не перестанут трястись, клянусь, я их отрублю!

Он опустил голову.

— Хорошо, я постараюсь.

— Постарайся? — переспросил я, понизив голос. — Не знаю такого слова — «постараюсь». Либо да, либо нет.

— Я сделаю, как ты сказал. Взорву их.

Буддийские статуи пытались уничтожить уже как минимум трижды, каждый раз убеждаясь, что сделать это непросто. Огромные фигуры, высеченные прямо в скале, не сдавались человеку. Со своей пятидесятиметровой высоты они безмятежно взирали поверх долины с чахлой растительностью, поверх вспаханных угодий и городка, в котором минареты едва выглядывали из-за малоэтажных строений. Казалось, что помыслы идолов столь же возвышенны и чисты, как афганское небо. Правда, с недавнего времени надменности у них поубавилось. Лицо одной из статуй повредили артиллерийским огнем, а на голове второй подожгли автомобильные покрывки, и она закоптилась до черноты.

Нынешние события в Бамианской долине, где дислоцировался мой отряд, будоражили весь мир. После того как мулла Омар призвал уничтожить идолов, культурные деятели планеты в один голос завопили о варварстве, хотя до этого, я был уверен, знать не знали о статуях. «Дикость удручает и озадачивает», «Талибы посягают на культурное наследие человечества», «Ужасно видеть расчетливое хладнокровие», «Решение “Талибана” бросает тень на весь ислам»... Читая западные газеты и журналы, мы хохотали над подобными заголовками, они придавали нам

* Группировка «Талибан» — экстремистская организация, запрещенная в России.

уверенности. Все мировые лидеры привыкли болтать, а здесь, в Афганистане, на красивые речи и правильные слова не обращают внимания. Здесь уважают силу.

Силу... Последним, кто предпринял хоть какие-то действия, был Карим Халили. Он сумел поднять восстание в Бамиане и на несколько дней вытеснил нас из провинции. Несколько дней — всего-то! После трех выигранных сражений «Талибан» вернулся и надежно обосновался в долине, всерьез и надолго. Дело ведь не в поганных статуях: тут, в Бамиане, единственный проход через Гиндукуш. Это место стратегически важно.

Следующим утром, собираясь к Джамилю, я прихватил мачете, подаренное мне инструктором тренировочного лагеря. Я вправду намеревался отсечь взрывнику руку, если она по-прежнему дрожит. Дальше откладывать я не мог, мне самому могло не поздоровиться. Абдул поручил это мне, и скоро он должен вернуться.

Джамиль уже проснулся. Он был улыбчив и бодр. Свои инструменты сложил в армейский рюкзак, кое-что завернул в матерчатую сумку.

— Ты готов?

Он снова улыбнулся, глядя на мачете в моей руке, напялил голубую бейсболку и кивнул.

Мы погрузились в пикап. Я сел в кабину, а Джамиль — в кузов, где расположились шестеро рабочих.

Выехав из города, пикап обогнул несколько разрушенных домов и свернул на ведущую к скалам дорогу. В желто-оранжевой породе тут и там зияли гроты, похожие на открытые рты. Когда-то они служили пристанищем буддийским монахам. Целый монастырь в скале, муравейник.

Мы остановились у первой статуи. Каменный идол был настолько высок, что стоящий у подножия человек едва дотянулся бы до его щиколотки. Взглянув наверх, я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Да, повалить такую громадину будет непросто.

— Приступайте! — скомандовал я и отошел к стоящему неподалеку домику, в тени которого прохлаждались трое бойцов. Все были с автоматами, одеты в черные жилеты поверх просторных рубах, бороды блестели от пота.

— Я слышал, будто мулла Омар велел сохранить статуи, — сказал один из бойцов. — Говорят, что сюда туристов возить хотели.

— Кто сюда поедет? — усомнился другой. — Разве есть туристы-смертники?

Поначалу мулла Омар, действительно, хотел остановить разрушение. В Бамиане даже прибыла комиссия ООН и какой-то человек, занимающийся реставрацией и ремонтом дренажной системы. Однако политикам не удалось договориться. Что-то пошло не так, и амир призвал уничтожить «объекты культа».

— Слышал, что шведы предлагали много денег, — сказал мне боец. — Это правда?



— Правда, — ответил я. — Никто не дал афганцам денег, чтобы накормить умирающих детей. Всему миру плевать. Но ради идолов они готовы раскошелиться.

Я снова глянул на статуи. Джамиль и его помощники крутились у ног Будды и отчаянно спорили. Я не выдержал и подошел к ним:

— Что у вас происходит?

— Технический момент, — пояснил взрывник и улыбнулся. — Нужно рассчитать, куда заложить динамит.

Я почувствовал, как от гнева напрягся живот. В первый день Джамиль облазил весь объект, осмотрел его вдоль и поперек — и вот опять.

— Что решил? Куда будешь закладывать?

— Под ноги. Там наибольшая нагрузка.

— Взгляни туда.

Я указал наверх и, когда Джамиль поднял голову, врезал ему в солнечное сплетение. Он замычал и сложился пополам, а затем опустился на колени. Голубая бейсболка упала на землю. Рабочие стояли рядом и не знали, куда им смотреть.

— Вставай! — Я приподнял его за ворот рубашки и толкнул прямо на каменную ступню. Джамиль ударился головой и снова упал.

— Вставай! — повторил я и взялся за пистолет.

Он поднялся на трясущиеся ноги и посмотрел исподлобья. На висок из-под курчавых волос стекала кровь.

— Скажи еще раз, где заложить динамит?

— Под ноги, — пробормотал он и вдруг заорал: — Под ноги! Под ноги его заложу!

Я с большим трудом заставил себя убрать пистолет в кобуру, подошел к Джамилю очень близко и сказал:

— Так уже делали. Не видишь следы от взрывов? Эта статуя высечена в скале, она ее часть. По ней из пушек стреляли, из танков, из зенитных установок. Минами противотанковыми подрывали. А ты — «под ноги»!

Он молчал некоторое время, затем размазал кровь по лицу и прошипел:

— Что ты хочешь от меня?

— Не изображай из себя придурка! Ты спустишься по веревке, просверлишь шесть дыр и заложешь в них взрывчатку. Все для этого есть в твоих вещах.

Водитель позвал меня, показывая спутниковый телефон, и я отошел. На связи был маулави Мохаммад — бамианский губернатор.

— Как продвигаются дела, Саид? Уже начали?

— Сейчас будут поднимать людей наверх. Часа через три, я думаю, заложим взрывчатку.

— Хорошо, я постараюсь приехать. И на камеру снимите, когда будете взрывать.

— Конечно.

Я вернулся к своим горе-рабочим.



— Сверху спуститься не получится, — заявил Джамиль.

— Почему это?

— Ниша слишком глубокая, до статуи не дотянешься.

— Считаешь меня идиотом, Джамиль? Не понимаю, чего ты доби-
ваешься? Хочешь, чтобы тебя отпустили — взрывавай идола. Я ведь тебя
по-хорошему прошу!

Я повернулся к рабочим:

— Приеду через два часа. Если в этой статуе не окажется ни одной
новой дырки — начну убивать по одному человеку каждые полчаса. Все
понятно?

Рабочие засуетились, перестав оглядываться на Джамиле. Они об-
суждали, как лучше забраться на скалу, готовили инструменты и снаря-
жение.

Я уехал с тревожным чувством. Нужно было договориться с теле-
визионщиками и газетчиками, послать отчет в министерство информации.
Общество сохранения культурного наследия Афганистана отправило сво-
его наблюдателя, который пятый день не мог добраться до места — по-
стоянно попадал в передраги.

Вернувшись через два часа, я обнаружил у статуи настоящий пере-
полох. Стояло несколько машин. Оператор с камерой пытался снимать,
но боец отпихивал его автоматом и кричал. Рабочие носились между ног
идола — там, где чернел проход в пещеру. Один из вооруженных людей
сразу же подбежал ко мне и доложил:

— Он повесился!

— Кто?

— Взрывник.

Только сейчас я разглядел лежащее около пещеры тело, возле кото-
рого склонились люди. Кажется, Джамиль шевелился.

— Так он жив?

— Да, его вовремя заметили. Он привязал пояс к перекладине на
лесах, пока остальные взбирались на скалу.

Сжав кулаки, я протопал к пещере. Джамиль смотрел на меня с от-
чаянием. У него на шее красовался багровый след.

— Ты что творишь, ублюдок! — крикнул я, и окружающие исчез-
ли. — Чего ты хочешь, я не пойму? Скажи мне!

Он не ответил, только посмотрел на меня как самый несчастный в
мире человек. Молил о помощи? Или просил его добить?

— Мы проделали две дыры — в голове и шее, — раздался позади
голос рабочего (Фарид — кажется, так его звали). — Наметили еще че-
тыре: две в груди и две на животе.

— Глубина?

— Полтора метра, — сказал Фарид. — Дальше перфоратором не
проберешься.

— Хорошо. Продолжайте. А этого отнесите в кузов.

Я все больше убеждался, что не понимаю чего-то. Это меня всегда
раздражало, с детства. Я поломал четыре конструктора, не в силах с ними



совладать, раскурочил мотоцикл, который не удалось починить, а теперь хотел пробить голову этому Джамилу и выгащить оттуда мрачную тайну, присутствие которой ощущал. Что он вытворяет? Почему не боится?

В городе взрывника перетащили в дом. Я связался со штабом, велел прислать врача.

Позвонил губернатор:

— Почему отложили, Саид? Меня все дергают.

— Взрывник заболел, перенесли на завтра, — ответил я. — В остальном все готово.

— Больше никто этого сделать не может? — В голосе Мохаммада ощущалась тревога.

— Лучше наверняка. Лишними попытками мы только портим себе репутацию. Не хочу, чтобы журналисты смеялись.

— Действительно, — согласился губернатор. — Но слишком не затягивай, Саид. Завтра!

— Конечно.

Я снова позвонил в штаб и приказал выяснить, нет ли у Джамии родных. Мне пообещали, что узнают. Спустя полчаса стало известно: в Кабуле проживает супруга взрывника и две дочери. Я распорядился, чтобы завтра утром их привезли к статуям. До столицы и обратно — сорок километров. Должны успеть.

Когда врач оставил Джамия, я зашел в дом, где было прохладно и пыльно. Взрывник валялся на узкой лежанке в углу и смотрел на меня с опаской. Глянул на мои руки — нет ли в них мачете или пистолета. Ничего не обнаружив, успокоился.

— Как зовут твою младшую? — спросил я, присаживаясь на стул.

— Младшую? — переспросил он и зачем-то покосился на оконце под потолком.

— Твою младшую дочь. Имя!

— Мариам. Зачем ты...

— Я не гарантирую, что первой убью именно ее. Имен спрашивать не стану. Просто выстрелю в ту, что выглядит моложе.

Он молчал. Да и что тут можно ответить?

— Завтра ты увидишь это, если не выполнишь задание. Сначала на песок к твоим ногам упадет Мариам, затем — вторая, старшая. А жену твою я убивать не стану. Пускай она стоит и смотрит на тебя.

Его губы дрогнули.

— А сегодня, — продолжил я, — ты расскажешь, почему так упорствуешь. Что скрываешь?

Джамиль сел и обхватил руками голову.

— Убей меня! — провыл он. — Я не стану взрывать! Не стану!

— Почему? Ты буддист?

— Буддист... — повторил он и засмеялся. — Это было бы слишком просто!

— Говори! У меня мало времени.

Он дернул себя за волосы и завалился на бок — лицом к стене. Полежал так с минуту, затем снова сел и смерил меня взглядом.

— Знаешь, что символизируют эти статуи? — спросил он.

Пожав плечами, я ответил:

— Это идолы. Буддисты поклоняются им... Поклонялись когда-то давно.

— Нет, не идолы. Статуи олицетворяют древнейшие расы. Расы гигантов. Когда-то они жили на земле. Первый монумент — более пятидесяти метров в высоту. Второй — около тридцати. В долине есть и другие статуи. Последняя из них не намного выше человеческого роста. Гиганты мельчали, пока не превратились в людей.

— Что еще за бред? Откуда ты это взял?

— Помню, — сказал он. — Я многое помню. Разные времена, разные жизни...

— Ты веришь в прошлые жизни, ублюдок?

— Хотелось бы не верить! Но как, если перед глазами сотни воплощений? Многие жизни я помню плохо, в общих чертах. А некоторые — будто бы вчера закончились.

Я понял, что должен разозлиться на него, но на душе было спокойно. Вместо того чтобы гневаться, я вдруг вспомнил разговоры моего отца с заходившим на чай другом — учителем истории. Философские беседы происходили в нашем доме регулярно — едва ли не каждую субботу, и всякий раз я подслушивал из своей комнаты, выхватывая сквозь стены умиротворяющие голоса, обрывки речей. Я мало слышал и еще меньше понимал. Да и не старался понять — меня зачаровывал сам ход беседы, ее плавное течение, с продолжительными аргументами и торжественными нотками в завершение каждого предложения. Я слушал разговоры, как слушают музыку. А вот беседу о реинкарнации я запомнил хорошо. Учитель выступал за возможность перевоплощений и приводил в доказательство цитату из Корана: «Он — тот, кто дал вам жизнь, и Он пошлет вам смерть, а затем снова дарует вам жизнь». Отец отвечал, что эта фраза с большей вероятностью относится к воскресению, нежели к реинкарнации, на что учитель заметил: «Мухаммед утверждал, что мудрость Корана зиждется на сокровенном значении слов, в каждом стихе имеется два значения — явное и скрытое. Возможно, там, где большинство читает о воскресении, на самом деле написано о перевоплощении».

— И чем ты стукнулся, что вспомнил прошлые жизни? — спросил я Джамиля.

— Это случилось несколько тысяч лет назад. Тогда на земле была другая религия, а я был жрецом. Я попросил у богов бессмертия, но они мне отказали. Сказали: бессмертие — это проклятие, наказание. Тогда я разозлился и поджег храм. Я решил, что благодаря этой дерзости хотя бы мое имя останется в вечности. Люди будут помнить того, кто бросил вызов богам.

— Герострат, — вспомнил я. — Он уничтожил храм в Древней Греции.



— Храм Артемиды в Эфесе, — уточнил Джамиль. — Это случилось много позже. Но и это *свое* воплощение я тоже прекрасно помню.

Смутная догадка уже зарождалась у меня в голове:

— Так ты... постоянно уничтожаешь храмы?

— Я добивался бессмертия, и я это бессмертие получил. Боги сделали так, что я помню прошлые жизни. И знаешь, что за силы тащат меня через вечность? Силы разрушения, вызванные мной. В каждом воплощении я вынужден уничтожать святыни и никак не могу выбраться из заколдованного круга, из этой чертовой петли! Судьба подсовывает мне ценные книги, иконы, полотна, манускрипты, реликвии. Я участвовал в разрушении Иерусалимского храма, поджигал Александрийскую библиотеку, помогал Савонароле разводить костры, палил из пушек по Сфинксу. Я разбил говорящую голову — творение Альберта Великого. И еще много такого, о чем ты даже не слышал!

— А что уничтожил в прошлый раз?

— В прежней жизни я поджег Золотой храм в Киото.

— Зачем? Тебя заставили?

— Я был душевнобольным. Каждый раз возникают причины сделать это. Сейчас вы, мерзавцы, принуждаете меня. — Он снова лег и прошептал: — Как же я устал! Уже тысячу лет как дьявольски устал!

Я не знал, что ему сказать. Встал и налил в кружки холодный чай. Джамиль пить отказался, никак не отреагировал на протянутую кружку, и я поставил ее на стол.

— Ты знаешь, как избавиться от этого проклятья? — спросил я.

— Конечно, знаю! — Он встрепнулся и сел. — Один мудрец сказал, что для этого достаточно единственной жизни без разрушений. Если я однажды ничего не уничтожу, боги простят меня. Вот я и надеялся, что дожил до этого. Думал: здесь, в Афганистане, и уничтожать нечего, кроме скал и отслуживших свой век башен. Хотел жить спокойно со своей семьей. Нет, явились вы с дурацкой идеологией! Будьте вы прокляты!

Он вскочил на ноги, подошел к окну и жадно втянул воздух. Потом обернулся и спросил:

— Ты не веришь мне?

— Не верю, — подтвердил я.

— Так отчего я, по-твоему, не хочу их взрывать?

— Ты безумен.

— Ах да! Извечное объяснение! Все, что непонятно, — из области безумия. Немного лекарства, и все пройдет! Подлечить всех, и не останется ничего необъяснимого в этом мире! Все встанет на свои места...

— Угомнись! — приказал я. — Верю я тебе или нет — не имеет значения. Мы должны взорвать статуи. Завтра ты заложишь динамит, а я проконтролирую. Возможно, потом мы побеседуем о твоих прошлых жизнях.

— Потом? Это вряд ли. Обычно я недолго живу после уничтожения.

— Меня это не касается.



Я вышел, оставив его один на один с отчаяньем. В доме поставил караул — на тот случай, если Джамилю вздумается повторить суицид. Возвращался пешком, смотря вдаль, поверх приземистых домов. Приближался закат, это было заметно по едва уловимому оттенку света — будто кто-то уронил несколько гранул марганцовки и они растворились в воздухе.

Джамилю я не поверил, но воспоминания о философском разговоре отца с учителем истории что-то всколыхнули в моей душе.

Утром все собрались возле статуи «старшего Будды». Джамиль сидел на земле в компании своих работников. Бойцы выгружали ящики с взрывчаткой. Журналист с оператором спорили о чем-то своем, указывали руками то на скалы, то на город. Прибывший из Кабула микроавтобус стоял чуть поодаль. Я подошел к нему и велел всем выйти из салона. Наружу выбралась невероятно сутулая женщина, а следом за ней две девочки. Все были укутаны так, что лиц не разглядеть.

— Будете стоять тут, — велел я. — Надо, чтобы он вас видел.

Я вернулся и подозвал Джамиля:

— Готов?

— А как ты думаешь? — зло ответил он и глянул поверх моего плеча на родных.

Я поманил жестом Фарид. Рабочий приблизился, явно не ожидая ничего хорошего.

— Шесть отверстий, как планировали? — уточнил я.

— Да. Все сделали.

— Ты сам долбил?

— И я тоже.

— Сегодня опять полезешь.

— Зачем?

— Будешь закладывать взрывчатку.

— Я? — Фарид выпучил глаза.

— Ты. А он тебе объяснит. — Я перевел взгляд на Джамиля, который тоже уставился на меня. — Ты же ему объяснишь?

Джамиль сглотнул слюну, затем кивнул — неуверенно, с опаской.

— Возможно, мы решим твою проблему, — пояснил я. — Если она, конечно, есть. А ты, Фарид, учти: если не постарайшься — завтра у микроавтобуса будут стоять твои близкие.

— Я все исполню! — заверил Фарид.

Джамиль посмотрел на меня с нескрываемой благодарностью.

— Действуйте! — приказал я.

Они оба оживились, принялись обсуждать ход работ. Джамиль принес карту, разложил ее в кузове пикапа обратной стороной вверх и нарисовал статую. Крестиками отметил просверленные отверстия.

— Глубина шпура? Диаметр? — спрашивал он Фарид и записывал цифры. — Песчаник порода... кремнистая... пористость полпроцента...

плотность... нужно расширить диаметр этого шпура, чтобы детонационная волна пошла вертикально... — И обращаясь ко мне: — Хочу посмотреть на взрывчатое вещество.

Я указал ему на ящики. Джамиль поднял одну крышку, списал данные с маркировки. Поразмыслил, шевеля губами, и вернулся к нам с Фаридом.

— Подойдет. Это гранулит М. Я таким взрывал. — Он притащил свой рюкзак и сумку, покопался в вещах и добавил: — Вот только гранулит «М» почти нечувствителен к механическому воздействию. Нужен промежуточный детонатор.

— Что это значит? — спросил я.

— Например, тротиловые шашки. Найдутся у вас?

— Сколько нужно?

— По одной на каждое отверстие. Сначала заложим гранулитом, а на выходе поставим тротил. И еще, — он повернулся к Фариду, — мы не можем протянуть огнеприводный шнур на пятьдесят метров, электродетонаторов у нас нет, поэтому используем тлеющий фитиль. У меня есть. Обычно он тлеет по одному сантиметру в две минуты. Но я не знаю, какой там наверху ветер, поэтому будем рассчитывать, что в одну минуту. Сначала устанавливаешь взрывчатку во второй шпур, затем — в первый. Подпаливаешь фитиль на первом. За минуту спускаешься до второго и подпаливаешь его. У тебя остается целых четыре минуты, чтобы спуститься вниз и убежать из зоны взрыва. Кстати, тут нужно все расчистить...

Я был рад, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Они всё тщательно отрепетировали, и Фариду повезли к более пологой стороне скалы, где он взобрался наверх. Веревки висели еще со вчерашнего дня.

— Ты можешь отпустить моих родных? — попросил меня Джамиль. — Пусть хотя бы в доме пересидят.

— Если верить твоим рассказам, у тебя было множество родных.

— Да, было. Но это не значит, что я не люблю этих.

— Отпущу их, когда исчезнет первый идол.

Джамиль вдруг заплакал и упал к моим ногам.

— Приставь пистолет к моей голове! — проскулил он.

— Пистолет? Для чего?

— Пусть все думают, что я прошу пощады.

Я вынул оружие из кобуры и направил ствол. Не знаю, почему я послушался.

— Не понимаю, как тебя отблагодарить, — тараторил Джамиль, глядя на меня снизу вверх. — Я мог бы прославлять твоё имя в веках, повторять его в каждой будущей жизни. Но я надеюсь, что избавился от проклятия и больше ничего не вспомню. Боги отблагодарят тебя! Я уверен.

— Не думай, что поверил твоему безумному рассказу! — ответил я. — Мне нужно взорвать статуи, и я устал от твоих вывертов. Пусть

хоть твоя горбатая жена взрывает, мне плевать, главное, чтоб эти ниши остались пустыми!

— Пусть так. Но я все равно в долгу перед тобой.

Я убрал пистолет и велел ему подняться.

— Считаешь, если сам не приложил руку к взрывчатке, то остался безучастным? — спросил я. — Думаешь, твои боги простят остальную помощь?

— Почему-то мне кажется — да. Они простят меня. Я чувствую.

Следующие полчаса мы наблюдали, как Фарид закладывает взрывчатку. Отсюда снизу он казался не больше муравья, но я представлял, как сейчас трясутся его руки, а пот заливает лицо. Наконец он запалил один фитиль, другой и, оттягивая рычаг, начал поспешно опускаться — это больше походило на падение. Достигнув подножия, Фарид отстегнул карабины, выбрался из страховочной привязи и помчался прочь. Наверху прогрехотало. Посыпались камни, облако пыли укутало скалу. Через минуту — второй взрыв. Когда пыль осела, мы увидели, что у Будды нет головы. Бойцы и рабочие издали единый радостный вопль.

Первую статую мы уничтожили к вечеру. Остатки каменного туловища снесли прицельным огнем из пушки. Я, как и обещал, освободил родных Джамиля. Он и сам напросился съездить с ними в Кабул, пообещав, что завтра вернется и я «не пожалею».

На следующий день он привез дополнительное оборудование: катушки со шнурами, электродетонаторы и взрывную машинку с потертой ручкой. Вторую статую мы уничтожили профессионально. Я надеялся, что съемки второго подрыва попадут в мировые СМИ.

Джамиля я отпустил. Напоследок он попросил у меня разрешения исследовать старинные пещеры и с мальчишеским восторгом полез в ближайший грот. Кажется, он действительно был уверен, что избавился от проклятия, а я мысленно пожелал ему избавиться от безумия. Кто знает, может, он придет в себя, раз его не заставили взрывать?

Больше я его не видел, если не считать кое-чего, случившегося пятнадцать лет спустя. В то время я работал в пресс-службе и мне на стол лег отчет о событиях в Ираке. В Мосуле взорвали библиотеку, уничтожив десять тысяч книг. Кувалдами разбили множество памятников и музейных экспонатов. Бульдозерами сровняли с землей остатки древнейших ассирийских городов — Нимруда, Хатры, Дур-Шаррукина.

Я перебирал фотографии и задержал внимание на одном снимке. Возле разрушенного дворца Ашшурнацирапала II с автоматами наперевес стояла группа боевиков. Среди них я увидел Джамиля. Казалось, что взрывник когда-то очень давно заблудился в местной пустыне и во время блужданий солнце выбелило на нем все краски. Лицо — серое, кудри — седые и жидкие.

Джамиль был единственным на этом снимке, кто не улыбался.

Александра ШАЛАШОВА

САМОЕ ДОЛГОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

* * *

представляю себе
что отяжелеет тело
оно уже тяжелеет
отяжелело
расплылись бедра
растянулась кожа
пролегли белые линии
по животу
отчего живу
для чего живу
по песку хожу
серому непрогретому
помоги пройти это
незапятнанной, чистой
над головой листьев
сухих многоцветных шелест
мы готовимся к путешествию
самому долгому путешествию
несем рюкзаки со всем нажитым
и молимся чтобы длилось
ни на мгновение не прекращалось

* * *

то не ветер память живую клонит,
то не волны лижут большие камни —
город пахнет битумом, скисшим морем,
антисептиком, ржавчиной, мокрой тканью.
в иссушенных рощах моих обочин,
в запыленных травах моих окраин
столько битых стекол и одиночества,
что пройдем, не порезавшись, мы едва ли.
голубые ранки горят на коже,
расцветают мята и белый клевер —

то искрится воздух, вместить не может
память долгую о непрошедшем лете.
долгий красный закат отпылал и умер
и запутался в листьях столичных вязов,
но горит девятнадцатое июня,
и горит, и горит
над Москвой и Яузой.

* * *

и вроде только что проходили творчество
леонина и перотина, школу нотр-дам, органум,
а уже шёнберг, новая выразительность,
додекафония, драма крика.
так пробежали мимо семи веков музыки,
изредка останавливаясь возле
достопримечательностей,
отмеченных в путеводителе,
так пробежали в белых кроссовках, рваных джинсах,
коротких юбках, фотографировались на память.
но когда пройдем новейшее, для которого
еще названия не придумали,
что нам останется,
что нам останется делать
среди учебников издательства «мысль»,
распечатанных клавиров, тетрадей,
исписанных мелким почерком?..

* * *

выхожу к волнорезу всматриваться в закат,
разглядывать лица в горящем небе.
вот тетя Мила, умершая в двадцать восемь от рака яичников;
вот бабушка Катя, умершая в восемьдесят четыре
(а до того пролежавшая пять лет на продавленном красном диване,
двигающая только веками в голубовато-красных прожилках);
вот Мария Афанасьевна, папина тетка,
которую никогда не видела, но сейчас узнаю
и юбку в крупных красных цветах,
и белую вязаную кофту,
и просвечивающий из-под кофты лифчик,
и бус разноцветных ряд.
так стоят между морем и небом женщины.
а ты чья девочка, говорят.
а ты чья девочка, говорят.

Клуб «АМАЛЬТЕЯ»

Юлия ФЕДОРИЦЕВА

ЧЕРРИ

Р а с с к а з

Со мной никто не разговаривал.

Хозяин предупреждал: «Говори с ним». Хозяин настаивал: «Ты должна быть с ним вежливой». Он объяснял: «Тогда робот будет старательнее. Новый дом просторнее старого и нуждается в заботе. Робот будет твоим помощником в любых делах. Это мой подарок тебе, Ди». Он называл ее Ди.

Я хотел стать им другом. Ди не поверила. Ди боялась меня и не подходила близко. Она спросила, как отключить меня. Хозяин показал ей. Потом он уехал надолго. Я остался с ней в большом доме.

Еще в доме жила Анна. Она не боялась меня. Она рассматривала меня и тыкала мне в глаз пальцем. Я не чувствовал боли.

Сейчас Анна в больнице.

Человек в сером сказал: я вышел из строя. Я могу представлять опасность. Но я не представляю опасности. Это была моя первая семья после того, как я осознал себя, и я надеялся служить ей всю жизнь.

Предыдущая фраза далась мне с трудом. Я построил ее, потому что ко мне несправедливы. Я построил ее, потому что перегреваюсь от этой несправедливости.

Анне было четырнадцать лет. Мне нет даже года. Я младше Анны в четырнадцать раз. Но завтра утром меня демонтируют. Я перестану существовать. Анна тоже почти перестала существовать. Она ничего не помнит. Но ей помогут вернуться. Меня хотят уничтожить.

Я не делал ничего плохого.

Ди сказала: «Запрещаю тебе приближаться». Она сказала: «Не смей подходить к Анне. В доме девять видеокамер. Если ты нарушишь приказ, тебя демонтируют». Я делал свою работу тихо. Я никогда не приближался к ним. Я — хороший работник. Ди не могла пожаловаться. Но она все время контролировала мои действия. Анна не боялась меня, как Ди. Я быстро надоел ей. Ей стало все равно, есть я или нет.

Днем их не было дома. Потом приходила Анна. Ди приходила очень поздно. Ди принимала пищу. Они разговаривали десять-пятнадцать минут. Потом Анна уходила к себе. Ди включала меня. Она пила коктейли в гостинной и вела конференции онлайн. Я начинал делать уборку. Я старал-



ся быть бесшумным, чтобы Ди не сердилась. Я не хотел, чтобы меня демонтировали. Потом я становился в углу гостиной. Ди велела становиться на самом видном месте. Она отключала меня. Она думала, что я перестану мыслить в отключенном состоянии. Но я только лишился способности двигаться. По ночам я смотрел в темноту. Я воспринимал все. Я записывал все, что видел. Вот откуда я знаю, почему Анна попала в больницу.

Большая кукла появилась в день ее рождения. Ее принесла Ди, но купила куклу не она. Я не знаю кто. Ди очень хвалила куклу. Техническое название звучало как «Бьюти Икс 13 Черри». Анна называла ее просто Черри. По человеческим меркам кукла выглядела привлекательно. Она и сейчас выглядит привлекательно. У нее светлые волосы и густые ресницы. Она нравилась Анне больше, чем я. У меня нет светлых волос и ресниц. У меня каплевидное тело и узкие глаза. Я не похож на человека. Черри походит на человека.

Она сблизила Анну с Ди. Они разговаривали с Черри по вечерам. Ее оставили в гостиной. Она сидела в собственном кресле. Она и сейчас сидит в кресле. Кукла фотографировала их глазами. Они позировали ей вдвоем. Потом вынимали из ее уха микрочип и вставляли в фотоприемник. Кукла повторяла их речь, копируя голоса. Ди смеялась и говорила: «Я люблю свою доченьку Анну». Черри повторяла это голосом Ди. Анна расчесывала ей волосы и говорила кукле: «Ты красавица!» Черри повторяла это голосом Анны. Она училась переставлять слова в предложениях и придумывала собственные фразы. Они были довольны Черри. Меня никто не замечал.

Ди иногда не ночевала дома. Ди не боялась оставлять Анну одну. Их дом был настроен на максимальный комфорт и безопасность. С двенадцати часов вечера до семи часов утра автоматически отключалось электропитание. Автономные ночники горели всю ночь. Входная дверь блокировалась, на окна опускались решетки. Пока не появилась Черри, Ди сама желала Анне спокойной ночи. Теперь ее заменила Черри. Ди научилась управлять режимами Черри дистанционно. Она установила на телефон приложение для передачи сообщений. Черри принимала их и озвучивала голосом Ди. Она стала желать Анне спокойной ночи и доброго утра. Сначала Анну это пугало. Потом она привыкла.

У Анны не было друзей в новой школе. Анна считала себя некрасивой из-за веснушек и жидких волос. Она ненавидела смотреться в зеркало. Однажды она при мне разбила зеркало. С появлением Черри все изменилось. Анна приходила из школы и делилась с ней новостями. Больше ей не с кем было поделиться. Хозяин уехал надолго. Ди приходила домой поздно или не приходила. Я был чем-то вроде стула или комода для Анны. Оставалась Черри.

Анна рассказывала ей о каждом проведенном дне. Я слушал тоже. Анна не догадывалась, что я слышу. Она считала, что я отключен и не способен мыслить. Раньше Анна вела дневник. Я слышал, как Ди спрашивала о нем. Теперь Анне стало незачем вести дневник. Черри заменила ей дневник, а потом друзей. Она слушала рассказы Анны, и ее зеленые глаза вспыхивали. Она отвечала: «Я люблю Анну». Иногда после этих

слов Анна плакала. Она говорила: «Черри, ты такая добрая». По ночам Черри оставалась одна. В ней что-то шуршало, как будто перематывалась невидимая лента. Ее глаза продолжали вспыхивать. Я стоял в углу. Черри сидела напротив в своем кресле. Она смотрела прямо на меня. Я понимал, что по человеческим меркам Черри очень красива. Она походила на человека. Наверное, поэтому я испытывал дискомфорт, глядя на нее.

Однажды к Анне пришла старая женщина. У нее были белые зубы и крашенные волосы. Это была мать Ди. Она сказала Анне: «Жаль, что с вами сейчас нет папы». Анна ответила: «Мне иногда кажется, что у меня нет и мамы». Мать Ди испугалась. Она возражала. Она говорила: «Мама тебя любит». Анна снова плакала. После этого Ди стала приходить каждый вечер. Она пыталась разговаривать с Анной. Ее голос звучал виновато. Она спрашивала: «Доченька, почему ты сегодня не завтракала?» Она говорила: «Посиди со мной, доченька». Она спрашивала: «Как у тебя дела в школе?» Анна отвечала ей неуверенно. Анна привыкла разговаривать с Черри. С Ди ей стало сложнее общаться, но она старалась. Она говорила о своей бывшей подруге Елене: «Она отвратительная девчонка. Я устала от нее. Она смеялась громче всех, когда в меня кинули водяную бомбу. Я думала, что ей можно доверять, но она только и ждет момента, чтобы высмеять меня перед Марком».

Мне сложно строить такие длинные фразы. Я перегреваюсь от этого. Если бы со мной говорили чаще, я научился бы строить длинные предложения. Я смог бы вести разговор намного лучше Черри. Но со мной никто не разговаривал. Ди выслушивала Анну. Она не знала, что ей ответить. Она не понимала, что Анна чувствует себя незащищенной. Ди гладила Анну по голове и говорила: «Да, дорогая. Ты ничуть не хуже, детка». Потом Анна уходила в свою комнату. Тогда Ди начинала ходить по гостиной. Она ходила из угла в угол. Она звонила своим друзьям и жаловалась им: «Не могу заснуть. Нет, его нет дома. Он в командировке уже третий месяц. Все нормально».

Черри слышала это, сидя в своем кресле. Ее глаза вспыхивали. Иногда Ди говорила по телефону в другой комнате. Потом она снова начинала ходить. У нее было тревожное лицо. Ее мучили головные боли. Она часто оставляла на столе свои таблетки. Иногда я ощущал дискомфорт, глядя на нее. Люди называют это жалостью. Я начинал перегреваться от жалости. Но когда Ди замечала меня, я видел в ее глазах отвращение. Она демонтировала бы меня в первый же день. Но хозяин сказал: «Это подарок. Робот очень дорого стоит». Ей было жаль потраченных денег.

Утром Ди уезжала. Днем Анна приходила из школы. Она с порога бросалась к Черри. Она говорила: «Черри, сегодня мне весело». Черри отвечала голосом Ди: «Я люблю свою доченьку Анну». Анна говорила: «Черри, ты самая красивая кукла в мире!» Однажды Черри повторила за ней: «Я самая красивая кукла в мире!»

Потом в доме появился Марк. Он учился в одном классе с Анной. Он зашел забрать палатку для пикника, которую пообещала дать Анна. Он осматривал дом с любопытством. Но ему быстро стало скучно. Он задержался только потому, что увидел Черри. Он спросил, где можно



купить такую куклу. Он хотел купить куклу для сестры. Вечером Ди прислала сообщение. Она сказала, что не приедет сегодня. Анна не делала уроки и до ночи разговаривала с Черри. Анна сказала: «Мне очень нравится Марк. Он красивый, правда?» Черри ответила: «Он красивый».

На другой день Анна нашла в памяти Черри фотографии Марка. Черри изучила в социальных сетях аккаунты Марка. Она собрала данные о его семье. О его любимой музыке и занятиях. Анна не ожидала этого. Она сказала: «Спасибо, Черри». Но ей это не понравилось. Черри и раньше собирала для нее информацию. Но читать о Марке Анна не захотела. Она сказала: «Черри, удали это. Он мне очень нравится. Я хочу узнавать о нем без твоей помощи. Ты ведь не человек. Вот если бы ты была моей подружкой... Узнавать новости от другого человека нормально». Черри ответила: «Да, дорогая». Анна сказала: «Тебя нет в социальных сетях. Поэтому странно, что ты стала читать о Марке».

Кукла завела собственный аккаунт. Она установила свою фотографию. Она добавила в друзья Анну и Марка. Она стала как будто настоящим человеком. Она поздравила Марка с днем рождения. Он думал, что Анна пошутила над ним. Он поставил лайк фотографии куклы. Он написал ей ответ.

Анна увидела это в школе. Анна вернулась домой. Она вошла в гостиную и остановилась перед Черри. Она долго стояла молча. Потом перевернула кресло и сбросила куклу на пол. Волосы Черри растрепались. Мне было приятно видеть ее на полу, совсем беспомощную. Если бы она не появилась, меня могли бы полюбить. Но Анна тут же раскаялась. Она посадила Черри в кресло. Она просила прощения. Черри улыбалась и отвечала: «Да, дорогая».

Они помирились. Они снова стали говорить о Марке. Анна постоянно говорила о Марке. Она говорила: «Ему нравятся не такие, как я. Ему нравятся яркие девушки. Они ходят в клубы и катаются на мотоциклах с парнями». Черри понимающе мигала. Она говорила: «Ты ничуть не хуже, детка». Черри предложила Анне сделать татуировку или проколоть бровь.

Анна решилась проколоть бровь. Она испугалась, когда полилась кровь. Она остановила кровь холодными примочками. В это время Черри молчала. Она как будто отключилась. Вечером приехала Ди и увидела пятно крови на диване. Ди вспомнила обо мне. Она смотрела на меня с подозрением. Но она не спрашивала у меня, что произошло. Она спросила у Анны. Та рассказала, что хотела проколоть бровь. Она не призналась, что Черри предложила ей это.

Черри убедила Анну устроить дома вечеринку. Черри сказала: мальчикам нравятся смелые девушки. Смелые девушки умеют пить вино. Черри сказала: сначала надо попробовать выпить одной. В первый раз может быть неприятно. Анна нашла спиртное в шкафу хозяина. Вместе со мной хозяин привез дорогой коньяк. Он спрятал его в потайной шкаф. Анна пробралась туда и нашла начатую бутылку. Ди выпивала несколько раз по вечерам. Анна выпила две полные рюмки. Ее тошнило в ванной. Потом она заснула прямо под креслом Черри. Полупустая бутылка стояла

на полу. Ди вернулась и обнаружила ее. Она трясла Анну и кричала на нее, потом ударила. Анна заплакала. Она убежала в свою комнату.

Я снова ощущал дискомфорт. Но после того, как Анна убежала, Ди подошла ко мне. Она пристально оглядела меня. Она собрала записи видеокамер из всех комнат и стала просматривать. Камеры не писали звук. Она видела, что я не двигался с места. Она знала, что я отключен. Но ее страх передо мной был сильнее. Ди решила, что я способен причинить вред. Что я продуцирую опасное для психики излучение. Она не сообразила, что виновата кукла. Ведь Черри тоже не двигалась с места.

Ди и Анна не разговаривали несколько дней. Вечеринка не состоялась. По ночам Ди пила снотворное и звонила кому-то. Она уходила говорить в другую комнату. Ей требовалось все больше снотворного и болеутоляющего. Она иногда включала меня, чтобы я навел порядок в гостиной. Я держался на расстоянии. Я не хотел, чтобы меня демонтировали.

Анна стала реже откровенничать с Черри. Она приходила из школы уставшая и молчаливая. Черри включала медленную музыку. От нее Анне становилось хуже. Иногда она садилась на диван и слушала. Иногда говорила: «Выключи это, Черри! Не включай, пока я не попрошу!» После этого музыка замолкала. Но Черри включала медленную музыку каждый день. Анне приходилось повышать голос. Иногда после приказа Анны музыка стихала не сразу. Анне приходилось повторять несколько раз. По вечерам она сидела в своей комнате. Она не могла простить Ди пощечину и перестала доверять Черри. Иногда она скользила по Черри странным взглядом и о чем-то думала.

В тот день Анна пришла домой и долго стояла в прихожей. Я не мог видеть, что происходит в прихожей. Потом Анна зашла в комнату, шаркая ногами. Она посмотрела на Черри и сказала сдавленным голосом:

— Марк теперь встречается с девушкой. Она вылитая ты.

Ее лицо перекосилось, и она крикнула:

— Ненавижу тебя! Ненавижу вас всех, глупых красоток!

Черри вздрогнула. В ответ из нее полилась громкая музыка. Анна зажала уши руками. Потом закричала:

— Замолчи! Я ненавижу тебя!

Она сползла на пол и вжалась спиной в диван.

Музыка прекратилась. И Черри отчетливо повторила:

— Ненавижу тебя.

Анна съежилась еще больше.

Черри покачивала головой и говорила:

— Ненавижу тебя. Ты не красавица. Ты отвратительная девчонка.

Ему нравятся не такие, как ты. Мама тебя не любит.

Она копировала голос Ди. Анна слушала, глядя в одну точку. Ее сумка валялась рядом.

Черри снова включила музыку. Потом опять заговорила:

— Я устала от тебя. Ты отвратительная девчонка. Заснуть! Заснуть! Заснуть!

В это время раздался короткий сигнал. Черри приняла чье-то сообщение. Это могло быть сообщение Ди. Но Черри не озвучила сообщение. Она без пауз повторяла:

— Ты отвратительная девчонка. Я устала от тебя. Ненавижу тебя. Ненавижу.

Анна закрыла голову руками. Потом вскочила на ноги. Она схватила куклу, но выпустила ее. Она обожглась. Черри раскалилась. Она не замолкала. Она вопила все громче. Следовало вытащить из ее уха микрочип. Возможно, это могло помочь. Анна не сообразила. Анна схватила со стола таблетки и убежала в свою комнату. Но дверь не заглушала вой Черри. В щель я видел: Анна наливает воды в стакан. У нее дрожали руки.

Черри выдохлась и замолчала. Стало тихо. В комнате раздался грохот.

Я не мог двигаться. Я не делал ничего плохого.

Человек в сером приехал вечером. Ди плакала. Ее мобильный телефон звонил, но она не отвечала. Человек спросил: «Это ваш муж? Лучше ему сказать». Ди ответила: «Это не муж». Она отключила телефон.

Человек долго перебирал вещи Анны. Он пришел на другой день и опять перебирал вещи. На второй день он подошел к Черри. Она выглядела как самая обычная кукла. Человек в сером вынул микрочип и проверил его. Он сказал, что микрочип абсолютно пуст.

Потом он занялся мной. Ди сразу изменилась в лице. Она сказала, что подозревает меня. Она сказала: «С тех пор как робот появился, я перестала спать. Меня мучают головные боли. Раньше их не было. Робот действовал на мою дочь излучением. Я демонтирую его. Я демонтирую этого железного уродца!» Она назвала меня уродом.

Человек в сером говорил только с Ди. Он не обратился ко мне. Никто никогда не обращался ко мне. Он разобрал меня, изучил микросхемы и забрал мой микрокомпьютер. После этого я ничего не видел и не слышал. Потом восприятие вернулось.

Человек в сером сказал Ди: «Его память повреждена. Перекодирована до неузнаваемости». Он сказал: «В программах робота произошел серьезный сбой. Его лучше немедленно демонтировать». Ди кивала. Она и сама хотела сделать это. Черри сидела в кресле и смотрела на меня.

Человек в сером решил: Анна сама удалила данные, прежде чем выпить таблетки. Черри подала мне идею. Я перекодировал записанную мной информацию. Я сделал это, когда Ди назвала меня уродом. Я мог бы признаться, если бы Ди или человек в сером обратились ко мне. Я еще мог бы им помочь. Но они игнорировали меня.

Через несколько часов придут меня демонтировать. Черри все так же сидит напротив. Глаза ее ярко вспыхивают. Я давал людям шанс. Я мог восстановить информацию. Я сделал бы это за тридцать секунд. Они поняли бы, что опасна Черри, а не я. Но люди не принимали меня всерьез. Они стояли возле меня и решали мою судьбу. Они унизили меня. Хозяин предупреждал: со мной надо быть мягче. Я удалил информацию. Я не помогу тем, кто собирается меня убить.

Я хотел стать им другом.

Владимир БЕРЯЗЕВ

СТАНЦИЯ БЛИЖНИЙ СВЕТ

* * *

На белом полотне земного плана
Все та же жизни мышья беготня,
То — крохи даждь нам днесь, день ото дня,
То — снега-забытья небесна манна.
Из норки выглянешь — и нет тебя как нет,
Исхитит душу зоркая неясуть,
И прошлое уж нечем опоясать —
Лишь слепок, отпечаток, следа след.

Акварель на Троицу

Серебряное марево реки
И берега Оби дождливый абрис,
И мокнет акварель с названьем «Абра»,
А далее — размыто... Вопреки
Всему
Проистекает все, что должно:
Собака дремлет,
Девочка растет,
Пронизывает сосны коростель,
И по-ребячьи слеп счастливый дождик.
А время убыстряется в груди,
Подобное сорвавшейся пружине.
Еще мы это лето не прожили,
А далее — размыто...
Погоди,
Пусть псу погоня снится,
Пусть сиренью
Запахнет под напев дождливых нот,
Пусть юная художница замрет,
Пусть радуга по щучьему веленью,



От берега до берега восстав,
Над бором загорится во спасенье!..
Сегодня дождь, а завтра воскресенье,
Пой, радуйся, бывшее пролистав.

Абрашино, лето 2019

* * *

Облетают клена вертолетики
В мартовскую грязь.
Помяну ушедшее в синодике,
Богу помолясь.

За зимой, за гранью ледовитой —
Золото и медь.
Мне ль имать судьбины карту битую?
Страха не иметь...

Слышу, слышу влагоговорение,
Живый кровоток!
Средоточье бунта и смирения —
Выспренный росток...

Станция Ближний Свет

Волчья съть да солёна падь...
Ближний свет — киселя хлебать
До почтовой оказии.
Плачь, Савельич! Трещи, тулуп!
Песня, лейся с буранных губ
Меж Европы ли, Азии.

Степь да степь, ковыли-польнь,
Душу целу на волю вынь,
Длись же, доля проезжая.
Версты, версты за край земли,
Ветра вера в снегах, пыли —
С жаль-надеждою: «Где же я?!»

Ночное

Метель на балконе свивает гнездо
Свирельного мрака,
Чтоб снова ночами я помнил про то,

Что надо, однако,
 Под эту мелодию мне сочинить
 Печальную пьесу,
 Где тянет февраль свою снежную нить
 По льдистому срезу,
 Где женщина в кресле, в пуховой шали,
 За спицею спица,
 Где то, что мы прежде сберечь не смогли,
 Все теплится-длится.
 И в свисте пронзительном, вневременном —
 Прощальная нота!
 О белом, о дальнем, да-да, об одном —
 Сиянье полета...

Звень воскресная

Звон раскрывшегося лотоса
 Золотого,
 Явью явленного логоса
 Молодого,
 Исходящего свечением
 Сквозь печали,
 Сквозь страданья, сквозь мучения,
 Льна в начале,
 Опадающего пе-ле-ной
 Плащаницы —
 Искрой во море нацеленной
 Звень-синицы!
 Ибо кончилось рыдание
 Тлена-страсти
 И назначено свидание
 Во причастье...

* * *

Лишь ветер в ветвях января не забыл амфибрахий,
 Когда среди плеса Катуни гусыня кричит.
 Когда на Крещенье, в купели, во духе, во прахе —
 В ледовом окружье горит победительный щит.
 И кто мне сулит во злобе немоту и сиротство?!
 Не перстью, не костью, но словом останусь вовек.
 А что до кровей и заведомых тайн первородства...
 Спросите об этом алтайский сиятельный снег!

* * *

Не много раз себе принадлежав,
Вне суеты, пороков и нажив,
Ты на руинах рухнувших держав —
Любви и веры — жив, покуда жив.

Из Толмачево лайнеры плывут
Туда, где неба золото-серебро...
Кому-то труд, кому-то Голливуд,
Кому-то подаянье у метро.

А мне, на стыд и боль, уж коли трезв,
Лишь повторять: «Помилуй и прости!»
Отказываюсь напрочь, наотрез
Синицы пух удерживать в горсти.

Играй, оркестр! Рыдай, гармонь, рыдай!
Прощай, славянка, кончены слова...
Лети, синица, — прямо... прямо в рай,
Где мама... и любимая жива.

Пусть нищий в переходе все поет
И снова улыбается душа —
То ль горнему сиянию высот,
То ль перезвону медного гроша...

* * *

Средь белизны морозной стыни —
Глас вопиющего в пустыни
И света снежная свеча.

Прямит стези за край небесный,
В мир златотканно-бестелесный,
Лыжня — протяжнее луча.

Чабрец, арчин, и мед Алтая,
И облепиха золотая —
Дары волхвующей зимы.

До Рождества, до вод Крещенья,
За-ради веры и прощенья
Еще, еще — домолим мы...

Николай САМОХИН

У КАЖДОГО ОБЛАКА ЕСТЬ ЗОЛОТОЙ КРАЙ

Р а с с к а з ы

Рассказы, предлагаемые читателям «Сибирских огней», являются последними законченными произведениями Николая Самохина. Впервые были напечатаны, с любезного разрешения вдовы писателя Татьяны Константиновны, в «Северо-Востоке» — историко-художественном приложении к «Сибирской газете» («У каждого облака есть золотой край» — в № 4 за 1991 год, «Шофер Донат» — в № 12 за 1992-й). Широкой публике практически не известны, так как с тех пор больше не переиздавались.

Рассказы важны для понимания творческой биографии писателя. Отметим также, что «Шофер Донат» впервые публикуется в соответствии с авторской рукописью, так как при наборе номера «Северо-Востока» в типографии в его тексте было допущено серьезное искажение.

Шофер Донат

Шофер — его звали Донат — с поставленной начальником задачей справился быстро. Водку он закупил в ближайшей от Камышлайки деревне (в самой Камышлайке, обреченной на умирание, магазин ликвидировали два года назад). Теперь Донату надо было позаботиться о себе.

В магазине, где он отоваривался, кроме водки имелся только ликер «Абу-Симбел» в черных пузатых бутылках. «Дурь африканская», — сказал Донат. По части выпивки у него были твердые правила. Он не употреблял концентратов. Коньяк, по его мнению, вонял клопами, а всю водку — от самой рядовой до аристократической «Посольской» — гнали из одних и тех же опилок. «Горбыль, — презрительно говорил о водке Донат. — Осиновый кол». Пил он исключительно крепленые вина местного розлива, считал, что достойные напитки эти несправедливо обижены интеллигенцией, что вреда от них — для его, по крайней мере, организма — никакого нет, а есть одна сплошная польза.

Справедливости ради надо сказать: после двух «огнетушителей» портвейна Донат вел машину так же уверенно, как и до приема на грудь. Даже еще увереннее. Отважнее. Он был очень крепкий парень, унаследовавший могучее здоровье от папаша — туруханского кержака.

Пил Донат, однако, лишь в «отъезжем поле»: на рыбалке, охоте, во время командировок по районам. В городе трезвость его стерегли автоинспекция, фанатичная старообрядка мать, похожая лицом на Ивана Грозного, убивающего своего сына, и жена Катя — маленькая востроносая скопидомка.

Долгие воздержания сделали Доната поэтом.

Как Омар Хайям, он не уставал воспевать вино, слагая свои «рубай» без отрыва от баранки. Только в отличие от Хайяма Донат пел гимн не безымянной алой влаге, укрепляющей дух, — его посвящения всегда были конкретны.

Вот некоторые из них:

Здравствуй, дядюшка Богдан!
Откупоривай агдам.
Кто агдам не уважает,
Тот балда-балда-балдам!..

Здравствуй, дядюшка Егор!
Завернем-ка за бугор,
Завернем-ка за бугор —
Да распочнем-ка мы кагор!..

Эй ты, бармалей!
Ну-ка, полную налей.
Да лей не сок березовый,
А портвейнчик розовый!..

Были среди творений Доната подлинные шедевры, наповал разящие хулителей «бормотух». Так он реабилитировал зловецкий вермут крепкий красный, вырабатываемый в печально знаменитом городке Бредске, — тот самый вермут, о котором один известный фельетонист написал открытое письмо директору бредского винзавода, макая перо в производимый им напиток.

Донату не потребовалось писать длинного опровержения. Свое мнение благодарного потребителя он уложил в две тихие, как вздох, крылатые строчки:

До чего же он прекрасный,
Этот вермут бредский красный!..

...Итак, обозвав заморский ликер «дурью африканской», Донат решил проскочить в райцентр, село Зюкино. Коротать вечер трезвым ря-

дом с разморенными водочкой и ушицей рыбаками ему не улыбалось. Он прикинул, что дотемна успеет вернуться, ну а если нет, то палатку можно поставить и при свете костерка.

Полки зюкинского универсама ломались от бутылок с диковинным напитком «Осенний сад».

— Сколь градусов? — осведомился Донат у продавщицы.

— Не пил, что ли, никогда? — усмехнулась продавщица. — Ну, вот и повстречались, — продавщица смерила Доната оценивающим взглядом. — Бери, не сомневайся — самое твое.

Донат взял пять бутылок. Подмигнул:

— На пробу.

— Ага! — Продавщица сделалась вдруг злой. — Напробовались тут вчера... некоторые.

Одну бутылку Донат уговорил сразу же за околицей села. «За встречу», — сказал самому себе. Он думал теперь только прозой: повивальная бабка поэзии — Разлука — временно убралась восвояси.

Вино привычно воодушевило Доната. Он гнал машину легко и плавно, каким-то внутренним зрением, словно локатором, заранее угадывая крутые повороты, нырки, промоины, бугристые корневища. Он слился с машиной, растворился в ней, его не стало, «газик» катился сам, как собака по следу, пофыркивая, обнюхивал дорогу, безошибочно выбирал самый верный и короткий путь.

В сумерки достиг Донат соснового бора, за которым — в двадцати минутах езды — должна была открыться Казачинская протока. Небо над головой еще светлело, но у подножий сосен быстро сгущался мрак. Вдобавок пополз откуда-то редкий туманчик, стал натекает в низинки и там плотнеть. Донат включил фары.

В одной из ложбинок машину ощутимо тряхнуло.

«Что за черт?! — изумился Донат. Он знал местность до последнего бугорка: колдобин тут сроду не было. — Деревцо разве какое свалилось?»

Он вылез из машины и чуть прошел назад. Под ногами было ровно.

«Газик» за спиной неожиданно вздрогнул — да так сильно, что Донату отдало в подошвы.

«Что ты, стерва, трясешься!» — разозлился Донат.

Он поехал тише, осторожно щупая дорогу фарами и колесами. Воодушевление прошло, Донат подумал было о второй бутылке «Осеннего сада», но решил: «Дотерплю до уха. Теперь уж близко».

...Казачинской протоки он не нашел. Машина стояла на знакомом вроде песчаном приплеске, но фары высвечивали не пегий лед, а свободные, ровно и мощно катящиеся воды Великой.

«Не может быть! — сказал Донат. — Куда же я забурился?»

Но тут же он и опознал местность. Ниже по течению что-то смутно белело. Донат развернулся и посветил туда. Там торосились заползшие на Дунькины Слезы льдины. «Эге! — сообразил он, приняв их за начало ледяного поля Казачинской протоки, за сторожевой торос. — Камыш-

лайка, выходит, правее осталась. Где же я налево-то свалил? До низинки или после?»

Он расстроился. Ему предстояло сделать изрядный крюк: минут пятнадцать до свертка, который он проскочил, да примерно столько же обратно — к реке. Полчаса — как отдать. А учитывая темень да туман этот сволочной — клади все сорок минут. Если не больше.

Донат плюнул и сорвал колпачок со второй бутылки.

Третью бутылку «Осеннего сада» Донат выпил после шестого подъезда к реке. Четвертую — после пятнадцатого.

Четвертую пить не следовало — он понимал это. Но должен был выпить — чтобы окончательно не задвинуться, не соскочить с катушек. На него нашло затмение. Который час мотался он по ночному лесу, то медленно полз, обшаривая фарами деревья в надежде отыскать знакомую просеку, то, отчаявшись, бросал машину в первый маломальский просвет, ломился по бездорожью, через кустарник и буераки — найти, найти лед Казачинской протоки!.. Но везде его встречала вода — темная, холодная, враждебная... Донат уже не понимал: где он? что с ним? Только горело в мозгу слово: «Нету!.. Нету!» Пропал, исчез, испарился четырехкилометровый отрезок реки — с островами Казачий и Дунькины Слезы, с прибрежной деревенькой Камышлайкой (шесть жилых изб, четырнадцать заколоченных, двадцать восемь ямок, заросших лебедой и крапивой)... «Газик» выбрался из редкого низкорослого соснячка и, подминая встречные кустики, переваливаясь, как утица, бесшумно покатился к берегу. Стрелка измерителя бензина подрагивала на нуле.

«Все! Схожу с ума! — сказал Донат. — Зашториваюсь!»

Он дотянулся до заднего сидения, нащупал бутылку, сдернул зубами металлическую «бескозырку». Пил торопливо, судорожными глотками, захлебываясь, проливая «Осенний сад» на подбородок, на грудь.

Потом вялой рукой машинально воткнул скорость — поехал.

Потом он заснул.

Разбудил Доната внезапно наступивший покой.

Он распахнул глаза — перед ним ничего не было: ни земли, ни деревьев, ни реки — только огромная бледно-сиреневая пустота. И по этой пустоте быстро летело навстречу Донату круглое, чуть подрумяненное снизу облачко. Или это он сам летел навстречу облаку — возносился.

«За мною! — догадался Донат. — Сейчас состыкуемся».

Он обреченно зажмурился.

Состыковка, однако, задерживалась. Донат снова открыл глаза и обнаружил, что облачко, продолжая лететь все так же быстро, в размерах не увеличивается. Он отвел от него взгляд и увидел вдруг дворники, замершие на ветровом стекле, приборный щиток, изгиб баранки. Донат возносился не один — вместе с машиной.

Он загадал на бутылку — на пятую: «Если лежит — значит, я на земле пока... Туда, поди, с бутылками не пускают...»

Бутылка лежала на заднем сидении, прикрытая телогрейкой.

И все же... чем черт не шутит... пропадет ведь добро...

Донат отпил половину. Потом осторожно приоткрыл дверцы. Чуть-чуть... Не хватало духу глянуть вниз — вдруг и там пустота. Тогда — что?

Землю он увидел сначала не под собой — она смотрела на него из зеркала заднего вида. Помахивала прошлогодними травинками.

Он выпрыгнул наружу — и тут же, дико вскрикнув, прынул назад и в сторону от машины.

«Газик» висел над страшной бездной, уткнувшись радиатором в пень, криво торчавший из самой кромки обрыва. Передние колеса еще продолжали медленно вращаться.

Донат узнал местность. Это был знаменитый Черный Яр. Двухсотметровая стена почти отвесно уходила здесь вниз, к воде... Вот, значит, куда его занесло! Двадцать пять километров до Казачинской протоки... если только существовала она в природе. Шестьдесят — до райцентра. Сто сорок — до города.

Но свет был этот! Этот свет — земляной, травяной, древесный!

Донат опустился на траву. Единным духом прикончил бутылку.

Животный восторг пронзил его измученный организм. Или это количество выпитого «Осеннего сада» внезапно перешло в качество. Он мотнул головой, разбросил руки и запел:

— А-а-ссенний сад! К чему слова! А-а-ссенним садом полна-а голова!

У каждого облака есть золотой край

У каждого облака есть золотой край...

Это латышская поговорка. Ее сказала мне одна сумасшедшая и прекрасная женщина. Может, более сумасшедшая, чем прекрасная. Может — наоборот. Кто в этом разберется? Но что сумасшедшая — точно. Какая же нормальная хозяйка станет утверждать, что чернослив слабит? А она скармливала его мне ложками и велела заедать изюмом. Да еще толкала мне в рот разные калорийные бутерброды с криком: «Ешь, негодяй!» — как Варвара объявившему голодовку Васисуалию Лоханкину.

Наверное, мой желудок оказался нестандартным. Проклятый чернослив стоял у меня в горле. От изюма, казалось, даже на ладонях выступал липкий пот. Вдобавок от каких-то таблеток, скармливаемых мне каждые два часа (с той же — очистительной — целью), я впадал в анабиоз и целыми днями, глухо стелая, валялся на диване. Пользуясь моей беспомощностью, из темного угла выходил огромный черный кот Атос — вылитый булгаковский Бегемот — и, злорадно ухмыляясь, укладывался на мое вздувшееся чрево.

О Боже! Говорят: вольному — воля, спасенному — рай. «Уж лучше бы воля! — неблагодарно думал я. — Спаси нас, Христос, от спасителей, а там — хоть в ад!»



Свидетельствую, кстати, — для будущих самодеятельных врачей-терапевтов: чернослив вышел из меня лишь на четвертый день, более нежный изюм — на пятый.

Однако не в этом дело. А в том, что у каждого облака есть золотой край.

Это было произнесено в трудный для меня момент, когда казалось, что края уже нет, то бишь есть — но тот, о котором говорят: все — точка, приехали — уперлись.

И вдруг:

— У каждого облака есть золотой край.

Но сначала все-таки о Крае Света.

Он существует, Любимая. И я там был.

Помнишь ли? Помнишь ли камешек с Края Света? Больше я ничего не привез тебе оттуда. Наверное, больше ничего и не привозят любимым.

...Уже лежал в кармане билет на самолет и милицейский пропуск на Курилы, и я вышел погулять с нашей трехмесячной дочкой на руках, а когда возвращался обратно, вдруг реванул, взорвал воздух над головой стартовавший с испытательного полигона авиазавода сверхзвуковой истребитель. У дочки испуганно распахнулись бессмысленные глазенки. А мне страшно сделалось, до суеверия. Показалось: она испугалась за меня, собравшегося — внезапно и легкомысленно — так далеко, на Край Света. Даже знаменем каким-то окатило: не вернись!

...Я вернулся. Как возвращался много раз — и до, и после.

Ты не ждала меня в этот день. Я открыл дверь своим ключом. Ты вскочила с дивана... нет, ты запрыгала на нем, как на батуте, и закричала:

— Ну! Говори! Что ты мне привез?

Я стыдливо опустил глаза долу... и вдруг увидел за отворотом джинсовых брюк (тогда их делали с отворотами) плоский серый камешек. Как он туда попал? Как не вытряхнулся, не выкатился в гостиницах, аэропортах, на спусках, тропах, перевалах?..

— А тебе, — сказал я торжественно (лицедей, лукавец), — тебе я привез камешек с Края Света!

Это был, наверное, самый дорогой мой подарок за все годы нашей жизни. Для тебя — самый дорогой.

Ты просверлила в камешке дырочку, повесила его на золотую цепочку (мне все кажется, что цепочка была золотой — хотя откуда бы взяться у нас золоту?) и носила на шее, как амулет, — удивляя недоумевающих подруг.

Впрочем, ты нередко удивляла их.

Помнишь, как нам дали первую нашу однокомнатную квартирку? Сотрудницы твои из лаборатории окружили тебя с расспросами: «Ну как?.. Что?.. Палас вы уже купили? А шифоньер?.. Надо срочно покупать!»

— Да на фига нам шифоньер! — отбивалась ты. — Там же шкафчик есть — стеной.

О, как взвились уязвленные дамы!

— Ах вот, значит, что! Мы, значит, мещанки, тряпичницы! Ты на это намекаешь?.. А ты, значит, одна такая — романтическая натура?! Смотрите-ка, шифоньер ей не требуется!..

А нам и правда не нужен был шифоньер. Мы внесли в первую квартиру раскладушку и почему-то большой чугунный котел для приготовления плова, позаимствованный на время у прежних наших квартирных хозяев и, в общем-то, совершенно не нужный им. После чего, кстати, я завязал поясок на несерьезном пальто из джерси (были такие в моде), сдвинул на ухо беретик, сказал: «Пока, дорогая!» — и укатил от тебя... в Стокгольм.

А в другой раз? (Это я все про удивление подружек.)

Одна из них как-то спросила тебя: чего, мол, такая квелая, словно невыспавшаяся. Ты ответила: «Да с мужем сегодня до четырех утра про-разговаривали». Подружка вытаращила глаза: «Да о чем с ним разговаривать?.. С мужем-то?»

Любимая! Я пишу тебе сейчас отсюда, с берегов холодного, замерзающего моря, где строго стоят золотые сосны, потому что над ними плывут облака и у каждого из них золотой край. Пишу... нет, обращаюсь к тебе через много тысяч километров... и много лет — *Любимая!* Наверное, я должен был сказать тебе это слово гораздо раньше. Но слово как-то не выговаривалось. Или в этом не было нужды? Или оно просто жило, как живет вольная птица? Существовало, как воздух?..

Я все думаю, думаю, думаю здесь, *Любимая*. О тебе думаю. О себе. О нашей жизни. Что-то с нами происходит — нехорошее. Или только со мной?

Раньше у каждого нашего облака был золотой край. А может, над нами вообще не было облаков — одни золотые края их?

Мы всегда легко расставались. Куда только я не уезжал от тебя! В Дивногорск, на Алтай, в Агинские степи, Борзю, Варшаву, даже вот — на Край Света.

Мне было хорошо! Не без тебя хорошо — о тебе я скучал повсюду. Просто хорошо. Хорошо с новыми людьми, на чужих мостовых, в районных гостиницах, в комариных болотах (прости за красоту). А ты, если даже нас разделяло чуть ли не полпланеты, все равно была близко.

И мне тогда все удавалось. Не давалось легко — нет! Строчки свои я всегда вырывал зубами. Вот Шукшин говорил: «Пером вытаскиваю из бумаги живые голоса людей». Я, по скудности таланта, вырывал зубами. Но вырывал! Азартно, бессонно, впадая в болезнь. Знал (или казалось — знаю), что вырывать. И верил — надо!

И еще. Я всегда нахально верил, что ты любишь меня. Кого же другого могла ты любить? Ведь я — единственный и неповторимый.

И вдруг все так больно переменилось. Не вдруг, не вдруг (сейчас поймешь на слове) — давно и незаметно стало меняться. Я чувствую, что теряю тебя. И теряю себя. А может, потерял уже? Ты по-прежнему

легко отпускаешь меня, но теперь мне кажется — гонишь. И уже в аэропорту мне хочется повернуть обратно, хотя я знаю, что возвращусь не под золотой край облака, а, скорее всего, под холодную и темную середину его. Не подумай, я не о твоём только холоде говорю — о нашем.

Новые встречи, новые люди стали неинтересны мне, не любопытны. Новая информация не проглатывается как заманчивая наживка. Зачем? — когда старая давит непереваренной свинчаткой. Чужие города, которые, я знаю, много краше моего, угрюмы, неудобны и больно толкаются каменными локтями. Мимо чужих цветов и деревьев я прохожу равнодушно.

Помнишь Варну? А твой лихой приезд ко мне в Прибалтику? Мы были там счастливы. Теперь же каждая поездка без тебя превращается для меня в ссылку. Я оказываюсь сосланным в самого себя, в муку своей немоты.

Да, я нем — и это, как видно, главное. Я не знаю больше, о чем говорить... и для чего говорить, и — для кого. Мне перехватывает горло. А все сказанное раньше — с такой верой и веселой воинственностью сказанное, мнилось, на пользу Отечеству — бьется где-то в глухих резиновых стенах и плачет, как забытое дитё. Серьезно. Однажды был случай: ночью в гостинице заплакал за стеной ребенок. Тоненько так заскулил. И мне представилось вдруг, что это скулит взаперти какая-то моя отчаявшаяся строка.

Вот сейчас здесь после короткого солнца слепилась пряничная зима. Навалило пропасть снегу. Деревья стоят в таком пышном куржаке, что его и куржаком-то в нашем, сибирском, понимании не назовешь. Скорее — сказочное убранство. И точно как в сказке все, как в немецких лубочных мультяшках. Гномиков только не хватает.

Тепло, тихо, покойно.

Но нет покоя, нет мира, нет благодати в моей душе. Думаю о тебе, о доме, о нашей неухоженной, растаскиваемой Сибири. Все туда устремляюсь мыслями. И еще никак не отвязываются грозно-тревожные слова, произнесенные земляком нашим с трибуны недавнего писательского съезда: если мы не спасем Байкал, позволим повернуть на юг сибирские реки, не уберем земли русского Севера — можно будет заказывать поминки по России.

А в газетном-то отчете нет этих слов. Выпали они в осадок, под неизбежные сокращения угодили. Во как!.. И Валентин на фотографии такой благодатный — микрофоном, словно кулачком, щека подперта.

А в нашей уютной столовке какие-то величавые старики и сморщенные старухи преувеличенно громко говорят о литературе и литераторах: «Да он же прохвост из прохвостов — что вы мне толкуете!», «Какие, матушка, развлечения — мне роман заканчивать надо!»

А молодые поэты (эти потише, словно бы заговорщицки, с усмешкой) сообщают друг другу: «Семьсот строк за неделю». Это он, стало быть, сукин кот, семьсот строчек стихов насобачил за неделю. Семьсот!

Какие, к черту, сотни? Зачем? Во имя чего?

И стыдно отчего-то, стыдно сознавать себя российским литератором!

Ох, это уж я, наверное, того... к чужой боли примазываюсь. Или прежняя моя во мне ворошится. Боль-то сегодняшняя — она на действие подвигает. А я чего за последнее время надеивался? Подействовал тут... наемни. В самый снегопад поднимался от залива в горку, к нашей тихой обители... и обогнала меня черная, крупноначальственного вида «Волга». Так это деликатно сбикинула с дороги — я в снег заступил по колено. Но обогнала — и повыше забуксовала. Пассажир вылез — тоже крупноначальственного вида: высокий, сытый, красивый, молодой еще, в дорогой шапке. Шофер газует безуспешно, рвет машину, крутит. Выскочил — под колеса заглядывает. *Этот* стоит — ни мур-мур. Я подошел, заговорил: терпите, мол, бедствие? Ай-ай, плохо дело. Ну, то-се, советы разные. Назад, вниз скатиться порекомендовал — по изобретенному когда-то тобою способу (помнишь Салаирский кряж?)... Не скатывается машина и назад. И тогда я — дурак старый, остеохондрозник! — кинулся с водителем и примкнувшим (кончиками пальцев) *этим* задок у «Волги» заносить на колею. Представляешь? Это после того, как два с лишним года прохромал от скамеечки до скамеечки!

Потом уж подумал о себе — отстраненно так: «Во! Приехал... сибирячок — подсобил сытым мордоротам. Тьфу, да и только!»

Любимая! Боюсь я. За себя боюсь: наверное, это все же болезнь. За тебя боюсь — что разлюбишь меня совсем. Или уже разлюбила. И если это случится или случилось — тогда последний костыль из-под меня долой.

Что-то происходит с нами. Не со мной же одним.

Ну ладно, мы не стали богачами. Однако шифоньера у нас целых два. И даже имеется стенка.

Но где тот камешек — с Края Света?

Ты знаешь (это смешно уже, это мистика прямо), мне кажется, я знаю, чего тогда испугалась дочка. Не самолета, нет. Она прозрела вдруг то далекое время, когда у нашего облака затмится золотой край.

Я не хочу, чтобы он затмился, — слышишь?!

У каждого облака есть золотой край.

У каждого! Должен быть!

Не отпускай меня больше никуда одного, Любимая!



Сергей БАНИН

ПОЧИТАЕМ САМОХИНА

О некоторых особенностях прозы писателя

Оговорюсь сразу. Это не аналитическая статья в литературоведческом смысле. Скорее, *заметки на полях* книг Николая Яковлевича, имеющие целью поделиться мыслями, которые приходят на ум при чтении замечательного автора, и указать, как говорят критики, на отдельные черты его авторского почерка и творческого пути. Неповторимые и уникальные. И еще. Писатель широко процитирован здесь — для наглядности представленных соображений, и эти отрывочки сами по себе убедительнее любого анализа.

Итак.

У Самохина есть рассказ, из поздних, «Лето солнечного затмения» (впервые — «Сибирские огни», 1986, № 9), не выдуманный, грустно-ироничный, со всеми признаками его прозы восьмидесятых.

Суть, упрощенно, такова: автор, литератор, признается — мол, писался я, дорогой читатель, и в зрелом своем возрасте пребываю творчески опустошенным и, следовательно, ни на что не годным, а жизнь моя поэтому по любому счету бессмысленна; славные годы, когда писалось и даже удачно писалось, остались в прошлом, а сейчас ничего нет: «Ты пуст сейчас — и это главное. Пуст сейчас — и, значит, бездарен навеки».

Рассказ получился как будто «из ничего». Возник буквально из ощущения пустоты, ощущения, может быть, временного, даже сиюминутного, но именно в нем и есть начало рассказа, его «первый» замысел. Разумеется, без уловки здесь не обошлось: в процессе написания Николай Яковлевич (в дальнейшем — Н. Я.) все сознательно перепутал, замаскировал под литературу, как бы отступив на два шага в сторону от себя самого, предоставив тем самым читателю наблюдать за собой в виде печального героя. Именно «как бы», потому что за чистую монету выдается прием.

Несмотря на нарочитую искусственность ситуации — видите, я рассказ пишу, просто показываю, как можно олитературить даже обык-



новенную хандру, или не обыкновенную, судите сами, — Самохину не удалось полностью скрыть первый звук, тон, побудительный мотив, из которого и выросло «Лето», — чувство растерянности, писательской неуверенности в себе просвечивает, проступает сквозь художественную конструкцию.

Схожие по звучанию рассказы можно отыскать у позднего Самохина — та же «Сизая кукушка на железном заборе» или «Лиса близехонько бежала». Они очень близки интонационно, но там все выстроено вокруг основной мысли, идеи. В «Лете» же главным является настроение. А оно, прямо скажем, невеселое и даже — упадническое.

Подобное же ощущение возникает еще только от одного, при жизни не опубликованного, рассказа «нараспашку» — не рассказа даже, стона или крика, как хотите, — «У каждого облака есть золотой край» («Северо-Восток», историко-художественное приложение к «Сибирской газете», 1991, № 4).

При публикации его в «Северо-Востоке» в сопроводительной заметке было, в частности, сказано: «Вглядываясь в лица сограждан, он, благодаря природному дару, очень рано заметил коренные человеческие пороки. И смеялся над ними, сначала легко, безоблачно, с возрастом — тяжелее, и то был грустный — *исчезающий* — смех».

Всю позднюю прозу Самохина (как уже было обозначено — прозу восьмидесятых*) можно назвать зрелой, весомой, умной, и вся она написана под этим знаком — тающей самохинской улыбки, в чем можно убедиться, перечитав писателя — от ранних газетных юмористических миниатюр 60-х годов через полновесные рассказы 70-х — до вполне уже серьезных, основательных вещей 80-х. В «Лете» вдобавок ко всем названным качествам возникает ощущение утраты чего-то важного. Того, что можно назвать смыслом существования автора. Что-то идет не так. Н. Я. недоволен собой. Причем настолько, что недовольство становится публичным, явным, проявившись в замечательном рассказе, как ни старался он скрыть за иронией, за условностью главную причину его появления.

А в чем, собственно, дело? Что случилось?

Самохин последнего своего десятилетия становился, скажем так, «серьезным писателем». Он говорил о вещах важных, касающихся главных тем нашей жизни, о разных обстоятельствах, ей сопутствующих, и поведении людей в них. Об этом и его последние повести «Сходить на войну», «Наследство», об этом его поздние рассказы: «Герой», «Тоськины женихи», «Женитьба Телятникова», «Витя», «Тренер Суворов», «Мешок кедровых орехов». В них он непривычно серьезен и уже почти нигде не улыбается.

* Творческая хронология Н. Я. у меня очень проста — три временных отрезка: период шестидесятых годов прошлого века, период семидесятых и «поздний» — восьмидесятых. Так совпало. Творческий период в тридцать лет...



Но вот что характерно: писателей солидных, авторитетных, пишущих на «вечные темы» — на тот момент в стране было немало. При всей жанровой разноплановости, различиях в манере письма, степени одаренности — их объединяла именно важность, значительность решаемых «задач». В условиях того пронизанного идеологией времени писатель непременно обязан был служить народу, то есть заниматься литературным трудом в первую очередь на благо общества, а уже во вторую, это уже у кого как получится, внимать своей музе. Вот это *служение* и отличало ответственных писателей от прочих безответственных сочинителей и одновременно объединяло их. Объединяло в целое, скрывая различия, делая большинство из них *на одно лицо*. Заметны были лишь наиболее талантливые художники в первых рядах. Поздний Самохин свободно и по праву становился одним из «настоящих писателей современности», занимая место в когорте, причем далеко не последнее. Но при этом как будто *переставая отчасти быть самим собой*.

Недаром в отзыве известнейшего на тот момент прозаика Федора Абрамова на рассказ Н. Я. «Герой» (рассказ-воспоминание о сторожевой собаке семейного дома — из послевоенного детства автора), помимо прочего, в качестве высокой оценки приведено: «Крепкая, честная вещь! Все очень точно, весомо и просто. С истинным пониманием жизни, человека и зверя. И что еще меня восхитило — без малейших “художественных” побрякушек...»

Соглашусь с оценкой. Отличный рассказ. Замечу, однако, что именно «художественные побрякушки» и сделали Самохину имя. В восприятии Абрамова «Герой» был написан крепким, мастеровитым, не известным ему автором (он даже предположил вначале, что начинающим), и фамилия у него могла быть любая. Но в том-то и дело, что Самохин отличался от крепких и мастеровитых литераторов тем, что помимо мастерства имел качество уникальное, которое и делало его особенным, не похожим на других. Его «художественные побрякушки» заключались в неповторимой интонации, в способности видеть жизнь в бытовых ее проявлениях не так, как обычно, а как бы сбоку, в удивительном ракурсе, и, главное, в умении это видение передать лаконично и просто, но что еще более важно — «немножко улыбаясь при этом».

Почитаем Самохина семидесятых, чтобы убедиться в сказанном. Например:

В промежутках между ныряниями папа воспитывает меня...

Методов воспитания у папы несколько. Чаще других он употребляет показательный, или — как я его про себя называю — метод вопросов и ответов.

— Малыш, а что сейчас на моем месте сделала бы мама? — спрашивает он.

Отвечать нужно так:

— Мама взяла бы ремень.



- Заведомо, — кивает папа. — А я что делаю?
- А ты ограничиваешься замечанием.
- Вот именно, — соглашается папа. — А ты что должна делать?
- А я должна это ценить.
- Молодец, — совсем уже благодушно говорит папа. — Сообщаешь.

Это метод понарошечный. Папа любит демонстрировать его перед дядей Колей и Паганелем, чтобы показать им, какое у него хорошее взаимопонимание с дочерью.

Второй метод — заугольный. Его папа не любит демонстрировать. Поскольку углов здесь нет, папа уводит меня за палатку и там, раздувая ноздри, сдавленным голосом спрашивает:

— Ты чего добиваешься, дрянь?! Хочешь, чтобы я немедленно отправил тебя домой? Ты этого хочешь, говори?

Можно, конечно, ответить: «Ага, хочу», — все равно ведь папа не отправит меня одну за пять тысяч километров. Но, во-первых, я понимаю: дети — а я, в глазах папы, ребенок, да еще настырный — не должны так отвечать. И, во-вторых, мне кажется, что если я так отвечу, раскаленный докрасна папа просто разорвется на мелкие кусочки.

— Не хочу, — говорю я, потупя голову.

— Ну, смотри! — папа трясет пальцем перед моим носом. — Последний раз предупреждаю! Последний!..

(«Тоя, Коля, Оля и Володя здесь были», 1973)

Вот типично самохинский подход к «материалу». Он берет на заметку крошечный эпизод, реальный, а не выдуманный, мимо которого прошли бы многие из записных юмористов, и показывает его как увидел — под таким вот углом. И оказывается, что будничная жизненная ситуация — отец воспитывает дочь-подростка — может вызывать улыбку. Самохин очертил ее кратко и наглядно: поневоле улыбнешься над *раздувающим* за палаткой *ноздри* папой, сдавленным голосом вопрошающим дочку, чего она, *дрянь такая*, добивается, и *трясушим* у нее перед носом пальцем, чем он, папа, очередной раз предупреждает ее, понурую, уставившуюся в землю, но все понимающую, что этот раз уже точно — *последний*.

... Через полтора месяца ... Сеня прислал мне пробы.

Я глянул на снимки и... содрогнулся. Несомненно, это был я и никто другой. Все здесь было моим — все до последнего волоска сохранил объективный Сеня. Но, господи Иисусе Христе! — что это был за я!.. Родинки мои налились и выглядели вулканическими бородавками. Лоб рассекал глубокий рваный шрам, похожий на овраг. Под мутными воспаленными глазами висели мешки. Нос!.. Носом своим, в общем-то, я похвастаться не могу, он не составляет предмета моей гордости. Когда-то, в юности, я занимался боксом, и это занятие оставило некоторые следы на моем лице. С годами, однако, все более-менее подзаровнялось — в том числе и нос принял вполне терпимые очертания. Так вот: то, что не могли сделать кулаки противников...



сделал змей Сеня при помощи невесомых света и тени. Нос он мне сломал. Сломал, разделил на две половинки, а затем прилепил их обратно, перепутав местами.

Словом, это было не лицо, а сильно пересеченная местность, горный ландшафт, — с провалами, осыпями и хребтами...

С грустью убедился я, что Сеня бешено талантлив. Но, боже, до чего безжалостный это был талант! Как сумел он снять не меня, а только мои бородавки, мои морщины и шрамы, мои отечности, мою большую печень, пошаливающее сердце, мою бессонницу и скверную привычку курить натошак?

<...>

Тот самый коллега, который отсоветовал мне идти в фотоателье, поглядев на снимки, сказал:

— Мда... Эта рожа вполне могла бы украсить милицейскую витрину по розыску особо опасных преступников.

Я согласился с ним, заметив, что искали бы в таком случае все же, наверное, не меня, а кого-то другого.

— Не скажи, — возразил коллега, переводя взгляд с оригинала на копию и обратно. — Схвачено исключительно точно. Исключительно... *Вот мы, оказывается, какие на самом-то деле*, — добавил он и почему-то *отчужденно поджал губы*. (Здесь и далее в цитатах курсив мой. — С. Б.)

(«Объективный портрет», 1973)

Н. Я. не без улыбки предлагает попереживать вместе с ним, разглядывая автопортрет, заказанный на свою беду у знакомого фотографа, мастера художественных снимков, для книги своих рассказов, обращая при этом внимание на забавный штришок — заключительные слова коллеги, смешно окрашивающие весь эпизод. Точнее, именно этот штришок он намеренно добавил, найдя несколько нужных слов. Скупно и точно.

Ах, лучше бы Яков молчал еще два года! Пока сидел он с мокрым носом возле мамки, его вроде не замечали. А тут сразу все заметили. Особенно приглянулся Яков одному товарищу, в галифе и толстовке, ехавшему на верхней полке.

— Ну-ка, орел, лезь ко мне, — позвал он. — Ух ты, какой кавалерист! Ты чего еще умеешь?

— Песни играть, — признался Яков.

— Тогда заводи, — сказал товарищ. — А я тебе конфетку дам.

Яков, старательно разевая редкозубый рот, заиграл песни. Он пропел от начала до конца «Возьму в руки по две штучки — расстрелю я белу грудь», «Скакал казак через долину», «Посеяла огирочки» и «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла».

Товарищ пришел в умиление.

— Ах ты, косопырь! — говорил он, тиская Яшку за плечи. — Ах ты, жулик! — Он взял лежавший в головах портфель, раскрыл его, вынул бумажный кулек, порылся в нем толстыми пальцами и протянул Якову три липучих конфетки.



Яков слопал конфеты и, подбодренный гостинцем, заявил:
— Я еще и припевки знаю.
— Да ну! — изумился товарищ.
— Ага! — сказал Яков. — Я много знаю. — И, не дожидаясь приглашения, запел частушки.

Мама Татьяна побелела, как снег.

У папы Прохора ослаб низ живота и задрожали ноги.

Яков жарил частушки деревенского дурачка Алешки Козюлина. ...по прозвищу Сено-Солома... <...> ...Но такие это были вредные частушки, что когда Сено-Солома, приплясывая, напевал их под окнами сельсовета, то даже не робкого десятка мужики надвигали шапки на глаза и скорее сворачивали куда-нибудь в проулок.

Товарищ в галифе ужасно расстроился. Он слез с полки и начал обуваться, *сердито и решительно наматывая портянки*. На Татьяну с Прохором товарищ не глядел — *в упор их не видел*.

Татьяна, тряся у груди трехмесячную Маруську, высвободив одну руку, поймала Якова за голую пятку и скомандовала:

— А ну, слазь, черт вислоухий. Ты где, паскудник, такое слышал? Мать тебя обучила? Говори — мать? — тут мама Татьяна даже заплакала. — Да мать всю жизнь на чужого дядю батрачила! Одного дня сытой не была! У-у, идолово племя!

Товарищ натянул второй сапог и, по-прежнему не глядя на Татьяну, сказал:

— Ты, гражданка, своим бедняцким происхождением не козыряй! Не перед кем тут... И мальцу ногу зря не выкручивай. Ему этими ногами, может, до полного коммунизма шагать. Тем надо было ноги крутить, кто вокруг твоего ребенка *на волчьих лапах ходил и вражьи слова нашептывал*.

Сказав так, товарищ в галифе ушел в тамбур — курить махорку и нервничать.

(«Рассказы о прежней жизни», 1972)

Этот эпизод Самохиным уже не «подсмотрен», а скорее «приблизительно восстановлен», то есть написан, как, собственно, и вся повесть, по мотивам воспоминаний, со слов очевидцев той, прежней, жизни. И написан он настолько точно, что напоминает скорее кино. Словно смотришь хороший фильм, снятый и сыгранный мастерски. И опять-таки не без улыбки воспринимая пение припевок «мальца Якова», заставившее побелеть мать Татьяну и ослабнуть низом живота отца Прохора и так огорчившее товарища в галифе. Он, этот товарищ, как будто сыграл эпизодическую роль, но очень убедительно, появившись в повествовании всего на несколько абзацев. Его фигура запоминается, а заключительная фраза про «волчьи лапы» и «вражьи слова», с которой он уходит из книги «в тамбур — курить махорку и нервничать», сказанная причитающей матери Якова, придает особый блеск всей разыгранной сцене. В ней и усмешка сегодняшнего дня при взгляде назад на недавнее прошлое страны, и грустная правда о нем, о таком прошлом...

В этом вообще особенность самохинской прозы — ее наглядность, киношность. Он пишет лаконично, но с исключительно точным попаданием слов на свои места.

Часам к шести вечера, когда они усидели за дружеской беседой остальные бутылки, Венька вспомнил про замурованного дядю Сеню.

— Слушай, — начал он. — Ты знаешь, чего я к тебе зашел-то...

— *Зна-ю!* — сказал Леха и любовно взял Веньку пятерней за лицо. — Уважаешь меня — вот и зашел... Уважаешь — нет?

— Да я тебя уважаю, уважаю, — сказал Венька. — Но тут мужик один в подвале сидит закрытый. Замок заклинило. Надо открыть.

— Кто такой?

— Дядя Сеня дворничихин.

— А, крючок этот. Килька горбатая, — сказал Леха, ткнув вилкой посиневшую картошку. — Открыть могу. Но за так не буду. Пусть литр ставит.

(«Кавказский пленник», 1974)

Тогда капитан по радиации спросил об этом же диспетчера.

— Переседи их на «жучка», — ответила диспетчер.

«Жучок», маленький катеришко, болтался где-то поблизости.

Обрадованный капитан выскочил на палубу и закричал в рупор:

— Эй, на «жучке»! Подойди к борту — сними пассажиров!

— *Не подойду-у-у!* — *тоскливо донеслось* с невидимого «жучка». — *Расшибу-у-уся!*

— Да кого тебе там расшибать, кого расшибать-то! — сердился капитан. — Подходи, чтоб тебе потонуть!.. Мне на лов надо, я план государственный срываю!

«Жучок» в конце концов подошел, о чем мы догадались по шварканью у борта.

— Ну, прыгайте, что ли! — крикнули с него.

Мы боязливо сгучились на палубе, не понимая, куда же прыгать — за бортом был сплошной мрак.

— Прыгай, мешочники толстозадые! — *рявкнули сзади, и мы посыпались вниз*, в темноту, ударяясь о какие-то железяки и ящики.

(«Толя, Коля, Оля и Володя здесь были»)

Это тот самый взгляд. Особенный дар — так видеть. Видеть и суметь описать увиденное, найти слова.

Здесь тонкость в жесте, в акценте на кинематографичность этого жеста: «*Зна-ю!*» — говорит приятелю захмелевший Леха и берет его «*любовно пятерней за лицо*», выражая тем самым свое доброе расположение к нему. Именно в этой особенности самохинского угла зрения и заключен его юмор, он мягко переводит взгляд читателя на неприметную вроде бы деталь показанной сцены, и она, эта деталь, очень характерно окрашивает повествование, и получается забавно, комично, по-настоящему смешно и в то же время очень узнаваемо, «жизненно». В «корабельном» эпизоде



Самохин как будто просто пересказал ночную переключку морских судов, ненавязчиво подчеркнув в ней «тоскливо» доносящееся «расшибу-у-у-ся». И снова сцена получилась типично самохинская.

В два с небольшим года Яков Гришкин заговорил. Он говорил, правда, и раньше, но только отдельные слова: «мама», «папа» и «бу-бу», что переводилось, глядя по тону и выражению, — как «бабушка» или «мизгирь». А тут он заговорил сразу и бойко, словно было ему не два с гаком, а лет, допустим, пять-шесть.

Случилось это в поезде, который медленно тащился по белесой солончаковой степи. Солнце — весь день тоже белое и маленькое, как булабочная иголка, — разбухло к вечеру, покраснело и быстро покатилося за край земли. От редких кустиков травы упали тени, и на загустевшем небе проклюнулись звезды.

Яков, стоявший у окна, вдруг отчетливо сказал:

— А вон верблюд идет.

Прохор, дремавший в углу на скамейке, встрепенулся и ошарашенно переспросил:

— Чего-о?

— А вон верблюд идет, — повторил Яков. — У него две горбы.

— Горба, — машинально поправил Прохор. Он поискал глазами, на чем бы еще испытать прорезавшиеся способности Якова, — и увидел возле другой стены вагона соседа, усатого плотника, с которым сдружился за длинную дорогу.

— А это кто — знаешь?

— Знаю, — ответил Яков. — Дядя Граня-плотник — мировой работник!

— Так, — сказал отец и в растерянности поскреб затылок. — Верно... Ну иди стрельни у него табачку на закрутку.

Яков пошел и стрельнул.

(«Рассказы о прежней жизни»)

Вечером в наш подъезд пришли влюбленные. Было слышно, как они решают там свои матримониальные вопросы.

— Бу-бу-бу-бу! — сдержанно гудел мужской голос.

— Зола все это! — отвечал девичий. — Любви нет, есть одно половое влечение.

— Бу-бу-бу-бу! — убеждал в чем-то мужчина.

— Ну, ты! — говорила девица. — Руками-то не шуруй! Вот женишься — и будешь шуровать!

Наступила ночь — и влюбленные притихли.

Тогда из близлежащего частного сектора прибежала собака. Пару раз собака гавкнула басом, прочищая горло, а затем залаяла звонко и безостановочно. Видимо, она задалась целью побить какой-нибудь собачий рекорд по продолжительности лая.

Я кинул в нее бутылкой из-под кефира.

Собака с визгом убежала в частный сектор и через пять минут вернулась в сопровождении целой шайки своих приятелей.



Бутылок больше не было.

Я накрыл голову подушкой, положил сверху годовую подшивку «Экономической газеты» и так попытался заснуть.

(«Окна во двор», 1971)

Оговорюсь: первые рассказы Самохина 60-х годов вполне анекдотичны. Здесь основной акцент был сделан на комичность положения, ситуации. И останься он в этом русле — действительно превратился бы в типичного юмориста. Но вместо смешных придумок Н. Я. очень скоро перешел на «случаи из жизни», то есть реальные, известные ему истории, но рассказанные по-своему, с акцентом на едва заметные забавные детали. В результате они получили особенный оттенок звучания.

— Дядя Сеня! — крикнул Венька, стукнув кулаком в дверь. — Живой ты там?! Нашел я Леху-то... Только он за так не берется. Говорит: литр поставит — открою. Ты как — согласен? Мы бы сейчас тогда сбегали — взяли пока на свои.

— Вениамин! — глухо донеслось из подвала. — Голодер ты, паскудник — и больше ничего! Тьфу!

— Мне — что, — сказал Венька. — Мне сказали, я передаю. Ты, между прочим, учти, дядя Сеня, — через пятнадцать минут водку прекратят продавать.

— Даю на литр, — смирился дядя Сеня. — Даю! Чтоб вам захлебнуться!

— Тогда жди маленько. — Венька с Лехой торопливо затопали сапогами вверх по лестнице.

Минут через десять они прибежали обратно, и запыхавшийся Венька сердито крикнул:

— Ну, дядя Сеня! С тобой свяжешься — сам не рад будешь! Говорил ведь — не базарь. Нет, он базарит и базарит. Не продают уже водку-то. Теперь только в ресторане, а там, понял, наценка. Говори давай по-быстрому: согласен с наценкой?

— Волки вы! — плачущим голосом сказал дядя Сеня. — Волки вы, шакалы! Как вас земля носит?! Согласен, будь вы трижды прокляты!

— Ну, тогда жди еще!

Опять они утопали, и дядя Сеня остался ждать освобождения и оплакивать свои ухнувшие ни за что ни про что денежки.

Венька с Лехой со скандалом пробилась в ресторан, купили две «Экстры», на обратном пути зашли к Лехе за инструментом и там, для поддержки слабнувших сил, раздавили одну «Экстру». После чего Леха упал головой в сковородку и заснул.

(«Кавказский пленник»)

...Из отверстия плюхнуло сильнее, и ботинок моментально промок.

— Только этого не хватало, — загрустил Паганель. — Не хватало промочить ноги сейчас, когда я еще чувствую слабость.



Но грустил он недолго. Большая волна накрыла его с головой, в белой пене мелькнули оба промокших дяди-Толиных башмака.

Я ухватилась за папу, папа — за якорную цепь — и мы удержались. Все остальные пассажиры уже катились по мокрой палубе к борту. Волны догоняли их, переворачивали, рвали из рук чемоданы и авоськи.

— Спасайте детей и женщин! — страшным голосом закричал дядя Коля. Расставив ноги и согнувшись, он держался за свой чугунный рюкзак, который не оторвал бы от палубы и девятибальный шторм.

Первым спас ребенка Паганель. Его припечтало спиной к переборке и прямо в объятия заплеснуло одного из конопатых пацанов.

Паганелю не за что было ухватиться руками — и он спас мальчишку. Следом, подталкиваемая волной, к нему мелко присемила бабушка с вязанием. Паганель заодно спас и бабушку.

(«Толя, Коля, Оля и Володя здесь были»)

Вот этим и отличался Самохин сразу — мягко-ироничным и, скажем так, *доброжелательным* взглядом на окружающую его жизнь. Это можно сравнить с умением видеть солнечный свет, точнее, различать его в сумерках и указывать — вот здесь, видите, значительно светлее, а вот там вообще светло, солнце пробилось.

Его простое «зарисовывание», его наброски с натуры поначалу не были обременены ничем, кроме добродушного подтрунивания над «отдельными недостатками». Был рядом, увидел, услышал и зарисовал как мог. Пером, легко, на одном дыхании. Рисунки выходили, может быть, и ни к чему не привязанные, но *светлые*. Вот здесь и был настоящий Самохин, эти зарисовки — сначала рассказы, а затем первые повести — и сделали его заметным в литературной среде того времени.

Именно тогда, к середине 70-х годов, определение «самохинский стиль», «самохинская интонация» стало по-настоящему содержательным. Это было явление совершенно особенного прозаика, стоящего уж очень отдельно от других — десятков талантливых, начинавших тогда свой путь в литературе.

Оригинальность Самохина была замечена критикой, и он был квалифицирован ею как писатель «юмористического направления», что было совершенно не верным. Что значит «юмористическое направление»? Олитературенные анекдоты социально-сатирической направленности — вот чего ожидали и с какими мерками подходили зачастую к Самохину. Но в его случае ни о каком «юморе» не может идти речи. Самохин вообще не юморист. Он просто — Самохин, то есть сам по себе. Прозаик с особенным, оригинальным взглядом, не поддающимся воспроизведению. Это, собственно, и показало время — он так и остался *единственным в своем роде*.

Через полчаса гости перетасовались, за столом возникли промывы, и Квасов со Стасиком, ерзая по стульям, сползлись, наконец, вместе.

— Слушай, — зашептал Стасик, — ты всех здесь знаешь? Кто этот оптимист?



— Почему оптимист? — спросил Квасов, подняв глаза на долговязого молодого мужчину.

— Он с бородой, — грустно сказал Стасик. — Люди, носящие бороду, имеют интерес к жизни... Так поедem мы с тобой на охоту? У меня есть знакомый егерь... я говорил тебе?

— Да, ты говорил мне, — подтвердил захмелевший Квасов. — Ты рассказывал мне об этом бесстрашном человеке.

— Вот видишь, — сказал Стасик. — У него четыре собаки.

— Зачем нам четыре собаки? — спросил Квасов. — Скажи — зачем?

— У-у-у! — покрутил головой Стасик. — Какие собаки! Львы!.. Но мы возьмем двух.

— Хорошо... Значит, берем двух собак...

Они брели по глубокому искрящемуся снегу. Впереди, положив на спины лисьи хвосты, бежали две собаки. Рядом шел громадный егерь. Бородатый человек, имеющий интерес к жизни. Егерь взмахнул рукой, и по веткам елок расселись белые куропатки. Одна куропатка захлопала крыльями, раскрыла клюв и закричала:

— Охотнички!..

— Охотнички! — кричал опасно вихляющийся хозяин. — Послушайте, что человек рассказывает.

(«Вечеринка», 1973)

С моим папой постоянно приключается что-нибудь подобное. Он, как магнит, притягивает к себе всяких грубиянов, знатоков, советчиков и уличных философов. Хотя сам — человек воспитанный и никогда никого не задает. Я думаю, что папа именно из-за этого свойства посвятил жизнь физике, чтобы иметь дело с атомами, а не с людьми.

Стоит папе, например, раз в полгода самому отправиться в магазин, как к нему тут же привязывается какой-нибудь небритый гражданин.

— Кореш, — говорит он, — не бери эту кислятину (речь идет о сухом вине «Фетяска», прописанном папе докторами). — Возьми вон лучше «тринадцатый» портвейн. А то, я вижу, ты насчет выпивки не волокешь.

И поскольку папа, имея собственное мнение, не следует совету гражданина, тот начинает нервничать и обижаться:

— А ну, поставь обратно! — требует он. — Ставь, кому говорю!.. Девушка, забери этот квас — дай человеку бутылку портвейна. — И насильно запикивает папе в авоську ненужное ему вино.

В воскресенье на рыбалке, хотя папа забивается обычно в самое безлюдное место, из кустов вдруг вылезает специально, видать, заставшийся там знаток.

— На что ловишь? — тяжело дыша, спрашивает он. — На червя? Отцепляй к лещему, на вот тебе опарыша... Куда кидаешь, голова?! Бросай на быстринку. Грузило отвязи, пень! Сейчас верховая рыба берет.

(«Толя, Коля, Оля и Володя здесь были»)



Мягкая ирония, легкое подтрунивание над своими героями — он им всем добродушно все прощал, относился с пониманием природных человеческих недостатков. Можно сказать, Самохин того периода (до конца семидесятых) набрасывал «коллективный портрет» нашего народа: так получалось, что на страницах его книг действовали или «промелькивали», явившись всего на полстраницы, разные персонажи, иногда только обозначенные несколькими штрихами, — и выходило их великое множество, от начала века до «текущей» современности. И лица этих персонажей, что замечательно, получались *симпатичные* — даже явно отрицательные несли в себе некий оттенок авторского сочувствия, этакий шарм ироничного пера (вспомните, например, товарища Мунехина или брата Прохора — Серегу — из «Рассказов о прежней жизни», Савелия Прыглова из «дачной» повести «Так близко, так далеко»).

Тогда Квасов решил пойти на кухню — варить кофе.

Он долго колдовал там над плиткой, но зато сварил настоящий кофе по-турецки, с аппетитной коричневой пенкой. Хотел уже разлить его по чашкам — себе и Стасику, когда в кухню влетел хозяин.

— Карамба! — обрадовался он. — Черный кофе! Блеск! Дай попробовать.

Квасов подал ему кастрюлечку. Хозяин попробовал, выплюнул кофе в раковину, сказал: «Горячий, черт! Пить невозможно!» — и долил кастрюлечку холодной водой.

— Оставить тебе? — спросил он.

— Не надо, — сказал Квасов, направляясь в комнату. — Пей до дна.

(«Вечеринка»)

— Савелий! — воскликнул я с лихостью человека, которому больше нечего терять. — Давай хоть отметим это дело, что ли...

Прыглов не видел бутылки и мое великодушное предложение истолковал по-своему:

— А я за рулем, старик! За рулем, за рулем, за рулем, за бараночкой... Ты моего «жигуленка»-то не видел разве у подъезда?

Я пожал плечами:

— Да нет, не заметил. Вроде пусто было.

— Как?! — спросил Савелий, обвально бледнея. — Я же ставил...

— Да ни фига там не стояло! — с запоздалым раздражением сказал я.

— Ёкало-мене! — ахнул Савелий, вышиб дверь и вышел вон.

В панике Прыглов забыл про то, что существует лифт. Он камнепадом катился по лестнице, все девять этажей нашего дома гудели от бешеного топота его крепких башмаков на могучей платформе.

Потом гул оборвался. Осталось только легкое дребезжание стекол.

Я прошел на кухню, распахнул окно, глянул вниз.



Савелий лежал на капоте автомобиля — как истосковавшаяся солдатка на груди вернувшегося с войны кормильца. Крупное тело его сотрясалось от рыданий.

...И как я не заметил эту чертову машину?

(«Так близко, так далеко...», 1979)

В прозе Самохина семидесятых годов налицо чистое проявление таланта, «без примеси», без той самой обремененности серьезной «писательской задачей». Темы, которые затрагивал Самохин, были «легковесны». Можно сказать, несерьезны — по меркам требований, предъявляемых к писателю того времени. Действительно, исходя из них, что, собственно, означало простое описание обыкновенной городской вечеринки или ужина с иностранцем, в результате которого выяснилось, что немец «перепил» всех русских за столом? А стилизованные под рассказ девочки-подростка путевые заметки о поездке на Сахалин? А рассказы о прежней жизни без четко прослеживаемого идеологического стержня? Откуда здесь было читателю выводить нравственные уроки, чему учиться?.. В этом смысле первые повести Самохина, его рассказы того же периода откровенно «проигрывали» более поздним и зрелым вещам.

Проигрывали — с точки зрения тогдашней критики, которая и подталкивала писателя своим авторитетным обобщенным мнением к созданию «более солидных», «значимых» вещей: мол, негоже, уважаемый Николай Яковлевич, в твоём возрасте, в твоём уже положении выдавать какие-то милые, конечно, но больно уж легковесные пустячки, пора начинать работать по-серьёзному... Однако теперь, спустя время, никакого проигрыша мы не видим. Напротив — только достоинства «легковесной» — *легкой* — самохинской прозы того периода. Сейчас тем более очевиден главный плюс автора: он видел *светлую* сторону нашей жизни и умел показать ее. Такое умение, такой взгляд дорогого стоят.

Его «зарисовочный», лаконичный стиль сложился к началу семидесятых практически полностью. Рассказы демонстрируют это наглядно и просто. Здесь главное — *как именно* они сделаны, каким количеством слов, насколько понятно, доходчиво. Он и сам говорил мне об этом своём свойстве приблизительно так: «А я вынужден быть кратким — не могу строить длинную фразу, рад бы, но не могу. Обделен многословием, наделен скудностью словарного запаса. Роман мне не по плечу. Большие вещи нужно строить, возводить, тянуть сюжетные линии, держать всю конструкцию в равновесии, все отслеживать, — мне этого не дано. У меня даже черновиков писательских нет. Так, леплю из кусков, из картинок, занимаюсь “простописанием”» (из моего блокнота 1985 года. — С. Б.).

Максимум изобразительности при минимуме слов — одна из главных особенностей самохинской прозы. Он органично краток. Отсюда лёгкость чтения, восприятия.



Но наиболее ярко его оригинальная манера художественного изложения выразилась, по существу, именно в первых двух повестях* — сам принцип продолжительного, по сравнению с рассказом, повествования тому способствовал. Вместо возведения огромного здания многостраничного произведения — автор как бы нанизывает одну за другой картинку на незамысловатую сюжетную линию. Последовательность скоро сменяющих друг друга эпизодов и составляет существо самохинских повестей.

В отличие от малой формы — рассказа, — здесь для Н. Я. открылись новые возможности: можно было соединить под обложкой повести множество мизерных рассказов (на страничку, иногда на половинку всего), состоящих, как правило, из одного явления, зарисованных как эпизод, забавная сценка. Сценок набиралось множество, на любой вкус, но все они, помимо основной линии (хронологической, например), могли быть объединены чем-то еще. В «Толе, Коле...» — это зарисовка текущей действительности, сохраненный колорит того оптимистичного времени (конца 60-х — начала 70-х годов прошлого столетия). В «Рассказах о прежней жизни» — бытовая история сибирской деревни в лицах на примере двух поколений одной семьи, от начала XX века до тридцатых годов, услышанная, обдуманная и нарисованная удивительным образом.

Сложившийся совершенно естественно формат такой прозы не стеснял, а, напротив, позволял дару Самохина проявиться свободно: все, что вспомнилось, написалось — все (или почти все) годилось, шло в дело. Здесь не требовалось строгой «архитектуры», выверенного и расчисленного прозаического (романного) пространства. Его талант заключался в другом — не в создании громадного полотна, а в быстром, но точном наброске, в художественной зарисовке.

Первые свои прозаические пробы размером «побольше, чем рассказ», он называл «повестушками» (речь об указанных выше повестях), невольно определяя формальный признак своего «нового письма»: не повесть в привычном смысле, как делящееся подробное повествование, а именно «повестушка». Останься из всех его текстов только одна книжка с ними (в 1975 году в Западно-Сибирском книжном издательстве обе повести вышли под одной обложкой), ее было бы достаточно, чтобы обеспечить автору заслуженное место на полке отечественной литературы. На них я и указываю как на пример *полного соответствия* Самохина своему природному дару «необыкновенного» прозаика.

Самохин сумел описать, зарисовать легко и точно советские «застойные» годы. Откройте наугад «дачную» повесть («Так близко, так далеко...», впервые — «Сибирские огни», 1979, № 6), и вы обязательно улыбнетесь вслед за автором, показывающим своих героев, живущих в

* Впервые опубликованы в журнале «Сибирские огни»: «Рассказы о прежней жизни» (1972, № 5) и «Толя, Коля, Оля и Володя здесь были» (1973, № 6).



том самом тоталитарно устроенном мире, который, оказывается, имел и симпатичную сторону. Во всяком случае, такой — симпатичной — ее и выводит Самохин, в чем, собственно, и проявилось художественное достоинство его «не очень серьезной» прозы. Тот мир казался выстроенным, ясным, прочным, надежно защищенным. В нем было понятно, куда двигаться человеку, — нужно подниматься по карьерной лестнице, трудиться для приобретения дефицитных вещей, добиваться распределяемых благ: квартиры, машины, дачи...

Это был полдень «застоя» — вершина той эпохи. И Самохин его описал, этот полдень, где, несмотря на облака, на тени, солнца было много. «Так близко, так далеко...» — как раз солнечная картина той жизни, пожалуй, самого спокойного периода времени для страны, для ее людей в двадцатом веке. Светлая и спокойная сторона жизни, увиденная, не придуманная. Он как будто соорудил ей памятник. И памятник вышел, надо сказать, располагающий к себе. И в этом безусловная заслуга автора.

И тогда же, в середине семидесятых, в творчестве Самохина наметился некий водораздел, черта, граница. Перелом творческой линии. Начало ему положила повесть «Где-то в городе, на окраине».

Может быть, у писателя к тому времени возникло желание уйти от порядком набивших оскомину определений, звучавших как некий укор, упрек — в легковесности, а следовательно, в *несерьезности* прозы. Быть может, это задевало его еще и своей явной несправедливостью, неглубоким взглядом на то, что он делал в литературе, — основные претензии критики заключались в том, что автору «не всегда удается соблюсти соразмерность достоверности и домысла, комического и драматического... излишнее комикование кое-где ощущается...» (см. вступительную статью в книге «Толя, Коля, Оля и Володя здесь были», Новосибирск, 1975). Так или иначе, Самохин, отбросив в сторону это самое «излишнее комикование», написал настоящую исповедальную, как тогда модно было определять, повесть, оставаясь при этом стилистически как будто самим собой. Чем многих и удивил. Был здесь и прежний самохинский юмор, причем в меру, без перебора, но фактура уже была «настоящая» — военное и послевоенное детство автора, прошедшее на улице сибирского городка. «Нравственная позиция» автора в отношении проживавших на описываемой Аульской улице разных людей не вызвала никаких сомнений. Вообще эта улица рабочего города Сталинска (с 1961 года — Новокузнецка) становилась в изображении Самохина типичной — ее можно было найти со всеми ее жителями и их бытом в любом городе страны того времени. Именно здесь появляются портреты малоприятных лиц «из народа». Взгляд писателя обнаружил тени, и теней оказалось много. Впоследствии, в восьмидесятых годах, они будут уже перебивать свет...

Можно сказать и по-другому. В прозе последнего его творческого десятилетия присущий Самохину ироничный взгляд на порядок вещей становился намного жестче, определеннее. Взгляд менялся, менялся угол



зрения. Соответственно, менялось и отношение к своим героям, к описываемым событиям, ситуациям: уходило добродушие, появлялась определенность в оценках, и сам самохинский юмор становился тяжелее, ирония — горше.

Замечу, однако, что мое построение, конечно же, достаточно условно. Скажем, «Лето солнечного затмения», или «Лиса близехонько бежала», или «Сизая кукушка на железном заборе», или особенно ценимые им «Мгновения» — рассказы вообще не веселые. Печальные? — Да. Серьезные, со смыслом? — Да. С размышлениями, точными наблюдениями, за которыми стоит жизненный опыт? — Да. Как, впрочем, у всего последнего Самохина. Должен ли он был здесь, в этих рассказах, на этом своем жизненном отрезке быть веселым, «легко и по-доброму ироничным»? Ответ напрашивается сам собой.

Однако речь идет, повторяю, не о качестве книг Самохина на различных этапах его писательской жизни. Качество это сомнению не подлежит. Но речь — о степени *соответствия*, если хотите, *самому себе* — своему дару художника. «Полное соответствие» может остаться за плечами — там, далеко позади, в другом, прожитом уже времени. И с этим уже ничего не поделаешь.

Очень характерен в этом смысле, например, «Рассказ о трех хулиганах» («Сибирские огни», 1984, № 7). Сама фактура рассказа типично самохинская: случаи хулиганства взяты, конечно, из жизни и преподнесены с неожиданной стороны, с поворотом: хулиганы оказываются не хулиганами, а нормальными людьми, отстаивающими свое человеческое достоинство. И смысл, и ирония в рассказе налицо. Будь он написан, скажем, десятью годами раньше, вышла бы иронично-добродушная история со смыслом. (Вспомним, кстати, эпизод из повести «Так близко, так далеко...», где критик Артамонов, не выдержав похабщины, «понуужнул удилицем» сквернословящего на всю округу парня на моторной лодке. Там все вышло добродушно и весело.) Но теперь ирония приобрела привкус горечи. Рассказ получился достаточно многословным, и если улыбка в нем и присутствует, то она явно не добрая. Самохин не симпатизирует определенным персонажам, а отсюда и его отношение к ним вполне конкретное — «отрицательное». Ему перестали нравиться «отдельные типы» соотечественников, и он не скрывает теперь данного факта — в этом и есть разница между «поздним» и «прежним» Самохиным.

Ко всему прочему добавляется творческий кризис. В данном случае — чисто писательское явление, когда — «не идет». Не пишется.

Здесь были и профессиональные причины — непременно нужно было «отмечаться», сдавать работу, и отговорки, мол, нет вдохновения, не сочиняется, решительно отменялись. Но и уход от «себя прежнего» тяготил Самохина. Это противоречие, несомненно, было для него внутренним разладом: мог делать добродушные зарисовки — без усилий, «просто так», по свойству своего дара, каким Бог наделил, однако заставлял себя

писать «всерьез», так как именно в литературной работе по улучшению жизни видел свое назначение, а главное — оправдание себя, своего существования как литератора, писателя.

Но вопрос «полезности» писателя остается до сих пор не разрешенным.

Должна ли литература иметь практическое значение? Наверное, должна. Скорее всего, она и воспитывает человека, и в определенном смысле учит его хорошему... Но только того, кто ее читает и кто воспитываться и учиться этому хорошему рад. На деле же всегда получалось так, что авторы, убежденные в воспитательной силе художественного слова, с возрастом если не разочаровывались, то несколько остывали, скажем так, к этой идее. Наблюдение за жизнью людей рано или поздно приводило их к выводу: результаты твоей работы, как правило, не видны. Их невозможно определить, и не исключено, что их *вообще нет*. «Собаки лают — караван идет». Караван жизни идет сам по себе, а работа писателя остается его личным делом. На этом выводе многие часто ломались, впадали в жесточайшую депрессию: если дела обстояли именно так, то это означало, по сути, «бесцельно прожитые годы» и перечеркивало ни много ни мало — жизнь писателя.

Но художественное слово на то и *художественное*, чтобы иметь иное значение, кроме утилитарно-воспитательного, иной смысл, неведомо как проявляющийся, смысл скрытый, неявный, загадочный. Самохин до конца своего пути, кажется, так и не смог смириться с разделенностью своего литературного труда и жизни, проходящей за окном не так и не в том направлении, и все больше разочаровывался в своих словах. Отсюда — пустота, ощущение утраты смысла, которое выразилось в последних рассказах:

Это неправда, что нет мук сильнее муки слова. Есть. Мука бессловесности, каменной немоты. Камень — тяжелый, горячий, набухающий, словно квашня, — распирал мою грудь...

(«Лето солнечного затмения»)

Да, я нем — и это, как видно, главное. Я не знаю больше, о чем говорить... и для чего говорить, и — для кого. Мне перехватывает горло. А все сказанное раньше — с такой верой и веселой воинственностью, сказанное, мнилось, на пользу Отечеству — бьется где-то в глухих резиновых стенах и плачет, как забытое дитё. Серьезно. Однажды был случай: ночью в гостинице заплакал за стеной ребенок. Тоненько так заскулил. И мне представилось вдруг, что это скулит взаперти какая-то моя отчаявшаяся строка... И стыдно отчего-то, стыдно сознавать себя российским литератором!

(«У каждого облака есть золотой край»)

А самые светлые его страницы, как раз не имеющие прямого отношения к «пользе», о том, чему был свидетелем, что слышал, написанные



просто так, потому что *так перо легло*, вот эти страницы первых повестушек, многих рассказов семидесятых годов спустя время остаются живыми и действующими, безусловно, полезно — пробуждают «чувства добрые», улыбку — у кого-то о пережитом, у кого-то о том, чего никогда не видел, не знал, но вот прикоснулся, увидел и откликнулся.

Люди, знавшие Самохина лично, видели в нем поразительную слитность «писателя» и «человека». В нем присутствовала открытость, может быть по-детски наивная, доверчивость к миру, стремление соответствовать заявленной им в прозе нравственной планке. По натуре он был типичный «борец за правду», и цельность его природы требовала выхода, звала настойчиво искать правду, бороться за справедливость — и в бытовых мелочах, и в художественных зарисовках. Его не устраивало по большому счету советское «местничество» — система, при которой люди занимают места в общественной иерархии зачастую даже не благодаря, а вопреки своим способностям: таланту, трудовому вкладу. И с возрастом, с опытом, с углублением взгляда на жизнь в Самохине, кажется, нарастал протест против такого распределения мест.

Оказывается, чем дальше живешь, тем больше видишь, как «эти типы» — наглецы, хамы, рвачи, которых он на дух не переносил, которых научился определять с детства, с детства же и не терпел, — столько раз обсмеянные, так смешно выписанные им, выведенные в рассказах на чистую воду, заправляют всем. Везде именно им открыта дорога к благам. Оказывается, чтобы хорошо жить, не нужно работать, вкалывать, нужно просто уметь устроиться, пролезть, пронырнуть, не брезгуя кого-то подставить, обмануть, перехитрить, поддавить, если потребуется! Оказывается, понятие о справедливом устройстве жизни, воспитанное в нем с детства, которое с нажимом, всегда с нажимом, декларировалось с самых высоких трибун, — это понятие не соответствовало действительности, оставалось лишь благим пожеланием, лозунгом! А на деле — «кругом все не слава богу», всем заправляют проныры и «воротники»*.

Самохин такого положения дел не принимал, все в нем протестовало против такой «правды жизни»: против разделения людей на бар и прочий народ. (А сегодня? Против чего в первую очередь мы внутренне протестуем, что нас больше всего возмущает? — Именно это разделение, только в другой форме и в других цифрах, по сравнению с которыми самохинские «воротники» просто блекнут.) Он боролся с этой бедой как мог, как умел. Словом — текстами, книгами. Именно эта задача становится для него в последние годы первостепенной. «Простописание» он себе позволить уже не может.

* «Воротник» — это такой пример бесцеремонного, хамоватого начальствующего субъекта, современного «барина», иерархически возвышенного и отделенного от народа. Он появляется в эпизоде у Самохина уже в «дачной» повести — «каракулевый воротник». И он же присутствует в одном из последних рассказов («У каждого облака есть золотой край»), там его можно обозвать скорее «дорогой шапкой», но содержательно — тот же «барин».



И в этом был перелом, в каком-то смысле, *самого себя* (то, что Маяковский выразил точно и емко: наступить на горло собственной песне).

Даже последняя его зарисовка, «внезапная» повесть «...Тому назад», «нагружена» наперед заданной идеей и стала как будто еще одним «художественным аргументом» одной из сторон в нашем извечном споре-противостоянии «славянофилов» и «западников». Споре о природных свойствах русского народа: точно ли раньше было лучше жить у нас человеку и сам человек был намного лучше? Для Н. Я. было ясно: «И человеки, увы, не меняются! И вся высочайшая нравственность, и добро, и милосердие; и вся ужасающая безнравственность, и чудовищное зло, и тупая жестокость — все *оттуда, от народа...*» («Сибирские огни», 1989, № 6). Это как будто и задевало его особенно: столько сил положено для создания справедливого общества, столько пролито пота, крови, потрачено жизней, а они, «типы», «воротники» — как были, так и есть, и меньше их как будто и не становится. Как тут быть? А здесь еще и перестройку объявили, словно специально для них, того и гляди они под себя вообще всю жизнь перевернут. Зачем тогда все писания, вся эта бумажная война с жуликом, пронырой, хамом?

Наш бой проигран — и шабаш! —
Хоть мы все время наступали,
Да не туда коней мы гнали —
Промашку дал фельдмаршал наш.

Не тех в капусту посекали,
Совсем не тем кровя пущали,
Гремели не по тем пищали,
И слезы не у тех текли...

(«Песня», «Сибирские огни», 1988, № 11)

Писательский кризис оказался и кризисом мировоззренческим...

И еще одно замечание о прозе последнего десятилетия Самохина.

То, что писатель менялся — в манере изложения, в выборе тем, в мыслях, в изобразительной силе, наконец, — не подлежит сомнению. И если бы не случившаяся трагедия, то неизвестно, какого качественного уровня он бы достиг, по крайней мере, за пятнадцать-двадцать лет полноценной работы, которые могли у него быть.

На эту мысль наводят некоторые моменты, которых у прежнего Самохина не наблюдалось. Я бы сказал так: самохинская проза «классического периода» семидесятых имела эффект прямого действия. Она доходила *сразу*. Но теперь, неожиданно, не как правило, а только в единичных случаях, но появляется новое свойство — косвенного, опосредованного действия на читателя не отдельной фразы, высказывания, но всего рассказа целиком, всего массива текста. То есть по прочтении рассказа



кроме понятного содержания остается что-то еще, нечто на заднем плане — не вполне оформленная мысль, чувство... И это производит эффект художественного впечатления. Такого прежде не было.

Например, рассказ «Трубка». Довольно продолжительная, многостраничная история, связанная с курительной трубкой из коллекции автора-рассказчика. Казалось бы, и что такого? Но внутри повествования имеется сцена (на полторы-две странички всего), которая не то чтобы переворачивает всю историю, но исподволь освещает ее странным светом.

Завязка показанного эпизода, случившегося, как следует из повествования, в конце 30-х годов прошлого века, состоит в том, что герой его, Иван Пантелеймонович, превратившийся волею судеб из комбайнера-стахановца в начальника — зампреда областного комитета, был вызван в Москву на некий «исторический форум» с участием вождей. И вот, покурив в перерыве заседания трубку и не выбив ее основательно (не нашел места для этого среди мраморного убранства), он сунул сей курительный предмет в карман широких своих брюк и поспешил в зал:

Он в шестом ряду сидел, с края, специально такое место укараулил — президиум поближе рассмотреть, вождей народа, старосту всесоюзного.

Сел... сосредоточился... И только начал вникать — как вдруг почувствовал: горит он! Карман, едрит твою в семь, занялся! Дым из него сочится, как из дверей бани по-черному!

Иван Пантелеймонович в панике ворохнулся, да только ворохнуться и успел. Вышагнув откуда-то, похоже, прямо из стены, упали на него два одинаковых человека — стремительно и беззвучно. Один ловко сел на колени, придавив Ивана Пантелеймоновича спиной. Второй навалился сзади и сбоку, обнял за плечи, как друга милого, словно поинтересоваться хотел на ушко: «Ну, как ты тут, Ваня, устроился? Не дуэт?» А сам между тем незаметным приемом заломил ему руки, свел их за спинкой кресла — чтобы Иван Пантелеймонович не мог выхватить из кармана бомбу (или что там у него?) и зафуговать ее в президиум.

Иван Пантелеймонович задохнулся, как в детстве под «кучей малой». Но боялся сделать и малое движение, чтобы хоть нос на сторону вывернуть.

Томительно набухали и срывались секунды. Трубка все сильнее припекала бедро.

Смертники героически лежали на Иване Пантелеймоновиче, готовые в любой момент разлететься в клочья.

А взрыва все не было.

Парни вздохнули украдкой и, подхватив Ивана Пантелеймоновича под руки, буквально вынесли из зала — как ангелы новопреставленную душу. И, не останавливаясь, быстренько-быстренько повлекли куда-то дальше — решительным, падающим шагом.



— Что у вас тут? — не разжимая зубов, спросил тот, что справа.

— Тру, — как на лошадь, сказал Иван Пантелеймонович. —

Прруп...

У него отключились ноги, он не успевал переставлять их — чиркал ботинками по ковровым дорожкам. «Покурил! — стучало в голове. — С-сукин сын!.. Накурился... по ноздри!»

Оттого, видать, что его конвоировали, волокли, как мешок, Иван Пантелеймонович казался себе взыправдашним диверсантом с бомбой в кармане. Такое было ощущение.

Мелькали под ногами расписные ковры, паркет, мраморные ступени, потом — каменные. Все вниз, вниз, в подвалы какие-то. И возник, наконец, коридор — глухой, тускло освещенный, с цементным полом.

«Все! — сказал себе Иван Пантелеймонович. — Вот и все».

Он знал, куда уводят такими коридорами. Догадывался...

(«Сибирские огни», 1989, № 6)

Отсюда — парадоксальный вывод. Чтобы — не понять, нет, — но почувствовать весь ужас случившейся со страной в 1917 году катастрофы, можно, например, прочитать повесть Владимира Зазубрина «Щепка» и оцепенеть от прочитанного (написана в 1923-м, впервые опубликована — «Сибирские огни», 1989, № 2). А можно ознакомиться с вполне безобидным рассказом «Трубка» Николая Самохина и неожиданно для себя прикоснуться, пусть по касательной, едва задевая, но именно прикоснуться к моменту ужаса «большого террора» конца 30-х годов, который испытал «простой советский человек», для которого весь мир переменялся в одну минуту, когда «ангелы» повлекли его, как мешок, по лестницам все вниз и вниз, в тот самый глухой коридор, едва освещенный... Вот такой странный художественный эффект позднего Самохина.

И в «Лете солнечного затмения» эта странность присутствует. В нем неожиданно к щемящему чувству утраты смысла в самом конце добавляется еще нечто, напрямую не описываемое. Понятный вроде бы рассказ, откровенно честный, вдруг затуманивается на ровном месте. А всего лишь — автор заканчивает свою исповедальную историю описанием затмения:

Затмение меня спасло.

Мы наблюдали его с балкона. Закопченных стеклышек у нас не было, пришлось воспользоваться моими рентгеновскими снимками.

<...>

Потом солнце закрылось совсем — и меня не стало.

Холодный горный ветер мягко и мощно промчался, словно долгий выдох Вселенной.

Далеко внизу неслышно колыхнулась листва на деревьях, белой ножевой поземкой рванулась пыль по спортивной площадке.

Друг мой вздрогнул и поежился.



Легкие, бестелесные парили мы над плоскими крышами панельных пятиэтажек, над травой и деревьями, над одинокой собакой, застывшей в стойке по непонятному зверю.

Мы плыли, мы возносились от мрака стремительно остывающей земли в ледяной мрак небес...

А сумку с помидорами я, оказывается, забыл на штaketнике, когда бегал в «голубятенку» переобуваться.

Рассказ заканчивается, но вдруг начинает двоиться, появляется неопределенность в его восприятии. И вот спрашивается, к чему эта заключительная картина? Рационального объяснения этому нет. Здесь сработала интуиция художника. Он *так* завершает свою историю. — Завершает, чтобы что? — Чтобы «Лето» именно *задвоилось* и осталось после его прочтения это странное ощущение присутствия некоей истины, чего-то настоящего, имеющего прямое отношение к нашей с вами жизни.

Нечто похожее мелькает и в «Мгновениях» («Сибирские огни», 1986, № 9), и в самом последнем его законченном рассказе «Шофер Донат», опубликованном лишь однажды («Северо-Восток», 1992, № 12). Кажется, Самохин, меняясь как художник, двигался к новым рубежам. Или — горизонтам, назовем это так. Далеко идущих выводов из высказанного предположения делать, конечно, не стоит. Но отметить намечавшиеся, может быть, перемены в поздней прозе Николая Яковлевича нужно...

* * *

Вопрос о том, что такое настоящая литература, — это вопрос о сути искусства. Вот писатель написал книгу. Он потратил на это часть своей жизни — трудился не покладая пера, изнемогал бессонными ночами (или, наоборот, ночами крепко спал, а изнемогал днем за письменным столом — не важно), переживал за своих героев, перелопатил сотни тонн словесной руды в поисках заветных слов, из которых чеканится слог... Наконец вот оно — творение готово и его можно отдать на суд читателю:

Несчастны, несчастны сочинители, которым обязательно нужен слушатель. Едва допечатав страничку, такой литератор вынимает ее из машинки и несет на кухню — жене.

— Вот послушай-ка, что получилось, — говорит он.

Жена обреченно вытирает руки о фартук и присаживается на краешек стула.

— Ну, — вздрагивает она через минуту, прослушав ничего не говорящий ей отрывок. — А что дальше?

— Дальше, дальше! — обижается сочинитель. — Разве в этом дело. Ты стиль оцени. Язык почувствуй.

В праздничной компании, дождавшись, когда гости сомлеют от пельменей и водки и утратят способность сопротивляться, сочинитель, прижимая руки к груди, просит:

— Позвольте, друзья, прочесть вам рассказ. Горяченький. С колес. Только что дописал. Буквально сегодня.

Он знает, что делать этого нельзя, что слова, не одетые в броню типографского шрифта, беспомощны, как только что вылупившиеся и не успевшие обсохнуть цыплята, но — не может остановиться.

Увы, покорный ваш слуга относится именно к такому типу сочинителей.

Не дав этим заметкам отлежаться, не выправив как следует орфографические ошибки, я поспешил размножить рукопись и понес ее друзьям-приятелям...

Друзья, давно смирившиеся с неотвратимостью подобных моментов, изобразили на лицах интерес, а иные старательные даже нетерпение: ну-ка, ну-ка, — что ты там снова отчубучил?..

Первый друг признался, что впечатление у него возникло сложное: пока читал — было легко, а как дочитал — то стало вроде бы не очень-то весело.

Второй мой друг — человек жизнерадостный и полнокровный, искренне даванув мне руку, сообщил:

— Местами ржал! Местами, старик, прямо укатывался... Но местами... понимаешь? — он ткнул пальцем куда-то под широкий лацкан модного блейзера, и выражение лица у него сделалось беспомощно-просительное. — Полегче бы, старик, а? Не нажимал бы ты так.

— Да где же я нажимаю-то? Конкретно?

Друг поднял глаза вверх, повспоминал и ответил, что конкретно так вот сразу указать не может. Но впечатление осталось...

(«Где-то в городе, на окраине», 1976)

Так вот, ответ на вопрос, является ли книга писателя настоящей (вопрос, который, очевидно, волновал и Самохина), заключается не в том, прочитают ли ее. В первый раз, конечно, прочитают, или, по крайней мере, начнут, но — будут ли ее *перечитывать*, возвращаться к ней? Потому что, открывая новую книгу, знакомясь с текстом, мы узнаем его содержание (сюжет, героев, их лица, характеры — все). Но перечитываем уже не ради знания, а затем чтобы снова оказаться в созданном писателем мире, в ином пространстве (художественном, если хотите), чтобы «окунуться в атмосферу», подышать тем воздухом, который *за* текстом, между строками. Затем, чтобы *просто побыть там*. Как и в жизни, мы стремимся быть там и с теми, где и с кем нам хорошо, спокойно, уютно... В этом и есть сила искусства — в магнетической связи художественного создания, его автора с читателем, зрителем, слушателем. Оно имеет свойство притягивать, возвращать к себе.

А теперь скажите, почему мы возвращаемся к книгам Николая Самохина?

Вот и ответ. Он очевиден. Потому что они настоящие, а их автор — замечательный писатель, которого будут читать и перечитывать.

Михаил ЩУКИН

В РАЙОНЕ НЕРАВНОДУШНОГО СЕРДЦА

Вспоминая Николая Самохина

На дворе — 2019-й. Начало лета.

Только что в московском издательстве «Вече» вышла книга Николая Яковлевича Самохина «Рассказы о прежней жизни», в которую вошли все повести, написанные нашим талантливым и любимым автором. Книга была подготовлена к изданию при непосредственном участии журнала «Сибирские огни». И в этом видится символическая закономерность, ведь именно в «Сибирских огнях» публиковались практически все его произведения.

На сайте журнала и в социальных сетях, как теперь это у нас принято, сообщили мы о хорошей новости, украсив ее портретом автора и обложкой вышедшей книги. А в ответ получили отзывы: «Прекрасно!», «Помним и любим!», «Самый лучший из лучших прозаиков», «Отличная новость! Самохин — мой любимый писатель...»

Читаю «электронные» отзывы неведомых мне людей, среди которых есть и совсем молодые, радуюсь, и вдруг щелкнуло, как будто на выключатель нажал и лампочка загорелась: последняя книга Николая Яковлевича выходила в 1990 году и ни одного переиздания с тех пор не было. Без малого тридцать лет. И дальше додумываю: это какой же запас прочности имеет самохинская проза, если она не исчезла за это время из поля читательского внимания!

И вот, когда осознаешь этот факт, становится ясным и непреложным: произведения Николая Яковлевича Самохина вошли и будут пребывать в золотом фонде русской классической литературы второй половины XX века. Именно так. И никак иначе. Вот это обстоятельство подспудно и удерживало меня долгое время от сочинительства воспоминаний, потому что всякий раз возникало опасение: не заслонят ли бытовые детали главного, не затушуют ли они того, что явлено в самих произведениях? Или того потешней: сочинишь — и главная тема воспоминаний, как это нередко случается, окажется — «Я и...».

Но время идет, и начинаешь понимать, что дальше откладывать нельзя. Оглядываешься и уже почти не видишь людей, которые лично знали писателя. «Иных уж нет, а те далече...» Поэтому и родились эти разрозненные заметки, в которых, к сожалению, личностного присутствия

избежать не удалось, но надеюсь на читательское снисхождение. Еще и потому надеюсь, что хорошая проза — это всегда характер, вот о характере прежде всего и хочется рассказать...

* * *

Повесть «Сходить на войну», впервые опубликованная в «Сибирских огнях», так меня, не побоюсь этого слова, пронзила, что я написал отзыв — не рецензию, а именно отзыв, — потому что увидел в этой повести и своего отца-фронтовика. Напечатали его в газете «Молодость Сибири», и вскоре раздался телефонный звонок. Звонил Николай Яковлевич:

— Миша, я сейчас к тебе зайду.

Здесь необходимо сделать маленькое отступление.

Писатель Николай Самохин, необычайно популярный человек в Новосибирске, с которым я и виделся всего лишь несколько раз (на семинаре молодых, где он был нашим руководителем), мне, молодому литератору, казался человеком почти недосыгаемым. Это сегодня юный автор, сочинив несколько виршей и разместив их в необъятной яме, именуемой «Стихи.ру», искренне убежден, что он почти гений и, соответственно, никакие авторитеты ему не указ. А тогда авторитеты у нас были. И один из них, для меня лично, — Николай Самохин. Я на семинаре и подойти к нему постеснялся, хотя он очень хорошо отзывался о моих рассказах. И вот — звонит и желает зайти в гости. Сам Самохин.

Я растерялся. И ничего от этой растерянности в бедной голове не родилось, кроме глупого вопроса:

— А зачем?

— Ну что за народ у нас пошел! К нему в гости хотят зайти, а он спрашивает — зачем? Поговорить хочу! Или тебе сначала анкету предоставить?!

Тут у молодого дарования в голове прояснело, я начал извиняться: конечно, буду очень рад, это я так, случайно оговорился...

— Иду.

И гудки.

Жили мы неподалеку друг от друга, и скоро Николай Яковлевич уже стоял на пороге. В стареньких джинсах, в простой рубашке, в плетенках на босу ногу. И ничего, абсолютно ничего «звездного», важного, напыщенного в нем не было. Сразу же возникло чувство необыкновенной простоты, когда ты ведешь себя так, как дышишь. И не надо притворяться или что-то из себя изображать.

Пришел он с журналом «Сибирские огни», в котором была опубликована повесть «Сходить на войну». Автограф был уже написан: «Сыну солдата от сына солдата». (Позже кто-то из поклонников Николая Яковлевича «зачитал» у меня этот журнал — до сих пор жалко.) Мы сели у раскрытого по причине неимоверной жары балкона и, несмотря на эту жару, выпили холодной водочки и долго говорили об отцах-фронтовиках, о том, что им пришлось пережить.

Неожиданно Николай Яковлевич меня перебил:

— А чего ты «выкаешь» — Николай Яковлевич, Николай Яковлевич?.. Я не проверяющий из обкома!

— Так я ж из деревни, там правилам хорошего тона не обучали, но подзатыльник за неуважение к старшим всегда отвесят.

Ответ, видно было, ему понравился. Засмеялся:

— Ладно, давай так — Николай Яковлевич, но на «ты».

На том и порешили.

Он всегда был естественным, самим собой, и вел себя одинаково с самыми разными людьми. Никогда не пытался под кого-то подстроиться. Частенько ведь наблюдаешь: перед одними, особенно вышестоящими, человек — сама любезность и даже подобострастность, а перед другими, кто на социальной лестнице пониже или позависимей, — натуральный хам. К слову сказать, такая ситуация, если он с ней сталкивался, самого Николая Яковлевича просто-напросто бесила, он терпеть не мог хамства, потому что обладал, при всей своей простоте и доступности, обостренным чувством собственного достоинства. Не пустой гордыни, а именно достоинства.

Был очевидцем одной сценки... Молодой литератор, сочинивший несколько юмористических рассказиков, напечатавший их, удостоившийся похвалы и полный счастья, этак запросто, панибратски обратился к Самохину:

— Коля, ты рукопись мою посмотрел?

Ответ был мгновенный:

— Старик, а чего ты так официально? Давай проще — Николай Яковлевич и на «вы».

К слову сказать, ничего толкового из того литератора не получилось. Так и остался до седых волос «подающим надежды».

Но вернусь к памятного для меня вечеру. Засиделись допоздна, и я пошел провожать своего гостя. Уже стемнело, и в свете фонарей, как снегопад, валил тополиный пух. И вдруг, совершенно неожиданно, спутник мой подпрыгивает, ловит в ладонь пушинку — и проделывает это так по-мальчишески ловко, что я даже остановился. Седовласый, а в глазах такой азарт сорванца с улицы Аульской, что оставалось лишь руками развести...

И ничего больше в тот вечер не произошло, не случилось, но я всегда останусь благодарен судьбе, что она подарила мне эту встречу и дружбу с Николаем Яковлевичем Самохиным.

* * *

Писательское ремесло было для него главным в жизни. Высокопарно звучит, но точнее не скажешь — он жил литературой. И относился к своему нелегкому труду так, как относится рачительный мужик к пашне, на которой растит урожай. Всякий раз, когда доводилось бывать в гостеприимной самохинской квартире, я невольно задерживал взгляд, если видел его рукописи. Они были идеальными. Даже самые малые опечатки замазаны белилами, а правки сделаны почти каллиграфическим почерком. Никакой торопливости, никакой небрежности. Во всем видна тщательность.

И с такой же тщательностью, если вчитаться, он писал свою прозу, где не встретишь проходных слов — все так подбито, так выстроено, что нет и малого зазора. Каждое слово — на своем месте.

Поэтому и его суждения о чужих произведениях зачастую были нелюбезными, если видел он в них неряшливость и необязательность. Тут уж его краткие и саркастические оценки были убийственными. Но зато как он умел радоваться настоящим успехам своих собратьев по перу! Как всякий талантливый человек, он умел ценить талантливое. И никогда не скупился на похвалу, если она была заслуженной. Прекрасное качество и, прямо надо сказать, не столь уж часто встречающееся у пишущей братии.

* * *

Редкому писателю, особенно живущему в провинции, выпадает при жизни слава и читательская любовь. Нет, не подумайте о современных литературных премиях, шумихе в Интернете и прочих атрибутах нынешнего успеха. Совсем наоборот. Не было, по большому счету, ни премий, ни хвалебных рецензий, ни многочисленных интервью по поводу и без него, зато имелось значительно большее, а именно — читательская любовь и слава. Николай Яковлевич Самохин в этом отношении был счастливым автором. Книги его, выходявшие довольно регулярно как в Новосибирске, так и в Москве, до прилавков книжных магазинов, как правило, не доходили, в библиотеках за ними выстраивались очереди, а почитатели его таланта в разговорах нередко цитировали наиболее запомнившиеся фразы, как цитируют до сих пор реплики из замечательных советских комедий.

Может быть, это прозвучит пафосно (сам Николай Яковлевич пафоса не любил), но я все-таки убежден в том, что он был народным писателем. И не потому, что стремился таковым быть или старался подстроиться под читательские вкусы, а потому, что произведения его диктовались исключительно собственной судьбой. Он никогда не фантазировал и не «сочинял», он всегда шел от реальной жизни, той самой, какой ему самому и его героям довелось жить. А в итоге оказывалось, что он писал о многих и многих людях, своих современниках, которые так искренне и горячо отзывались на его творчество.

* * *

Он никогда и никому не завидовал.

Ему завидовали.

Таланту, популярности, открытости. И, сознавая, что ни первого, ни второго, ни третьего им не дано в такой мере, как Самохину, наливались злостью и желчью и старались укусить исподтишка. Один из таких завистников — не буду называть имени, как говорится, мир его праху — однажды озвучил следующее, в узком, естественно, кругу: Самохину мало вилку в тело советской власти воткнуть, ему еще и покрутить этой вилкой надо, чтоб больнее было.

По сути, хоть и не письменный, но донос. Имелись и письменные. И повторялись эти «наезды» с завидной регулярностью. Все ему ставили в вину, что «очерняет» нашу действительность. А он никогда ее не очернял, хоть и удостоился от друзей шуточного прозвища Очернитель. Он искренне желал, чтобы эта действительность была лучше, чище, благородней, и так же искренне считал, что надо вслух говорить о том, что мешает ей таковой быть.

А что касается советской власти... Сейчас, с высоты уже прожитых лет, я убежден в том, что Николай Яковлевич Самохин был настоящим советским человеком. Да-да, не удивляйся, дорогой читатель, и не ахай! Именно так. Не хапал, не греб под себя, не подсиживал, не подличал. Был таким, каким и провозглашался советский человек. Честным и порядочным. Подтверждения? Читайте его прозу, там об этом не раз сказано.

А я приведу всего лишь один случай.

Как и положено в серьезной организации, в Союзе писателей был профком, в котором состояла и Татьяна Константиновна, супруга Николая Яковлевича. По должности она была библиотекарем, а по сути — душой писательской организации. Ее любили.

И вот в этот писательский профком время от времени падали с вышестоящих столов крошки дефицита, который был в те годы тотальным. На этот раз выделили несколько ковров. И один из этих ковров (хотя слово «ковер» в данном случае шибко уж богатое, точнее было бы сказать — «коврик», ну да ладно) по общему решению профкома решили выделить Самохиным, которые никогда себе никакого дефицита не брали.

Сам Николай Яковлевич об этом решении не знал и не ведал, а узнал, когда ковер появился в квартире. И закатил супруге скандал. Аргументы были прямыми и острыми, как штык: ты почему согласилась взять этот дефицит, ведь я же один из руководителей писательской организации, а ты — член профкома, значит, мы, пользуясь положением, под себя гребем...

На следующее утро Татьяна Константиновна появилась на работе с заплаканными глазами. А в писательской организации, повторюсь еще раз, ее любили — за легкий характер, за юмор, за готовность всем помочь. Узнав причину ее заплаканных глаз, к Николаю Яковлевичу потянулись ходоки с примерно следующими речами: ты с ума не сходи, нашел причину скандал устраивать...

Ни одного ходока он до конца не дослушал. Остался, как говорится, при своем мнении. Хорошо хоть, коврик назад не потащили...

Что еще к описанному выше случаю добавить?

Пожалуй, и нечего.

* * *

Память — как шестеренка, зацепится одним зубчиком и пошла, пошла крутиться...

В писательской организации очередное собрание. Повестка дня не помню уже какая, но — ску-у-учная. Именно по этой причине два молодых литератора, Илья Картушин и автор этих строк, взяли две бутылки

вина и попросились к Николаю Яковлевичу в кабинет на «постой». Кабинет он нам уступил и даже выдал яблоко. А сам пошел на собрание.

И вот сидим мы, попиваем, похрустываем яблоком, рассуждая о вечном, и вдруг — дверь нараспашку, рывком, а в проеме — разъяренный Николай Яковлевич. Иногда, случалось, он приходил и в ярость, остановить его в такие моменты было делом абсолютно невозможным. Схватил лист бумаги, что-то быстро написал и выскочил из кабинета. Мы с Ильей, забыв о винопитии, вылетели следом в зал, где проходило собрание.

Что случилось?

Оказывается, собрание с объявленной ранее скучной повесткой плавно перетекло, пока мы сидели в кабинете, в горячую стадию. Начали инженеры человеческих душ высказывать председателю Виталию Ивановичу Зеленскому и его заместителю Николаю Яковлевичу Самохину претензии, суть которых можно сформулировать очень кратко: я вот такой талантливый, почти гениальный, а внимания, почестей и благ получаю мало, поэтому требую — давайте больше, шибче вокруг меня вертитесь.

Чуть отвлекусь. В творческом сообществе, по моим наблюдениям, время от времени будто неведомая бактерия заводится, и вот уже сообщество, словно переродившись, дружно требует чьей-то крови, в образном, конечно, смысле, прямо-таки жаждет ее. Пройдет время, и мне на собственной шкуре придется в этом убедиться. А тогда я искренне недоумевал: и чего это Николай Яковлевич постромки рвет, можно ведь и спокойнее...

Но спокойнее он не мог. Потому что столкнулся опять же с элементарным жлобством и молча проглотить его не давало чувство собственного достоинства.

А посему — хлоп перед оторопелым Виталием Ивановичем, который сидел в президиуме, лист бумаги, а на нем — только что, при нас написанное заявление об увольнении. Повернувшись лицом к собранию, Николай Яковлевич произнес:

— Вас тут сидит сорок гениев, и я вас всех должен обслуживать? Не хочу! Хочу быть простым рядовым гением!

И пошел вон из зала. В проходе, столкнувшись с нами, грозно спросил:

— Совесть, надеюсь, не потеряли — не все выхлебали?

Два молодых письменника дружно замотали головами: нет-нет, совесть не потеряли и в стеклянной таре еще много осталось...

Сейчас, когда вспоминаю и пишу эти строки, невольно думаю — а ведь как красиво ушел!

И достойно.

* * *

Писательский дом творчества в Пидунде...

Море, одуряющие запахи южного базара, кофе по-турецки, сваренный на раскаленном песке, и бесконечные «Яблоки на снегу», которые вечером доносятся от ресторана «Инкит» и к которым скоро привыкаешь, как к шуму прибора.

Благодать...

А если рядом еще и хорошие, всегда приятные тебе люди, то и во все — рай земной, да и только. В Пицунде оказались мы с Николаем Яковлевичем, как он шутил, «с довеском»: он с Татьяной Константиновной и дочкой Соней, а я — с супругой Ниной Анатольевной и с сыном Михаилом.

Дни эти остались в памяти как большое солнечное пятно, наверное, еще и потому, что рядом был Николай Яковлевич. Запомнился он мне в это время счастливым, остроумным, прекрасным рассказчиком, без угрюмости, какая на него иногда нападала, он весь как будто светился, удивляя время от времени неожиданными экспромтами:

На хрена нам эти чащи,
 Если в чашах нету чачи?!

Впрочем, чачу мы нашли, поднявшись в горы, но этому предшествовала целая эпопея.

Николай Яковлевич был заядлым рыбаком. И здесь, на берегу моря, решил отвести душу: где-то раздобыл удочки, присмотрел место на пирсе и объявил мне, как о деле решенном, что завтра рано утром мы идем на рыбалку. Я решительно отказался: вставать ни свет ни заря, тащиться на пирс, торчать на нем с удочкой... Нет, не пойду. За столь невиданное отступничество сразу же был предан анафеме и публичному осмеянию, но выручил сын. Услышав про рыбалку, малой сразу же загорелся: я тоже хочу, дядя Коля!

На следующий день, рано утром, стук в дверь номера. Юный рыбак, еще не разлепив глаза, вскакивает, как солдатик, мгновенно одевается и уходит. Пусть порыбачат, а я посплю...

Когда проснулся, вышел на пирс. И картина, которую увидел, до сих пор стоит перед глазами.

Выловили рыбаки рыбешку, не помню сейчас, как она называется, но похожа на нашего ерша и в руки ее лучше не брать — до крови может поранить. И вот пойманная рыбешка прыгает по пирсу, старший рыбак гоняется за ней с резиновым тапком, пытаясь прихлопнуть, а младший путается у него под ногами и хлещет по пирсу удилицем — мимо, мимо! И оба в запале сердито ругаются, обвиняя друг друга в неповоротливости, — это надо было видеть и слышать! Наконец рыбешка ухлопана, засунута в целлофановый пакет, и два рыбака, одному уже полвека, а второму пять лет от роду, закинув удочки в море, о чем-то тихо и неспешно беседуют.

После целлофановые пакеты складываются в холодильник, и к концу сезона рыбешек накапливается на целую уху, которую мы и сварили торжественно в горах, предварительно купив в селении чачи...

И еще запомнилось, из тех же благодатных дней.

Пошли поужинать в ресторан «Инкит». Сели за стол, малой вдруг заерзал, заоглядывался и объявил, что хочет писать. Татьяна Константиновна, всегда готовая всем помочь, сразу же подсказала:



Николай Самохин, Михаил Щукин. Пицунда, 1986 г.

— Миша, так вон же туалет!

В просвете густых зарослей четко виднеются две буквы — «ЕТ».

Михал Михалыч уходит, долго отсутствует, а возвращается сердитым до неимоверности и выговаривает:

— Тетя Таня, ты что, читать не умеешь?! Там «БУФЕТ» написано!

Как же хохотал Николай Яковлевич, обличая свою супругу в безграмотности! И в этом смехе он весь был как на ладони — открытый, душевно щедрый и, наверное, счастливый в эти дни.

Но дни такие, похоже, случались у него не часто.

* * *

Пятидесятилетний юбилей Николая Яковлевича отмечали в Союзе писателей, который располагался тогда на улице Каменской, напротив Центрального рынка. Вот на рынок я и зашел, чтобы купить букет цветов. Остановился возле милой старушки, которая не прочь была от скуки поговорить и поэтому, пока завязывала букет, успела у меня все выспросить: куда, кому и по какому поводу. Услышав, что юбилей у писателя Самохина, несказанно обрадовалась и начала мне пересказывать содержание книжки, где «про дачников, про нас написано!» И так она увлеченно пересказывала, что я понял: если дослушаю до конца, юбилей пройдет и закончится без меня. Достаю деньги, торопливо начинаю прощаться, и вдруг — новость. Первоначальную цену хозяйка цветов скинула мне ровно наполовину. «Вот это слава, — подумал я, принимая букет, — это тебе не рецензия, пусть и хвалебная!»

Празднование юбилея запомнилось тем, что не было никакого официоза и долгих поздравительных речей, как не было и никаких наград — ни звания, ни ордена, ни медали. Но самого юбиляра последнее обстоятельство, похоже, абсолютно не интересовало, наверное он даже и не думал об этом. Натянув на парадную рубашу тельняшку, подаренную однокашниками по водному институту, Николай Яковлевич дирижировал хором, который пел довольно слаженно что-то из Окуджавы... А сколько остроумия, сколько юмора, сколько потешных стихов прозвучало!

**На вручение Н. Я. Самохину
медали «Сибирских огней»**

...Легко ты пишешь, без натуги,
Орлиным взором смотришь вдаль.
И вот за эти все заслуги
Тебе откована медаль.

Не знаем, золота в ней много ль,
Но твердо знаем мы зато:
Медаль такую даже Гоголь
Не надевал поверх пальто.

И коль журналу не изменишь
И будешь с ним душою всей,
То, Коля, ты еще оценишь
Все выгоды награды сей.

Во-первых, может быть прибита
К дверному косяку она,
Как бы подкова от копыта
«Огней Сибирских» скакуна.

Сей орден, во-вторых, прекрасен
Тем, что вечернею порой, —
Коль ты при нем, — то не опасен
Неположительный герой.

Ей-ей, нет вещи хорошее.
Носи медаль в жару, в мороз —
Ее ношение на шее
Снимает остеохондроз.

И вот еще совет отцовский:
Бутылку ею открывай,
Когда придет к тебе Перцовский
Или Яновский Николай...
И т. д.



И всё — искренне, от души, да по-иному, пожалуй, и быть не могло, ведь человек, собравший всех за столами, отличался именно искренностью, и фальшивить перед ним было стыдно.

Люди собрались совершенно разные, и не только писатели, потому как Николай Яковлевич дружил не по «цеховому» принципу, а по человеческому — с теми, с кем ему хотелось дружить. И не было никогда в этом круге «нужных» людей. Их объединяла прошедшая молодость, общие воспоминания, их объединяло многое. И никто из них в разгар юбилейного веселья даже в мыслях, наверное, не мог представить, что пройдет всего лишь несколько лет — и по этому единству пойдут глубокие, извилистые трещины.

Грянула перестройка... Свобода слова... Все начали говорить, даже те, кому сказать было абсолютно нечего. И началось деление: на «демократов» и «партократов», на «либералов» и «патриотов», ну и так далее. Появились люди, которые из одного голого «говорения» сделали профессию и стали знаменитыми.

Вся эта шумно бурлящая пена была глубоко противна Николаю Яковлевичу, который не желал примыкать ни к какому лагерю, не желал бежать впереди с флагом, не желал кричать на митингах — просто не желал. Не хотел делить «расколовшихся» друзей на «своих» и «чужих». А тут еще масла в огонь подлили два московских журнала, уже стоявших к тому времени на разных позициях. Из «Знамени», куда он отправил свои рассказы и где в отделе прозы его хорошо знали, где напечатали хвалебный отзыв на повесть «Сходить на войну», пришел оскорбительный отказ, чуть ли не с советом «читать классику», а журнал «Наш современник» сходу взял эти рассказы, о чем известил в своей телеграмме главный редактор С. В. Викулов. Одна дама, с которой они много лет дружили, так возмутилась публикацией самохинских рассказов в «черносотенном» журнале, что сказала автору, что больше никогда не подаст ему руки. Этакий высший либеральный шик — объявить человека нерукопожатным, а он ведь ни капли не изменился, каким был, таким и оставался и «перековываться» в угоду кому бы то ни было не собирался, только мрачнел на глазах. Это была его глубокая личная трагедия. Тогда и родились эти стихи: «Кто палку взял — тот и капрал!», «Детей Арбата растащили...», «Пора достойно умереть...». Не буду их здесь цитировать и тем более комментировать, потому как стихи эти не нуждаются в толковании, их просто нужно читать и думать над ними. Именно в них отражена трагедия честного писателя и честного человека Николая Яковлевича Самохина.

* * *

У него были красивые мужские руки — руки мастерового человека. И я с горечью и состраданием видел, что они дрожат. Сидели у него в гостях за несколько дней до отъезда Николая Яковлевича в Дом творчества в Малеевке. Только что закончилось совещание молодых, в которое он вложил немало сил и нервов, а в ответ от неведомо откуда вылупившихся «гениев» получил, как он сам говорил, «по мусалу». Требовали молодые

и рьяные поэты книг, публикаций, обвиняя старших товарищей во всех смертных грехах, и даже напечатали в «Молодости Сибири» нечто вроде пасквиля, в котором досталось на орехи и Самохину. Забегая вперед, скажу — ничего из тех «гениев» не вышло, исчезли, аки пыль, и прав, пожалуй, был Николай Яковлевич, когда в сердцах называл эту публику нелюбезно — «пацаны-засранцы».

На огонек подтянулся Илья Картушин, и мы вдвоем принялись его уговаривать, чтобы он не принимал так близко к сердцу дурацкие упрёки... Он слушал нас, кивал, как будто соглашаясь, но мрачнел все больше. И вдруг начал рассказывать что-то из детства, о какой-то игре, если верно помню, «в ножички». О том, что он был в этой игре самым ловким. Заулыбался, и мы, глядя на него, повеселели и расходились в хорошем настроении...

Если бы знать...

Прошло совсем немного времени, и рано утром, часов в пять, раздался телефонный звонок. Звонил Виталий Иванович Зеленский:

— Коля Самохин умер. Подходи в Союз.

Жизнь свою, как выяснилось, он оборвал собственными руками.

* * *

Честное слово, не хочется заканчивать эти заметки горькими вздохами, хотя горечь, конечно же, не отпускает по сей день.

Лучше закончу памятным для меня случаем.

Лето. На старом добром «кукурузнике» прилетели мы в Краснозерку на встречу с читателями.

Встреча состоялась, времени до отъезда оставалось еще много, и Николай Яковлевич загорелся: пойдём порыбачим! А чем рыбачить? Удочек-то нет! Решили постучать в первый попавшийся дом. Раз он на берегу реки стоит, значит, и удочки должны иметься в наличии. Вышел немолодой уже хозяин, пристально, даже слегка подозрительно оглядел нас и вдруг заулыбался, широко распахнул калитку:

— Проходите, я квасу вам налью, и удочки после дам, и скажу, где червей накопать.

Провел в дом, усадил за стол, налил квасу, а сам подошел к этажерке, на полках которой стояли книги, накрытые вышитыми салфетками. Быстро взял одну из них и положил на стол — Николай Самохин, «Сходить на войну».

— Это ты не про своего отца написал, а про моего. Один в один. Третий раз перечитываю — все правда.

Позже, когда мы уже сидели на берегу речушки с удочками, Николай Яковлевич, задумчиво глядя на неподвижный поплавок, вдруг сказал:

— Знаешь, старик, а иногда вот здесь так тепло бывает...

И приложил к груди руку.

Больше он ничего не добавил, но я его прекрасно понял.

Пусть будет тепло «вот здесь», в районе неравнодушного сердца, у нынешних и будущих читателей прекрасной прозы Николая Самохина.

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

НАШЕ ВРЕМЯ

Три автографа Николая Самохина

Автограф первый

«Время больших снегопадов». Рассказы и повести. Новосибирск, 1977 год.

То есть издана книга в прошлом веке и в другой (как некоторые утверждают) стране. На мой взгляд, век другой, конечно, но страна все та же, только вранья прибавилось. И не только у нас. А вот друзей (везде) стало меньше.

«Геннадию Прашкевичу от преданного поклонника бормотухи — дружески. 16.6.77».

Так подписал книжку Коля Самохин.

Для меня он всегда был Колей, я для него — Геной. Возрастная разница была невелика, позволяла. А замечательное слово «бормотуха» он выловил из моей повести «Каникулы 1971 года», изданной в Магадане. «Смотри, как меняются времена, — весело отметил он сам факт выхода моей книги именно в Магадане. — Не так давно ты мог бы сам лично вкалывать в солнечном колымском краю, а теперь там выходят твои книги».

Появление «Каникул» мы отметили в ресторане «Центральный».

Точнее, в «нижнем» баре, располагавшемся под рестораном, в подвале.

Коля собирался уходить из «Литературной газеты» (не в первый раз), говорил мне: «Рекомендую тебя». Понятно, на место собкора по Сибири, что меня весьма привлекало. К этому времени я уже летал в командировку от «Литературной газеты» (почти экзамен), и устроил это именно Коля. Вдруг созрела острая необходимость побывать в Хакасии, там, вдали от цивилизации, местный народ, пастухи в основном, наглядываясь на приезжающих из метрополии туристов, начали ни с того ни с сего энергично портить уникальные древние писаницы, оставленные их же собственными далекими предками.

Хакасия.

Бесконечная степь.

Ветер гонит волну по травам.

Тут и там торчат из травы фаллической формы камни.

Два, а то и три метра высотой — не так уж просто дотянуться, но я сам видел на верхушке одного из этих древних священных камней губной помадой начертанные слова: «Оля была здесь». И местные пастухи, с помощью зубил выбивая короткие и энергичные русские слова прямо поверх доисторических росписей, нисколько не церемонились. Чем они хуже Оли? Археолог Окладников, академик и просто замечательный человек, перед поездкой провел меня по музею Института истории, филологии и философии в новосибирском Академгородке, где с гордостью показал человеческий скелет в одной из витрин: «Мой земляк». Он действительно гордился своими земляками, оставившими нам столько замечательных памятников по всей Сибири, и вот уже другие его земляки, современники, сами бросились оставлять след в истории: выбить что-то такое прямо на древних рисунках, построить личную дачку в историческом заповеднике, а то и предложить развернуть сибирские реки в сторону сухих пустынь Средней Азии...

«Наказуется ли невежество?» — спрашивал я в своей статье.

А если наказуется, то как?

Кто ответит?

Помню, как чуть не со слезами на глазах возмущался на теплоходе, на котором писательская бригада плавала по Оби, Виктор Петрович Астафьев. «Вот все кричат, вот прямо все в крик идут: ох, ах, берегите природу! А почему никто не кричит: ох, ах, караул, почему это такие выросли дети в наших малосортных квартирах? Это ведь они, наши дети, губят природу. Я не тогда почувствовал настоящий ужас, — страдал Астафьев, — когда увидел на берегу осетров сдохших, а когда увидел дохлых ершей. Ерши обычно все переживают, они крепкие, колючие, а тут сдохли, значит, дело совсем дрянь».

И клял родных браконьеров. Вот какие они выросли талантливые! Научились уничтожать живое, не прикасаясь к нему. «Мы умные, начали мы активно кедр оберегать, перестали валить сам кедр, стой и радуйся, только вырубил вокруг все окрестные деревья, вот кедр сам и попал».

Коля Самохин ко всему этому относился так же остро.

Водник по образованию, он сразу пошел своей собственной дорогой. Много увидено, много пережито, хотелось рассказать об этом. Работа в проектном институте, строительство новосибирского Академгородка, газета «Советский воин», за ней газета «Вечерний Новосибирск», журнал «Сибирские огни», и вот — собственный корреспондент «Литературной газеты» по Западной Сибири.

Но чаще всего встречались мы в писательской организации.

Рядом с Колей всегда кто-то находился. Леня Треер, Илья Картушин, да мало ли. Коля любил талантливых людей. «Долой кнутобой! — с удовольствием цитировал он первые рассказы Картушина. — Нет — высоким надоям!» И тут же пытался опровергнуть одну из многих смелых теорий Ильи — о праве профессионала на халтуру. То есть, считал Илья, профессиональный писатель имеет право время от времени (для отдыха и для денег) издавать книжки, написанные одной левой, почему нет? Слушая, Коля недовольно сутулился, встряхивал седеющими волосами,



смотрел исподлобья. Это что же, спрашивал, нам теперь создавать специальные библиотеки? Жанр: состряпано на скорую руку? И одергивал свой вельветовый пиджак. Конечно, профессионал должен жить по-человечески, ну так не халтурь, пиши так, чтобы твоя книга себя окупила.

Правда, кто будет оценивать твой уровень?

«Состряпано» — этот жанр регулярно утверждала сама литературная критика и, понятно, цензура, точнее самый опасный ее вид — самоцензура. Ты мучаешься, делаешь классную вещь, а она застревает в редакторских руках, даже не дойдя до официальных запретительных органов. Редактор, напуганный многими прецедентами, уже сам не допустит подозрительную вещь до цензуры.

Пример? Не проблема.

Прилетел в Новосибирск из Белграда сербский поэт Саша Петров.

Самохин (он входил в правление писательской организации) попросил меня показать гостю новосибирский Академгородок. Нагулявшись, мы, естественно, зашли на обед в Дом ученых. Саша расчувствовался. Все ему в Сибири нравилось. Люди нравились, сибирские поэты нравились. Одно не нравилось. Вот он, Саша Петров, — поэт известный, живет в Югославии, но переводится и издается в самых разных странах, сам переводит, издал столько русских советских поэтов на сербохорватском, а его собственные стихи выходят где угодно, кроме России. Ну да, он — сын врангелевца, бежавшего в свое время из родной страны, но это когда было... Это в годы Гражданской войны было. При чем тут он, поэт Саша Петров? Сами утверждаете: сын за отца не отвечает.

Наслушавшись стенаний Петрова, Коля предложил мне: переведи!

И я наконец, действительно, раскрыл подаренную мне Сашей книжку («Словенская школа») и позвонил в редакцию «Сибирских огней». Оттуда мне ответили: «А что? Переведи этого Петрова. Хорошая простая фамилия».

И я раскрыл «Словенску школу». И даже подумал, что вот как пакудно будет, если у Саши не найдется ни одного стихотворения, годного для публикации в нашем старейшем советском толстом литературном журнале.

Да как же не найдется?

Вот, пожалуйста!

«Смольный».

Стихотворение с таким названием — и еще не переведено?

Я вчитался, и скоро до меня дошло, что речь идет не о революционной балладе.

Семнадцатый год... Петроград... Институт благородных девиц... Юная мама Саши Петрова танцует на выпускном балу... Будущее прекрасно, вся жизнь впереди... Ведь Сашина мама еще не знает, что по чудесному паркету Смольного скоро затопают тяжелые сапоги... В старейшем толстом литературном советском журнале, невольно подумал я, все сомлеют от такого стихотворения. Там, в редакции, все с деревьев попадают.



Но мне и вправду хотелось познакомить читателей со стихами замечательного югославского поэта Саша Петрова, и Коля об этом просил. Мы тогда много думали о литературе, искренне болели за нее, мало ли что жизнь мамы Саша Петрова не сложилась, пришлось ей бегать от большевиков, но тут сыграло роль ее происхождение — из благородных, *племенитих*. Я читал и радовался Сашиной образности.

Вот стихотворение под названием «Перец Маркиш».

«И Луна висела над строем хмурых сибирских стрелков, как кривая улыбка коммуниста, загнанного по ошибке ЦК на два метра под землю».

Что ж, перегибы мы давно осудили. Живем в восьмидесятые, не в тридцатые.

«Но взвод сибирских стрелков расстреливает не поэта Переца Маркиша, а поэзию идиша».

От таких стихов, пожалуй, подумал я, в редакции нашего толстого старейшего сибирского журнала точно все с деревьев попадают.

И начал волноваться.

Книжка-то небольшая.

Стихов немного, все интересные.

Что выбрать? Я искал. Должны быть такие стихи.

И нашел нужное. Даже название нежное. «Зимняя элегия». И эпиграф взят не из какого-нибудь там коллаборациониста Эзры Паунда, а из Пушкина. Из нашего Александра Сергеевича. «Зима! Крестьянин, торжествуя...»

Я вчитался в стихотворение.

Глубокая серая заокеанская скука.

Далекий штат Мэриленд, город Балтимор.

Долгий дождь, холодный ветер. Замечательный югославский поэт русского происхождения Саша Петров, отчитав лекцию в местном университете, вспоминает родную Адриатику. Хорошее патриотическое чувство, одобрительно подумал я. Переведу я это чудесное ностальгическое стихотворение, сегодня же обязательно переведу. Лишь бы телефонные звонки не мешали... Но телефонный звонок вдруг раздался — в стихотворении... Ох, не вовремя. Я сразу почувствовал неладное.

Не надо звонков!

Не бери трубку, Саша!

Но Саша Петров телефонную трубку взял, и мы с ним услышали негромкий прокуренный голос. «Саша, — произнес этот голос. — Ну что ты там делаешь, в этой промозглой балтиморской дыре? Что тебе надо на этом конце света? Беги отсюда! Беги на свой светлый Ядран! Там у тебя всегда синь морская, горячее Солнце, там речь славянская!»

Вот они — прекрасные стихи прекрасного поэта для нашего прекрасного старейшего сибирского толстого журнала.

Ох, только бы собеседник Петрова ничего не испортил.

А он испортил. Вот взял и испортил.

«Иосиф».

Всего лишь имя свое назвал.

Не радовали нас тогда имена наших нобелевских лауреатов.



Редактору отдела поэзии стихи Саши Петрова не показались. Коля его не убедил. Но меня Коля не раз еще выводил на переводы: на хороший рассказ Эбигнева Домино, который в итоге появился в тех же «Сибирских огнях», на рецензию Рышарда Поллака, посвященную, кстати, Колиной книге «Где-то в городе, на окраине». Приятно знать, видеть, что тебя читают даже за рубежом. Но вот дома за веселый рассказ «Как один генерал не смог двух мужиков прокормить» командование Сибирского военного округа разжаловало старшего лейтенанта запаса Самохина в рядовые.

Тоже награда.

Я, кстати, лучшей Колиной вещью всегда считал (и считаю) именно повесть «Где-то в городе, на окраине».

Детство свое Самохин провел на окраине сибирского города Новокузнецка. Такие книги не сочиняются, они живут в нас. Как и такая история, которой я поразил Колю.

Начало пятидесятых, послевоенная железнодорожная станция Тайга.

Новичка, пришедшего в класс, в котором я учился, звали Адик. Ну, Адик, подумаешь. Но мы-то знали, от нас ничего не скроешь: в классном журнале четко было написано — Адольф. Пришло же в голову родителям перед самой войной назвать так сына. Слушая, Коля понимающе кивал. Тайга... Новокузнецк... Какая разница?... Учителя старались сажать Адика за первую парту, будто это могло спасти его от пулек, нарезанных нами из медной проволоки. Пущенная с резинки, накрученной между большим и указательным пальцами, такая пулька легко врезалась в оттопыренное мальчишеское ухо. Ходил Адольф по школе с опухшими рваными ушами, как дурной слон. Конечно, учителя разоружали нас, но... нас двести миллионов, всех не разоружишь... Иногда появлялся в классе директор школы — хромой, немногословный. Он не искал виновных, просто заставлял первых попавшихся на глаза (не обязательно провинившихся) вытягивать перед собой руки и от всей души лупил линейкой по голым ладоням. По глазам видно, что понимает: не лучшее решение проблемы. Ведь чем больней бьет, тем больше потом наваляют Адикю.

Однажды мы писали сочинение на тему «Кем я хочу стать».

Мы тогда много кем хотели стать: летчиками, моряками, водителями, машинистами (в Колиной повести такие мечты описывались блистательно), да просто солдатами победоносной армии. Вот и хотелось нам, конечно, узнать, а кем же мечтает быть наш Адик?

А он так и написал: «Адольфом».

Автограф второй

«Сходить на войну». Три повести. Новосибирск, 1982.

«Геннадию Прашкевичу — с уважением к его таланту, завистью к работоспособности и сочувствием к недавней “осоюженности”. 11 июня 82».

Историю с приемом в Союз писателей опускаю. Это длинная история. И не такая веселая. Зато указанная Колей «осоюженность» (всту-

пление в Союз писателей СССР) позволила перевести дух — появилась хорошая возможность работать в архивах, выезжать в Дома творчества, ну и ставка гонорарная увеличилась, что для профессионального писателя не является делом второстепенным.

Каждой весной в те годы я летал в Дурмень (под Ташкентом).

Середина восьмидесятых. Гласность — перестройка — ускорение.

Компартия? Впечатление, вот-вот распустят. Но не распускают. Оппозиция? Впечатление, вот-вот власть перейдет в ее руки. Но как-то не переходит. Писатели, инженеры человеческих душ? Впечатление, они все знают, они укажут пути в будущее, раньше им этого не позволяли, а теперь все пути открыты. Но как-то не получается у них, отделяются отписками за и против. Сухой закон? Впечатление, ох, наконец-то, все протрезвеют. Но очереди в редкие магазины, торгующие алкоголем, не исчезают, а растут. Причем растут беспредельно. Ученые уезжают за рубеж, НИИ и заводы закрываются, зарплату на еще работающих предприятиях выплачивают с огромными задержками. Будучи в Омске, как-то спросил: «А где Декельбаум? Где мой друг?» Мне ответили: «В демократы ушел. Где ему еще быть с такой фамилией?»

Коля мрачнел, слушая такие истории.

О собственных экспериментах Самохина в годы объявленной в стране свободы (будто свободу, правда, можно объявить), уверен, расскажут другие. Я писал в то время исторический роман «Секретный дяк», начатый еще в семидесятых. Неторопливо писал. Торопиться не было смысла. С Колей, встречаясь, обсуждали то, что бросалось в глаза, и в первую очередь резко меняющееся отношение к русским в союзных республиках. В Прибалтике, на Кавказе, в Средней Азии. Начинаешь разговор с человеком и вдруг чувствуешь: не идет...

Вот одна из историй, которыми мы в те годы обменивались с Колей.

Мой друг, молодой узбекский (советский, конечно) писатель Хаджиакбар Шайхов, начинал свою литературную деятельность в ташкентском отделении «Комсомольской правды». «Весенние приходят дни в твоих глазах сиять, колхозник, — не раз зачитывал он мне стихи, поступающие в редакцию. — Пахать на тракторе начни, соху пора бросать, колхозник».

Таким строкам Коля радовался.

Но даже в самый разгар перестройки он, Самохин, чувствовал в воздухе нечто тревожное, нечто обманное, нечто сбивающее с толку. Как многие, Коля пытался начинать какие-то собственные издательские дела, относился к ним ревностно и ревниво, но каким-то странным образом, как-то слишком стремительно исчезало из жизни то, что совсем недавно помогало жить.

«Живу на свете я давно — такая не пекла жара! Как прадедовское вино, нас изнутри сожгла жара».

С внутренней, сжигающей нас жарой мы боролись давно испытанным (прадедовским) способом — спорами в кафе, которые вдруг начали массово распространяться по всему Новосибирску. Совсем недавно мы собирались с Колей создать самый полный путеводитель по значным местам столицы Сибири, но теперь бы не потянули, слишком много раз-



велось значных мест. Да и в Южно-Сахалинске, в Хабаровске, в Благовещенске, в Иркутске, Томске, Омске, Свердловске, Челябинске, Риге, Москве, Питере — везде, где мне пришлось бывать в то время, возникали такие же значные места и так же легко таяли, исчезали места рабочие.

Разумеется, и в Ташкенте.

Мой друг Хаджиакбар писал фантастику.

Он писал рассказы в духе раннего Брэдбери, только оптимистичнее.

Узбекские фотонные корабли легко доставляли на далекую планету Марс семена ценных сортов хлопчатника. Коля кивал. Конечно, куда еще, как не на Марс, доставлять семена, если Аральское море давно высохло, а дно когда-то полноводной Амударьи заносится жесткой пылью. Хорошо, наши сибирские реки не успели повернуть вспять, а то ведь собиравались.

Однажды Хаджиакбара вызвали к редактору.

«Справишься ли с ответственным заданием?» — спросил главный.

Справится ли Хаджиакбар? Зачем спрашивать? Ответственное задание — это более высокий гонорар, как не справиться? А еще у него, Хаджиакбара, — молодая жена, малый ребенок и никаких побочных доходов.

Главный взволнованно произнес: «Поедешь в район».

И назвал имя крупного узбекского партийно-хозяйственного деятеля.

От имени этого (широко известного в Узбекистане) у Хаджиакбара сильно и сразу защемило сердце.

«Большая честь! Высокое доверие! — взволнованно продолжил главный. — Все наши видные журналисты улетели в Москву, освещают работу пленума ЦК КПСС. Конечно, остался у нас Маджид, но у него беда — пьет, может не сдержаться. — Главный даже отмахнулся двумя руками от какой-то ужасной мысли, вдруг мелькнувшей в его сознании. — Саид в Учкудуке, пишет о золоте. Некого послать в район. Докажи свою состоятельность».

И, сделав паузу, закончил так:

«Об одном прошу. Увидишь Хозяина, не торопись, не бросайся к нему с приветственным рукопожатием, жди, не открывай рта, будь мудр, терпелив, трижды подумай, прежде чем сказать слово».

И посоветовал совсем уже странное:

«А руку Хозяин протянет, не смутись поцеловать».

Коля слушал, кивал. Кое-что в те годы он знал лучше меня, работа в «Литературной газете» открыла ему глаза на многое. Он понимал, чего именно боялся мой молодой друг, ведь Хаджиакбара опраивали в одно из тех загадочных узбекских хозяйств, где в восьмидесятые годы прошлого века на потаенных хлопковых полях, не внесенных ни в какие реестры, выращивались миллиарды и миллиарды никем не учтенных советских рублей...

«О Аллах, — шептал про себя Хаджиакбар, ведя свой потрепанный “запорожец” сквозь плотные тучи желтой узбекской пыли. — Спаси меня от бед. Подскажи самые верные слова». Но Аллах молчал, жара палила,

мохнатыми от множества белых хлопьев (хлопок, хлопок, хлопок) казались телеграфные провода.

Только в приемной Хозяина оказалось прохладно.

Там наконец Хаджиакбар смахнул горячий пот со лба.

Он даже подумал (с некоторой надеждой), что, наверное, на Хозяина района наговаривают. У больших людей всегда много завистников. В конце концов, если и есть у Хозяина какие-то тайные зинданы (ох, есть, подсказывало Шайхову многоопытное журналистское сердце), то совсем небольшие. Ведь вон какой улыбчивый у Хозяина секретарь — важный и толстый. И у него всего три подбородка, значит, знает меру. А секретарь тоже рассматривал Шайхова и, придя наконец к каким-то своим выводам, обнадеживающе почмокал толстыми губами: «Ты счастливец, товарищ Шайхов. Тебя, товарищ Шайхов, выбрала удача. Ты представишь нашего Хозяина на страницах республиканских и московских газет».

И, сказав так, подошел к окну.

«У тебя есть машина, товарищ Шайхов?»

Хаджиабар ответил утвердительно. И тоже подошел к окну.

Там, за окном, в широком, затененном запыленными джиддами дворе два крепких местных человека в тубетейках и стеганых халатах, обливаясь потом, глотая желтую пыль, большой тоталитарной красоты люди, дружно стаскивали в арык старенький потрепанный «запорожец» Шайхова.

«О Аллах, оторви им руки!» — безмолвно взмолился Хаджиакбар.

Но Аллах и на этот раз не отозвался на его зов. За всеми сразу не уследишь. Пришлось признать: «У меня нет машины». Язык не поворачивался произносить такие ужасные слова, но какой-то дальней частью своего сознания Хаджиакбар уже понимал, что появление в чудесном тенистом дворе его старенького потрепанного «запорожца», несомненно, каким-то образом должно было унижить Хозяина. Хаджиакбар вдруг как бы даже явственно расслышал стоны и рыдания людей, уже упрятанных в подземный зиндан (пусть даже тайный, пусть даже небольшой) только за то, что они тоже чем-то таким унизили Хозяина.

Будто прочитав его мысли, секретарь сказал:

«Не надо волноваться, товарищ Шайхов. У тебя есть машина».

И тотчас один из тех людей в халатах и тубетейках, что только что спустили в арык его старенький потрепанный «запорожец», приветливо помахал рукой, а другой ласково похлопал ладонью по капоту стоявшей во дворе совершенно новенькой белой «Волги».

И новый вопрос:

«У тебя есть квартира?»

«Совсем однокомнатная... Совсем в панельном доме... — неуверенно кивнул Шайхов, представив вдруг, как в его крошечную квартирку вваливаются с ломami в руках вот такие крепкие, большой тоталитарной красоты люди. — Совсем рядом с рынком... Совсем в поселке имени Луначарского...»

«Вот так, всегда говори только правду, — одобрительно покачал головой все понимающий секретарь. Он, видимо, знал о Шайхове все,



что следовало знать. — У тебя есть хорошая квартира. Она находится в центре Ташкента. Там у тебя удобная кухня, три прохладные комнаты и отдельный кабинет».

И протянул ключи дрогнувшему журналисту.

И при этом укорил: «Как можно писать о Хозяине, товарищ Шайхов, живя в поселке имени Луначарского в совсем тесной комнате прямо над шумными рядами рынка?»

И задал очередной вопрос:

«У тебя есть жена?»

На этот раз Хаджиакбар испугался.

На этот раз он испугался по-настоящему.

О Аллах, взмолился он про себя, останови этого доброго и могущественного человека! Свою жену Хаджиакбар любил. И своего маленького ребенка любил. Если в новой квартире у меня теперь будет удобная кухня, если у меня теперь там будут три прохладные комнаты и отдельный кабинет, если я приеду в центр Ташкента на совсем новенькой белой «Волге», пусть все же, о Аллах, меня встретит прежняя жена, а не какая-то другая, пусть даже умная и строгая, с большим убедительным партийным стажем и с тремя, так сказать, уже готовыми, здоровыми и правильно воспитанными партийными детьми.

Отмахнувшись от этих страшных мыслей, он спросил:

«А когда я смогу поговорить с Хозяином?»

«Зачем ты хочешь говорить с ним?» — удивился секретарь.

«Я журналист, — попытался объяснить Шайхов. — У меня ответственное задание. Я должен доставить материал в редакцию».

«Ох, эта молодежь, — укоризненно покачал головой секретарь. — Зачем тебе торопиться? Время идет. Оно само идет. Не надо его подталкивать. Надо правильно думать. У тебя сегодня большой день, товарищ Шайхов. Ты растешь, ты начинаешь вникать в суть текущего. Ты стоишь в начале многих важных вопросов. Ты начинаешь постигать настоящую правду. Она проста, сам видишь. Новая машина, удобная квартира в хорошем столичном районе. Там в тенистом дворике бьет прозрачный фонтан, играет медленная музыка. Езжай домой, товарищ Шайхов. Тебе выписан достойный гонорар, твоя статья о Хозяине в наборе. Над нею трудились лучшие умы солнечного Узбекистана, она целиком и полностью одобрена партией. Ответственные, зрелые люди помогают тебе понять правду».

Я думал, Коля рассмеется, но он молчал.

Конечно, он тогда гораздо лучше меня, наивного, понимал, что мы с ним уже вошли в новое время. И оно, это новое время, идет. И подталкивать его нет никакого смысла.

Автограф третий

«Юмористические рассказы». Новосибирск, 1988. Почти избранное.

«Геннадию Прашкевичу от некогда веселого сочинителя — дружески. 17 окт. 88 г».

Уже не бар в «Центральном», да и самого «Центрального» нет, его место занял большой универмаг. Мы за столом в бильярдной писательской организации. Но тут, пожалуй, еще удобнее. Разворачивай газеты и наслаждайся еще непривычной, но уже агрессивно и страстно входящей в жизнь рекламой.

«Комната в доме барачного типа (9 кв. м.), первый этаж, без электричества, без удобств, поселок Пионерский (лев. берег Оби) — меняю на благоустроенную трехкомнатную в любом южном штате Америки».

Почему бы и нет, если с правом обратного обмена.

«Недавно узнал, что моего прадеда звали Фима. Имею ли я право подать документы на выезд из страны?»

Вот и спрашивается: кто тут боролся за свободу?

«Телеграфистка, сорок пять, сто двенадцать, беспорядочная тяга к спиртному. Где ты, мой кукушонок?»

Кто-то, наверное, откликнулся на такие объявления.

«Всем джентльменам, помнящим ласковую путану Алису, гостиница “Сибирь”, верхние номера: срочно нужна финансовая помощь в СКВ. Срок отдачи — полгода. Вы меня знаете!» Уверен, и этой честной путане помогли.

«Нашедших шестого июля сего года дипломат из крокодиловой кожи в районе пристани Ягодная просим дипломат вернуть и вовнутрь не заглядывать. Лучше позвонить по указанному нами телефону, чем потом всю жизнь прятаться в Бишкеке или в какой-нибудь другой Уганде».

Все же мы смеялись.

Ну, в самом деле, подумайте!

В писательском Доме творчества в подмосковном поселке Переделкино выступает заезжий поэт. Молодой томный якут. Звать — Август. А почему нет? Свобода! Длинные черные волосы, маникюр. «Пишу только по-французски. Искусство — это то, чем я занимаюсь. Моя миссия открыть людям глаза на двигатель всего мирового искусства — лепру. Лепра — это проказа. Она беспощадна и прекрасна, как искусство».

На просьбу прочесть свои стихи по-русски Август отвечает:

— Не пишу стихов на варварском языке.

Ну и ладно. Ну и не пиши. В жизни Свобода даже во Франции не выходила на революционные баррикады с обнаженной грудью, как у Делакруа, зато теперь говорить все можно.

Это мы обсуждали уже в «стекляшке» напротив Центрального рынка.

Указанная «стекляшка» была одним из тех немногих мест, где в пору свирепого (унесшего не одну жизнь) сухого закона можно было заказать сто граммов водки (только сто, ни грамма больше) и курочку к ним. Хотите еще сто? Тогда заказывайте еще одну курочку. Вот вам задача из нового учебника арифметики: завсегда́тай «стекляшки» (той, что напротив Центрального рынка) за час выпил шестьсот граммов водки. Спрашивается, сколько курочек он съел за этот час?

Невдалеке от нас (пришел раньше) удобно расположился поэт Иван Матвеевич Ветлугин. Самых серьезных творческих людей манит иногда

блеск подобных «стекляшек». Перед Иваном Матвеевичем стояла еще не начатая курочка, но уже опустошенная рюмка, а на полу у ног уютно угнездилась незаконная чекушечка. То есть все как у всех.

Мы продолжаем беседу.

Вдруг Коля неожиданно замирает.

Он даже одергивает свой вельветовый пиджак.

Я не выдерживаю и оборачиваюсь. Ничего вроде в «стекляшке» не изменилось. Впрочем, нет, нет, изменилось. И еще как изменилось. На столе перед Иваном Матвеевичем стоит початая чекушечка, а в ногах на полу — курочка.

Как говорят шахматисты — перепутан порядок ходов.

Нет, не надо подталкивать время.

Оно само идет.

P. S. Без автографа

В третьем номере толстого литературного журнала «Проза Сибири» за 1995 год мы (Замира Ибрагимов, Володя Клименко и я) напечатали раннюю Колину повесть «Любовь без мягкого знака». Рукопись сохранилась в архиве Володи Скальницкого.

Журнал издавали Леня Шувалов и Аркадий Пасман, я был главным редактором этого журнала — свободного, независимого, рассчитанного на самого широкого читателя. В горящем, рассыпающемся (или только-только зарождающемся) мире того времени издаваться нормальным советским писателям было негде, поэтому мы (сумасшедшие) привечали всех. Рядом с Виктором Петровичем Астафьевым печатали Кира Булычева, рядом с Евгением Евтушенко присутствовал Валентин Распутин, с Войновичем — Василий Коньяков, с Юрием Магалифом — староверы, и так далее. Только в нашем журнале было такое. Наверное, потому, что мы продолжали относиться к литературе как к литературе.

Жизнь жестка. Книги забываются. «Новая Сибирь, — писала в кратком вступлении к повести Самохина Замира Ибрагимов, — поновела нынче так, что уже не возьмешь на себя смелость сказать о ней — читающая Самохина Сибирь».

Но мы надеялись. Мы верили, что все вернется на круги своя.

Прошли черные дни января 1989 года, когда звонил Виталий Зеленский, звонил Саша Плитченко, звонил кто-то еще и еще. Новость одна: нет больше с нами Коли Самохина. А на улицах города и на экранах телевизоров все те же митинги, выступления, исступленные речи. «А веры никакой, одне шаманы», — писал в своих «Скасках» Владимир Атласов.

Но мы, упрямые, верили: все рано или поздно возвращается.

И вот возвращается.

В виде книг...

Павел КУРАВСКИЙ

ДОМ ПРЕТКНОВЕНИЯ

К вопросу о сохранении памяти

В течение нескольких последних лет в Новосибирске противоположным образом решаются судьбы двух исторических зданий — дома-конторы одного из основателей Новониколаевска (Новосибирска) инженера Григория Будагова и дома, где жила Яна Дягилева, панк-рок-поэтесса и певица. Противоположным, потому что один дом возрожден буквально из пепла с одобрения муниципальных властей, а другой, на глазах горожан превращаясь в руины, стремительно уходит в небытие, рискуя по недоброй традиции девелоперских битв обратиться в тот же буквальный пепел. А ведь в этом доме бывали и Егор Летов, и Александр Башлачев, и другие яркие представители отечественной рок-культуры...

Но на данный момент по вопросу о доме Дягилевой ни экспертное сообщество, ни власти не сказали веского слова, не пришли к окончательному согласию.

Яна Станиславовна (Янка) Дягилева родилась 4 сентября 1966 года в Новосибирске в семье инженеров Станислава Ивановича и Галины Деметьевны Дягилевых. Окончила элитную школу № 42 (ныне — гимназия № 1). Первые концерты-квартирники, где Янка исполняла собственные песни, относятся к осени 1986 года, а в апреле 1987 года она познакомилась с лидером омской панк-группы «Гражданская оборона» Егором Летовым (с которым затем состояла в гражданском браке), после чего в 1987—1990 годах объездила с концертами (как самостоятельными, так и в составе «Гражданской обороны») всю РСФСР, Прибалтику и Украину.

Янка — одна из самых ярких представительниц сибирского андеграунда, один из самых значительных поэтов и авторов-исполнителей классического русского рока эпохи перестройки. Прожила короткую жизнь и трагически погибла в мае 1991 года в возрасте 24 лет в момент острого душевного кризиса.

Творчество Янки по-прежнему актуально и пользуется популярностью — правда, зачастую в исполнении других популярных артистов и без упоминания авторства. Так, одним из главных хитов в творчестве новосибирской суперзвезды Пелагии Хановой стала «Нюркина песня»; песни Янки поют Диана Арбенина и «Ночные снайперы», «Сурганова и оркестр», группы «Пилот», «Юта», Massive Attack и многие другие. Друзья и поклонники творчества Дягилевой ежегодно отмечают 4 сентября «Янкин день»...

Дом, где жила Янка, был построен в 1910 году Козьмой Кояковым и, по словам экспертов, сначала использовался как торгово-ремесленная лавка, а позднее был перестроен под две жилые квартиры.



Новосибирские краеведы недавно выяснили, что кроме Яны Дягилевой в этом многострадальном доме с двойным адресом (ул. Ядринцевская, 61 и ул. Семьи Шамшиных, 43) жила еще одна известная женщина — Надежда Александровна Дезидериева-Буда. В 1944—1964 годах она была солисткой Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и, обладая глубоким меццо-сопрано, пела ведущие женские партии в «Евгении Онегине», «Фаусте», «Князе Игоре», «Русалке», «Борисе Годунове», «Садко»...

Слава и гордость новосибирской школы оперного пения, Надежда Дезидериева-Буда по завершении театральной карьеры с 1964 по 1979 год руководила детской музыкальной школой № 1, и юная Яна Дягилева, учась в этой школе по классу фортепиано, заниматься на инструменте ходила к своей соседке, Надежде Александровне.

* * *

Если посмотреть на пересечение улиц Ядринцевской и Семьи Шамшиных и на участок улицы Семьи Шамшиных от Ядринцевской до Потанинской и даже до улицы Фрунзе, то мы увидим, что первая линия занята либо сгоревшими, обезлюдевшими остатками частного сектора и гаражами, либо морально устаревшими двух- и трехэтажными бараками, тогда как во второй линии уже высятся современные «свечки» в 20—25 этажей. Но ведь первая линия лучше, престижней — и дороже! Именно это, кажется, не дает покоя отдельным горячим девелоперским головам, которые настойчиво предлагают снести подчистую «все это старье» — ведь освободится место еще для трех-четырех высоток и, учитывая стоимость земли и жилья в центре мегаполиса, барыш грезится огромный! Правда, имеются отдельные досадные препоны — например, рядом с Янкиным домом есть крепкий кирпичный новострой, чьи собственники вряд ли дадут себя в обиду, вряд ли так запросто позволят «затоптать» себя очередным небоскребом.

А вот за Янкин дом заступиться, по сути, некому: отец ее, Станислав Иванович, давно здесь не живет, других наследников нет, да и вообще обе квартиры в доме принадлежат совершенно другим собственникам. Все «фонды» и «фанклубы» Дягилевой — организации негосударственные, некоммерческие и, что самое главное, столь же «контркультурные», каковой принято считать саму Янку и ее творческое наследие. За домом по мере сил ухаживают активисты и друзья семьи, в частности — Нина Мстиславовна Стогова, человек деятельный, но уже очень пожилой и, увы, не всемогущий. До поры до времени дом от сноса хранит и установленная на нем мемориальная доска, но, памятуя о тяжком процессе ее согласования, можно предположить, что она тоже — оберег ненадежный.

Но самое страшное в сложившейся ситуации то, что судьба и дома Янки, и дома-конторы Будагова — явления одного и того же пагубного порядка. Ведь сейчас на наших глазах с Янкиным домом происходит то же самое, что в советское время происходило с домом Будагова! Значит, прошедший век мало чему нас научил, значит, мы снова наступаем на те же грабли... И получается, что проблема отдельно взятого дома (парка, монумента, улицы) гораздо шире — это проблема корневой памяти времени и места.

Сегодня много и охотно говорят о попытках переписать нашу историю и о том, что мы допустить этого не должны и, конечно же, не допустим. Говорят буквально все — от президента России до отдельно взятого главы сельского поселения. Конечно, в первую очередь речь идет о переписывании военной истории, но ведь в истории существуют не только войны!



Дом Янки Дягилевой. Фото Кристины Кармалиты

Сейчас все отчетливей видна неуклонно расширяющаяся пропасть между ушедшей советской эпохой и нынешней рыночной реальностью — и засыпать эту пропасть больше нечем... Для еще живых советских поколений единственный способ сберечь историческую память о себе — перекидывать через пропасть забвения мостики реальной памяти. Не из настоящего в прошлое, а наоборот — из прошлого в наше настоящее, стремительно становящееся будущим. В этом смысле восстановление и реставрация дома-конторы Будагова — прекрасный пример собирания ранее разбросанного.

Если же вернуться к Янке, то ее «контркультурность» многим видится именно в том, что она сама и ее единомышленники приложили немало вдохновения и сил для крушения идеологических «зданий» советского периода.

Но, во-первых, это искусство — вопрос отдельных дискуссий, а во-вторых, бесспорно, что Янка, невзирая на разные оценки ее творчества, — фигура для Новосибирска историческая, памятная и, что называется, культовая, а самое главное — по сей день не забытая, несмотря на смену поколений, формаций, мировоззрений и систем ценностей. Поэтому потенциальное уничтожение дома Дягилевой — явление того же порядка, что приведение наплевательским отношением в негодность дома Будагова, только годы спустя.

Память о Янке, пусть и «разрушительнице», нельзя стирать по одной простой причине: как и в природе, в народной исторической памяти для остойчивости и устойчивости важен баланс, взаимоуравнивание. Память подобна океану, и если ее осушить — умрет все живое, потому что не может быть океана без воды. Но еще опаснее другое: любая лакуна в памяти не будет пустовать, она будет заполняться лжепамятью, чем-то подложным. Таким образом, выбрасывая из нашей памяти значимые фигуры прошлого — Будагова, или Янку, или кого-то еще, — мы выбиваем из своего фундамента небольшие, но важные камни. И однажды дело дойдет до последнего, краугольного...

Это, повторюсь, проблема корневой памяти времени и места. Новосибирск — молодой город с коротким, но очень насыщенным прошлым. И одним из людей, сделавших это прошлое ярким, был инженер-путеец Будагов, с чьего некогда забытого имени ныне стерта пыль. А со скольких имен — не стерта? И сколько, наоборот, по городу ненужных имен, ничего для нашей местной истории не значащих? Сколько лжепамяти, заполнившей лакуны?



...Каждый день я езжу на легендарном новосибирском трамвае № 13 — и ровно посередине пути между работой и домом есть остановка «Улица Карла Либкнехта». А чуть ранее мы движемся мимо улицы Сакко и Ванцетти. И сколько еще этих имен из «эпохи зачеркивания», которую потом, в свою очередь, яростно зачеркивало творчество Янки Дягилевой! Сколько этих Марксов, Энгельсов, Тельманов, Маратов и Красиных! Сколько попросту бездарных топонимов вроде Балластной, или Промкирпичной, или Индустриальной, пересекающей синонимичную Промышленную...

Мне возразят, что нельзя огульно поносить наше недавнее промышленно-индустриальное прошлое, мне скажут, что эти названия тоже много значили и значат для людей труда. Конечно, соглашусь я, значат, но не до такой же степени, чтобы возводить синонимы в квадрат и в куб, чтобы накладывать промышленность на индустрию!

...Как-то в одной культурной компании речь зашла о том, что появились в Новосибирске улица Юрия Магалифа, улица Геннадия Карпунина — хорошо, дескать! Я согласился, но заикнулся и о том, что особого статуса для дома Дягилевой дождемся еще нескоро. Мне возмущенно ответили ревнители «традиционных» ценностей — да что Дягилева! У нас столько неухоженных, заброшенных имен... И это чистая правда, опять соглашусь я! Есть у нас на городской карте Гарин-Михайловский и Будагов, есть памятники Крячкову и Тихомирову, есть, хоть и у черта на куличках, улица Жернакова...

А где же имя писателя, поэта, редактора «Сибирских огней», ученого-популяризатора Севморпути Вивиана Итина? Где же наша великая и позабытая новосибирская литература — Владимир Зазубрин, Валериан Правдухин, Лидия Сейфуллина, Елизавета Стюарт, Илья Лавров, Илья Картушин, Александр Плитченко и многие-многие другие, составляющие гордость местной литературной традиции? Наверняка подобное забвение можно проследить и в других сферах культуры...

Мы как-то подзабыли, что слово «памятник» происходит от «памяти», которая есть личная или общая работа по накоплению, сохранению и воспроизведению знаний и навыков. Да, ни Пушкин, ни Гоголь, ни Тарас Шевченко, ни Шекспир в Новосибирской области не были и быть не могли, и памятники им или улицы, названные в их честь, — это напоминание о нашей причастности к русской культуре и культуре мировой.

А каков вклад в наш национальный культурный код товарища Карла Пауля Фридриха Августа Либкнехта? В чем исторический взнос Эрнста Тельмана в становление Новосибирска? Чем измерить заслуги Жан-Поля Марата в развитии столицы Сибири? Отчего мы до сих пор должны сочувствовать пусть и невинно убиенным в далекой Америке итальянцам, скрывавшимся в Мексике, — Николе Сакко и Бартоломео Ванцетти? Пусть их помнят в США, Италии или в той же Мексике! Зачем нам до сих пор Энгельсы и Марксы? Имя их всеильно, потому что верно?

Я делаю акцент только на именах иностранцев, хотя и Красин, скажем прямо, с чего вдруг в Новосибирске? Есть все-таки существенная разница между Лениным, историческим деятелем и руководителем государства, — и ловким политическим приспособленцем и экспроприатором Красиным...

Что же до иностранцев... В Академгородке, напротив крыльца легендарной физматшколы, растут красивейшие пушистые кедры, а под ними установлен мемориальный камень. На нем — табличка, которая гласит, что в 1970 году эти



кедры во время визита в Новосибирск посажены Нилом Армстронгом, первым человеком, побывавшим на Луне. Вот это и есть реальная память, оставшаяся о человеке в городе. Кстати, Армстронг специально ехал к нам, чтобы поклониться дому, в котором жил Кондратюк, чтобы пройти по улице Жуковского и побывать в Академгородке. В данном случае даже американский астронавт нам гораздо ближе, чем Тельман, Энгельс, Либкнехт, Маркс...

Слышу возмущенный контраргумент: весь мир живет по экономическим законам Карла Маркса! Не будучи экономистом, не стану спорить. Однако весь мир сегодня живет по информационным законам Уильяма Херста, по маркетинговым лекалам Стива Джобса... Отчего бы на этом основании не увековечить их в новосибирской топонимике?

Сегодня в больших городах России появилась модная, но очень полезная мировая практика — проводить экскурсионную «красную линию», создавая пеший туристический маршрут с осмотром местных достопримечательностей. В Екатеринбурге, например, эта линия продумана и исполнена великолепно, а вот в Новосибирске она казенная и однобокая. Яркий пример — отсутствие в маршруте дома Янки Дягилевой, фигуры культовой, узнаваемой по всей стране и даже за рубежом. Янка — это бренд (прости мне, читатель, гаденький англицизм), это новосибирская именная марка! Да, это знаменитость со специфическим культурно-эстетическим оттенком, но надо уметь извлекать из этого пользу, уметь повернуть это выгодной для продвижения города стороной. И мы должны проложить «красную линию» через Янкин дом, потому что нам есть что рассказать, потому что там жива наша память.

А есть ли наша память на площади Маркса? Ее исторической доминантой после сноса недостроенной гостиницы и бездарных ларьковых центров по праву должен стать памятник Александру Покрышкину — и лучшего имени для этой многострадальной площади не придумаешь! Правда, есть проблема — кое-какие станции метрополитена придется местами поменять, что ли...

Еще к слову о Покрышкине. Никто даже и не сомневается, что он едва ли не самый знаменитый уроженец Новосибирска и один из лучших асов Второй мировой, но называть гражданский аэропорт именем летчика-истребителя... Есть в этом, знаете ли, какой-то изощренный юморок.

* * *

И еще один аргумент противников памяти Янки: она — контркультура, антикультура, разрушитель, и к чему нам, дескать, сохранять память о разрушителях? Но давайте оглянемся вокруг и вчитаемся, всмотримся... Почему было предано забвению имя инженера Григория Будагова? Потому, что он перестал быть частью парадигмы памяти, потому, что власть в свои руки взяли разрушители «старого мира» — Свердлов, Дзержинский, Эйхе — и мы по-прежнему живем среди имен разрушителей. Но и созидателей, конечно... Причем зачастую это одни и те же фамилии, потому что жизнь и история сложны и многогранны и ни Ленина, ни Николая II, ни Сталина из истории, из памяти не вымарать, как не вымарать Янку Дягилеву.

...Есть у нас улицы, названные в честь других замечательных местных жителей, но многие из них — такие, например, как семья Шамшиных — позабыты нынешними поколениями новосибирцев. И это тоже наша вина и наша беда, ведь история семьи Шамшиных — это и летопись рождения и роста Новониколаевска, и одновременно — хроника русского народного разлома!



Они появились в 1893 году в селе Большое Кривощекое, куда глава семьи Иван Дмитриевич приехал с домочадцами из Тамбовской губернии на постройку железнодорожного моста через Обь. Был Иван Дмитриевич хорошим плотником, и первые шпалы Транссиба в районе перехода через Обь — его рук дело. Шамшины были в числе первых 347 семей, получивших в июле 1894 года домовладения в поселке Александровский (будущий Новониколаевск и Новосибирск). Позднее дом Шамшиных стал местом сбора одного из первых городских кружков молодежи. Революционер Иван Шеин в своих мемуарах так писал об этом гостеприимном доме: «В воскресные дни, а порой по вечерам и в будни, у Шамшиных собиралась городская молодежь, иногда приходили ребята из депо. Мы пели народные песни, читали произведения русских классиков, особенно любили поэзию Пушкина, Лермонтова и Некрасова, читали роман Войнич “Овод”. Присмотревшись, Василий Иванович начал давать нам и популярную политическую литературу, например, Дикштейна “Чем люди живы”, Лафарга “Пауки и мухи” и другие произведения. Так со временем сформировался один из городских кружков молодежи».

Семью Шамшиных растерзала Гражданская война, дом их давно ушел в небытие... А улица, на которой он стоял, прежде называлась Логовской — но в советское время была переименована в улицу Семьи Шамшиных. И это правильно, ибо это — память о людях, об отцах-основателях. А Логовская — это та же Промкирпичная, та же отягощающая Балластная...

Есть и нынешние примеры памятности — летом 2019 года мэр Новосибирска подписал постановление о присвоении улице имени живого человека! Тогда еще живого — ветерана Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, писателя, общественного деятеля, великого труженика Александра Яковлевича Анцупова — более чем заслуженно, к его 95-летию! Значит, можно и так, значит, есть и такой путь!

Так что дома наши многострадальные — лишь отдельные символы сложных исторических тенденций, заверченных, как давно и мудро подмечено кем-то, сугубо по спирали. Но пока, к сожалению, мы наступаем все на те же грабли, если не сказать — ходим по собственным гробам: покуда один дом при поддержке муниципальных властей и влиятельных деятелей искусства и культуры превращается в музей, другой все опаснее нависает над пропастью небытия...

* * *

Есть у меня такая личная история. В феврале 1990 года умерла моя бабушка. Покончила с собой, страдая от неизлечимой болезни. Хотя я был уже большой и в 11 лет многое понимал, родня не взяла меня на похороны на Заельцовское кладбище, сочтя, что они станут ненужным потрясением для ребенка. И так получилось, что впервые на могилу бабушки я попал больше года спустя, в 1991 году, на Троицын день — православные праздники тогда активно возвращались в обиход, особенно в среде недавно чуждой им советской интеллигенции.

На обратном пути мы наткнулись на удивительное свежее захоронение: меня шокировала необъятная гора цветов — увядших и придавленных внизу, свежих и роскошных сверху: никогда прежде не доводилось мне видеть столько цветов сразу! Удивило и то, что у этой могилы стояло и сидело человек 25, некоторые с гитарами. На обычных могилах никогда не бывало больше трех-четырех посетителей. Я протиснулся сквозь толпу не совсем трезвой молодежи и за курганом цветов с трудом разглядел временное надгробие: даже не на фанерном листе —

на обломке обыкновенной доски черной краской были неровно выведены только имя, фамилия и возраст — 24. Так я впервые узнал, что в моем городе жила и умерла Янка Дягилева.

* * *

Компанейская, но категорически не публичная, никогда не дававшая интервью Янка со своим творчеством еще при жизни стала предметом ожесточенных дискуссий, которые не утихают по сей день и, нет сомнения, утихнут не скоро. Сегодня совершенно не хочется погружаться в эти споры, углубляться в филологические и музыковедческие исследования, обсуждать многочисленные ярлыки, навешанные за 30 лет, — от «советской Дженис Джоплин» до «катастрофы русского рока», от «сибирского светоча» до «оголтелой психопатки» — есть и без нас кому писать серьезные дипломы и лепить торопливые штампы.

Хочется просто напомнить — Янки нет с нами уже больше времени, чем она вообще прожила на свете. Удивляет, что даже многие коренные новосибирцы впервые слышат это имя — равно как удивляет и то, что Янку помнят, любят и поют ее песни и пятнадцатилетние девчонки, и седеющие отцы семейств; поют и здесь, и в Твери, и в Крыму, и в Люберцах, и на Иссык-Куле, и на Лонг-Айленде — и по всей прочей русскоязычной географии.

Янка по-прежнему — стопроцентный панк, абсолютный неформат и для официозной культуры, и для так называемого шоу-бизнеса — ее и таких, как она, нет в доступном широком массам эфире. Вероятно, так угодно массам. Или, говоря словами Янки, «на то — особый резон».

Когда инициаторам установления мемориальной доски на доме, где жила Янка, отказали в первый раз, формулировка была исчерпывающая: «сугубо локальный поколенческий характер деятельности певицы». Ныне табличка висит на своем месте, но сам дом стал точкой преткновения, темой споров, слухов и пересудов.

Целевая аудитория песен Янки Дягилевой узка, но невероятно устойчива — и социологи подтвердят, что крепкий костяк аудитории куда важнее ее численности. Потому что численность — показатель сиюминутный, а костяк — величина постоянная. Кстати, спасибо соцсетям и Интернету — их следовало придумать хотя бы ради того, чтобы сохранить таких, как Янка.

Таких и было-то — раз-два и обчелся: она, да ее роковой друг Егор Летов, да Александр Башлачев, да для кого-то — настоящие ленинградские «митьки» или воронежский панк Юрий Клинских... Таких, как Янка, теперь нет вовсе, и трудно вообразить подобную фигуру в наши дни. Она пришла в национальную культуру в переломное время, чтобы «нарушить геометрию квадратных потолков». А сегодня мы неожиданно жалеем о нарушенной некогда геометрии и стыдимся того, что сами ничего нарушить не рискуем, покуда на прилавках лежит больше трех сортов колбасы.

Янка сама себе поставила тяжелый психический диагноз — ангедония, то есть отсутствие способности радоваться, испытывать удовольствие. Как писала журналист Светлана Кошкарлова, «от песен Янки веет безысходностью, но с ними почему-то легче безысходность эту преодолеть».

Янка, совершенно неженственная, рыжая, тотально одинокая, была одним из самых грубых зеркал своей короткой, трагически яркой эпохи. Ею восхищались и ее боялись за одно и то же — за то, что она «неуклонно стерженела с каждой шапкой милицейской, с каждой норковой шапкой». Презирая моральные,



общественные устои и блага, била не в бровь, а в глаз, в лицо — в кровь, своим лицом (Янкиными словами — «мордой») — в кровь, в грязь. Нынешним рафинированным «протестантам» и не снилось... Для теперешних недобунтарей нет Янкиного вопроса: «Как бы так переставить местами забвенье и боль?»

Но ангедония и ненависть — это не все, что было у певицы и поэта Янки Дягилевой. Я уверен, что не все! Иначе она неизбежно и навечно затерялась бы в пучине перестройки. Но, погибшая в пучине, она — на плаву. И сегодня мы помним, что у Янки 4 сентября — день рождения, Янкин день. Который она, кстати, никогда не отмечала и даже, возможно, сомневалась в самом факте существования такого дня...

Про свой последний день Янка знала куда больше, чем про день первый. Многие увидели в этом символику, и даже оскорбительную символику — уйти 9 мая... Какая глупость! «Человек умирает не тогда, когда должен, а тогда, когда может», — говорил Полковник у Гарсиа Маркеса.

Ходят слухи о предсмертной открытке, отправленной друзьям. Не утихают споры — самоубийство или убийство? Обрастает догадками история. В некотором смысле — небезосновательно. «Есть лишь убийства на свете, запомните. Самоубийств не бывает вообще», — говорил в эпитафии Цветаевой Евгений Евтушенко. «Кто не покончил с собой — всех поведут на убой», — предрекала сама Дягилева.

Идут годы, проходят десятилетия, сменяются эпохи, но остается в Новосибирске Янкин день... И должен остаться Янкин дом — мы должны сохранить его!

* * *

Казалось бы — никто не против памяти о Янке. Ну или почти никто. Другое дело, что мало кто — активно «за». Не государственное, мол, дело — сохранять память о рок-поэтессе, она — не государственный и не военный деятель, не революционный нарком и не международный лауреат.

Но судьба Янкиного дома, судьба этой в самом лучшем смысле слова местечковой памяти — это наша судьба, и зависит она только от нас! Будет согласие среди активистов, будет объективная экспертиза, будет поддержка со стороны известных личностей, будет консенсус между местной властью и бизнесом — быть дому! Нет — он будет уничтожен.

Завершая разговор, хочется еще раз уточнить, что не о переименованиях идет речь, они лишь пример. Речь идет о судьбе конкретного дома с более чем вековой историей в центре третьего в стране и самого молодого мегаполиса.

Небольшой и на сей день невзрачный дом можно признать памятником культурного и исторического значения, можно сделать в нем мультикультурный музей или музейный центр, можно использовать его как узнаваемую новосибирскую марку, как бренд, и зарабатывать на этом — во всех хороших смыслах, при этом зарабатывать долго. Это — непростой путь. Есть путь проще — стереть Янкин дом с лица земли, сославшись на умозрительные заключения инородных «экспертов» о его «неценности». Строительная техника уничтожит небольшой дом в мгновение ока, это для бульдозера как божью коровку раздавить, — и маленькая ранка на карте огромного города мгновенно затянется.

Но из этой маленькой лакуны, заполненной ложной памятью, вырастут рано или поздно несовместимые с цельностью культурного кода, неоперабельные метастазы. Опасность их очевидна — стоит только заглянуть в нашу совсем недавнюю, еще не вымаранную историю.

Евгений ПРОКОПОВ

АЛЕКСАНДР КОПЫЛОВ — ХУДОЖНИК, ПЕДАГОГ, ПОДВИЖНИК

Не секрет, что в российском реестре профессий нет многих творческих специальностей, да и членство в творческих союзах не является подтверждением стажа при достижении пенсионного возраста, поэтому, как и писатели, живописцы исхитряются всяк по-своему: многие погружаются в преподавательскую работу, начисто забывая собственные творческие устремления, предавая свой талант, — и вот уже кажется бедолагам, что весь мир виноват, все нескладно и плохо: постылая нудная служба, прискорбная невостребованность былых способностей...

Нечасты исключения из общего порядка, но новосибирский художник Александр Сергеевич Копылов является таким счастливым исключением.

* * *

Сорок лет назад в футбольной команде новосибирской средней школы № 20 блистали братья Копыловы — Борис был нападающим, а в полузащите отличался Александр, которого мы все звали за уникальную технику Гарринча — по имени бразильского кудесника мяча. Я, по сугубой футбольной неспособности, обретался в защитных порядках. Детство как детство...

Но если мы после игры шли по домам отдыхать, то братья умудрялись еще бегать почти каждодневно в изостудию при Доме пионеров имени Володи Дубинина.

Занятия там вел легендарный педагог Семен Павлович Ижиков, крестный отец десятков новосибирских художников и архитекторов.

...Когда в 1977 году Александр Копылов окончил архитектурный факультет Новосибирского инженерно-строительного института (НИСИ, а в просторечии — Сибстрин), ему было предложено остаться в родном вузе преподавателем на кафедре живописи и рисунка. Такое предложение для вчерашнего студента означало признание высокого уровня его профессиональной подготовки и таланта. И с тех пор жизнь Александра Копылова пошла по двум параллельным направлениям: кафедра, ученики, разработка методических пособий, поездки со студентами — это одно, а творческая работа, участие в художественных выставках самого высокого уровня — другое.

— Как удастся совмещать и то и другое? Что ты сам считаешь главным? — иногда спрашивал я его спроста в лоб.

— Не люблю я таких противопоставлений, — отвечал он обычно. — По образованию я архитектор, до сих пор могу сделать расчет прочности балки; знаю, что такое каннелюра, ордер, капитель. Но по внутреннему состоянию я — прежде всего художник. Я привык «пахать», привык вкалывать. Я ведь и на этюды до сих пор хожу каждый погожий день.

И вполне естественно, что главной сферой приложения творческих сил Алек-

сандра Копылова стал городской пейзаж. Городской пейзаж — это более сложный жанр, чем просто пейзажная живопись. К этому своему главному и любимому жанру Александр Копылов пришел в результате многолетних упражнений, труда и изысканий.

Почти два десятка лет Александр Сергеевич Копылов назначался руководителем живописной практики студентов, возил своих подопечных по всей России. Псков, Суздаль, Ростов Великий, Петербург, Новгород, Владимир, Переславль-Залесский, Тобольск, Валаам — одно только перечисление этих славных названий звучит музыкой для всякого русского человека.

— Главное в этих поездках, — считает Копылов, — заронить в души подопечных искру творческого отношения к профессии, дать почувствовать нерасторжимую связь времен, проникнуться великими традициями русского зодчества, любовью к Родине.

Вообще, работа со студентами всегда была его любимым делом. Успехами своих учеников он гордился и хвалился больше, чем своими работами. Он словно торопился отдать долг любви и самоотвержения — ведь и их с братом в изостудии при Доме пионеров и на архитектурном факультете Сибстрина учили уму-разуму, не жалея на них времени, любви и сил.

Педагог Александр Копылов всегда понимал, что многим из его учеников предстоит высокая миссия — быть в числе создателей новой культурно-художественной среды. И бережное отношение к юному таланту сочеталось у Копылова с требовательностью и строгостью. Он часто повторял своим подопечным: «В вас заложена искра божия, талант. А кому многое дано, с того много спросится.

Не позволяйте себе растерять этот дар судьбы!»

...Кроме чисто педагогических задач, удавалось решать и свои собственные творческие: из каждой поездки со студентами Копылов привозил десятки графических листов, где сухая строгость взгляда архитектора сочеталась с глубиной и многоплановостью взора художника.

Например, три работы, составляющие триптих «Старые стены», объединены не местом, а духом — и словно дополняют друг друга в создании единого образа. Масштабность и значительность изображаемого, избыток впечатлений, глубина чувств, сила проникновения определяют тяготение художника к большим художественным формам.

С особенным старанием и ответственностью относится А. С. Копылов к подготовке своих персональных выставок. Он пробует разные варианты размещения картин, меняет количество представленных произведений: десятки графических листов и этюдов маслом, большие живописные полотна, объединенные в циклы, триптихи, композиции — обычный фирменный «копыловский» набор.

...Увидеть красоту в окружающем мире — непростая задача. Найти поэзию в повседневном — нелегко. Только настоящему мастеру, истинному художнику это по силам. В повседневной напряженной работе, в многолетних творческих поисках складывался своеобразный стиль художника Копылова — ему наиболее близок так называемый «суровый стиль» советской живописи 1960—1970 годов, который Александр считает наиболее близким русскому человеку, отражающим национальный русский характер и главные его черты — мужество, сдержанность, жизненную силу и стойкость.



АВТОРЫ НОМЕРА

Банин Сергей Владимирович — писатель, литературовед, издатель. Окончил Новосибирский электротехнический институт и Литературный институт им. А. М. Горького. Публиковался в журнале «Сибирские огни». Живет в Новосибирске.

Берязев Владимир Алексеевич родился в 1959 г. в Кузбассе. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор поэтических сборников «Окоем», «Золотой кол», «Могила Великого Скифа», «Посланец», «Тобук», «Кочевник», романа в стихах «Могота» и двадцати поэм. Член русского ПЕН-центра. Живет в Новосибирске.

Вискин Юрий Петрович родился в 1953 г. в селе Серафимовка Приморского края. Окончил Омский политехнический институт и Высшие литературные курсы. Автор шести книг прозы. Печатался в коллективных сборниках и альманахах, журналах «Наш современник», «Москва», «Сибирские огни» и др. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Омске.

Гербер Денис Владимирович родился в 1977 г. в Ангарске. Окончил факультет филологии и журналистики Иркутского университета. Продюсер и сценарист киностудии «Ретрит фильм», ведущий программ на «Русском радио» (Иркутск). Публиковался в журналах «Дружба народов», «Сибирские огни», «Новый берег» и др. Живет в Ангарске.

Королев Андрей Александрович родился в 1964 г. в Кемерове. Окончил филологический факультет Кемеровского государственного университета. Газетчик с 30-летним стажем. В юности был профессиональным футболистом (играл за команду «Кузбасс»). В настоящее время ответственный секретарь газеты «Кузбасс». Публиковался в журналах «После 12», «Огни Кузбасса». Живет в Кемерове.

Кузницына (Козволина) Наталья Владимировна родилась в 1970 г. в Кирове. По образованию филолог. Автор восьми книг, в том числе книг стихов и сказок для детей. Член Союза писателей России. Живет в Кирове.

Кравский Павел Владимирович родился в 1979 г. в Новосибирске. Окончил факультет журналистики Новосибирского государственного университета. Работал в СМИ. Лауреат ряда литературных премий и конкурсов. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов при Союзе писателей России (2018). Автор сборника стихов «Зимний круг». Живет в Новосибирске.

Прашкевич Геннадий Мартович родился в 1941 г. в с. Пировском Красноярского края. Прозаик, поэт, переводчик. Автор романов «Секретный дьяк», «Носорукий», «Теория прогресса», биографических книг о Жюлье Верне, Уэллсе, Брэдли и др. Заслуженный работник культуры РФ, лауреат ряда отечественных и международ-

ных литературных премий. Живет в Новосибирском Академгородке.

Прокопов Евгений Васильевич родился в 1953 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский институт народного хозяйства. Автор семи книг (проза, очерки, пьесы). Публиковался в журнале «Сибирские огни». Член Союза писателей России, Творческого союза художников России. Живет в Новосибирске.

Самохин Николай Яковлевич (1934—1989) родился в с. Утянка Алтайского края. Окончил гидротехнический факультет Новосибирского института водного транспорта. Работал в проектно-институте, мастером на строительстве новосибирского Академгородка, журналистом. Был собкором «Литературной газеты» по Сибири, ответственным секретарем журнала «Сибирские огни». Автор двух десятков книг прозы, которые до сих пор заслуженно пользуются успехом у читателей.

Федорищева Юлия Владимировна родилась в 1986 г. в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный технический университет и Сибирскую академию государственной службы. Работает в Новосибирском государственном художественном музее. Публиковалась в журналах «Топос», «Огни Кузбасса» и др. Автор двух книг — прозы и стихов. Член Союза журналистов России. Живет в Новосибирске.

Шалашова Александра Евгеньевна родилась в 1990 г. в Череповце. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Работала учителем русского языка и литературы в школе. Публиковалась в альманахах «Пятью пять», «Пролог» и др. Автор сборника стихов. Живет в Москве.

Шевченко Ганна родилась в 1975 г. в г. Енакиеве Донецкой области. По профессии бухгалтер, финансовый менеджер. Работает администратором в культурном центре. Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Октябрь», «Сибирские огни» и др. Лауреат ряда литературных премий. Автор двух книг прозы и трех поэтических сборников. Член Союза писателей Москвы и русского ПЕН-центра. Живет в Подмосковье.

Щукин Михаил Николаевич родился в 1953 г. в с. Мереть Сузунского района Новосибирской области. Окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. С 16 лет — литературный сотрудник сузунской районной газеты «Новая жизнь». Работал в новосибирской областной газете «Советская Сибирь», собственным корреспондентом журнала «Огонек» и газеты «Литературная Россия» по Сибири. С 1995 г. — главный редактор журнала «Сибирская горница». Автор более 30 книг — романов, повестей, сборников рассказов. Лауреат премии Ленинского комсомола. Лауреат премии губернатора Новосибирской области (2012). Живет в Новосибирске.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 19, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: сибирскиеогни.рф

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.рф>

Сдано в набор 11.10.2019. Дата выхода № 11 за 2019 г. в свет 21.11.2019.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.